

ЗОВ ЧАРДАШЕК



Борис Акунин
ЛЮБОВНИК СМЕРТИ

Annotation

«Любовник смерти» (диккенсовский детектив) — десятая книга Бориса Акунина из серии «Приключения Эраста Фандорина». Смерть — одна из героинь романа, получившая свое прозвище по двум причинам. Во-первых, она несколько раз была на волоске от гибели, но каждый раз оставалась жива и невредима. А во-вторых, все ее кавалеры погибали вскоре после того, как начинали за ней ухаживать. Девушка со страшным прозвищем Смерть так понравилась жителю Хитровки Сеньке Скорикову, что он решается на самые отчаянные поступки, чтобы завладеть ее вниманием. В итоге парень становится свидетелем и даже соучастником череды убийств, находит старинный клад, сам чуть не прощается с жизнью, и, наконец, знакомится с Эрастом Фандориным, который помогает ему выбраться из всех передряг.

- [Борис Акунин](#)
 - [Как Сенька впервые увидал Смерть](#)
 - [Как Сенька стал хитрованцем](#)
 - [Как Сенька обжился на новом месте](#)
 - [Как Сенька познакомился со Смертью](#)
 - [Как Сенька поймал судьбу за хвост](#)
 - [Как Сенька себя проявил](#)
 - [Как Сенька побывал на настоящем деле](#)
 - [Как Сенька сидел в нужном шкапу](#)
 - [Как Сенька бегал и прятался, а потом икал](#)
 - [Как Сенька искал сокровище](#)
 - [Как Сенька попался](#)
 - [Как Сенька стал богатый](#)
 - [Как Сеньке жилось в богатстве](#)
 - [Как Сенька стал любовником Смерти](#)
 - [Как у Сеньки развязался язык](#)
 - [Как Сенька видел собачью свадьбу](#)
 - [Как Сенька разочаровался в людях](#)
 - [Как Сенька перетянул дроссель](#)
 - [Как Сенька плакал](#)
 - [Как Сенька дедуктировал](#)
 - [Как Сенька читал чужие письма](#)

- [Как Сенька злорадствовал](#)
 - [Как Сенька стал жидёнком](#)
 - [Как Сенька стал мамзелькой](#)
 - [Как Сенька стал фурсеткой](#)
 - [Как Сенька сдавал экзамен](#)
 - [Как Сенька вертел головой](#)
 - [Как Сенька вертел головой](#)
 - [Как Сенька читал газету](#)
 - [comments](#)
 - [1](#)
-

Борис Акунин
Любовник Смерти

Как Сенька впервые увидал Смерть

Сначала-то её, конечно, не так звали, а обыкновенно, как полагается. Маланья там или, может, Агриппина. И фамилия тоже имелась. Как же без фамилии? Это вон у Жучки, что по двору бегает, фамилии нет, а у человека беспременно должна быть, на то он и человек.

Но когда Сенька Скорик её впервые увидал, прозванье у неё было уже нынешнее. Никто по-другому про неё не говорил, имени-фамилии не помнил.

А увидал он её так.

Сидели с пацанами на скамейке, перед дерюгинской бакалейкой. Курили табак, лясы точили.

Вдруг подъезжает шарабан: шины дутые, спицы в золотой цвет крашенные, верх жёлтой кожи. И выходит из него девка, каких Сенька никогда ещё не видывал, даже на Кузнецком мосту, даже на Красной площади в престольный праздник. Нет, не девка, а девушка или, правильнее сказать, дева. Чёрные косы на голове венцом уложены, на плечах шёлковый многоцветный платок, и платье тоже шёлковое, переливчатое, но дело не в платке и не в платье. Очень уж у ней лицо было такое... даже не выскажешь, какое. Посмотришь — и обомлеешь. Ну, Сенька и обомлел.

— Это что за фря? — спросил и, чтоб виду не подать, сплюнул через стиснутые зубы в сторону (далше всех этак цыкнуть мог, на целую сажень — рот-то с щербиной, удобно).

Проха в ответ: мол, сразу видать, что ты, Скорик, у нас недавно. (Сенька и правда на Хитровке тогда ещё только приживался, недели две как с Сухаревки деру дал). Сам ты, говорит, фря. Это ж Смерть!

Сенька сразу не сообразил, при чем тут смерть. Подумал, у Прохи присказка такая — мол, смерть до чего хороша.

И то — хороша была, не оторвёшься. Лоб высокий, чистый. Брови коромыслицами, кожа белая, губы алые, а глаза — ух, что за глаза. Сенька такие видал на Конной площади, у лошадей туркестанской породы: большие, влажные и при этом будто огоньками светятся. Только у девушки-девы, что из шарабана вышла, глаза ещё лучше были, чем у тех лошадей.

Глядит Сенька на расчудесную особу, глазами хлопает, а Михейка Филин табачную крошку с губы смахнул и локтем в бок: ты, говорит, Скорик, пьялься да меру знай. А то тебе Князь ухи обрежет и жрать заставит,

как тогда барышника волоколамского заставил. Тоже Смерть ему приглянулась, барышнику-то. Вот и допялился.

И опять Сенька про “смерть” не слобастил — очень уж сожранными ушами заинтересовался.

— И чего этот барышник, сожрал? — удивился он. — Я бы нипочём не стал.

Проха пива из горлышка отхлебнул. Стал бы, говорит. Если б Князь тебя по-хорошему попросил, по-вежливому, стал бы как миленький и ещё спасибочки сказал, оченно вкусно. Барышник одно ухо-то пожевал-пожевал, проглотить не может, а Князь ему уж второе оттяпал и сует. И, чтоб поторапливался, пером в брюхо покалывает. После у волоколамца башка вся загноилась, распухла. Повыл пару деньков, да и подох, так и не доехал до своего Волоколамска. Во как у нас на Хитровке-то. Ты, Скорик, мотай на ус.

Про Князя Сенька, само собой, слыхал, хоть и тёрся на Хитровке недолгое время. Про Князя кто ж не слыхал? Самый рисковый на всю Москву налётчик. На рынках про него говорят, в газетах пишут. Псы на него охотятся, да только когти у них коротки. Хитровка, она своего не выдаст — знает, что с выдавальщиками бывает.

А ухо своё жрать я всё одно бы не стал, подумал Сенька. Лучше уж на нож.

— Она чего, Князева маруха, что ли? — спросил он про удивительную деву — так, из любопытства. Решил про себя, что глазеть на неё больше не будет, больно нужно. Да и не на кого было, она уже в лавку вошла.

“Фто ли”, передразнил Проха (из-за выбитого зуба у Сеньки не все слова как надо выговаривались). Сам ты, говорит, маруха.

На Сухаревке кто пацана марухой обзвывал — за такое сразу метелили без пощады, и Сенька прицелился было вмазать Прохе в костлявую харю, но передумал. Во-первых, может, у них тут на Хитровке другие обыкновения и сказано было не в обиду. Во-вторых, Проха — парнище здоровенный, тут ешё поглядеть, кто кого отметелит. А в-третьих, очень уж хотелось про девушку эту послушать.

Ну Проха поломался немножко и рассказал.

Жила она, как положено, при отце-матери, не то в Доброй Слободе, не то на Разгуляе, короче, где-то в той стороне. Девка выросла видная, сладкая, от женихов отбою не было. Ну и сосватали её, как в возраст вошла. Ехали они венчаться в церковь, она и жених её. Вдруг два кобеля чёрных, агромадных, прямо перед санями через дорогу — шмыг. Если б тогда догадаться, да молитву прочесть, глядишь, по-другому бы сложилось.

Или хоть бы крестом себя осенить. Только никто не догадался или, может, не успели. Лошади кобелей чёрных напугались, понесли, и на повороте булых с бережка в Яузу. Жениха насмерть раздавило, кучер потоп, а девке ничего, ни царапки.

Ладно, всяко бывает. Повезли его хоронить, парня этого. Она, невеста, рядом с гробом шла. Убивалась ужас как — очень, говорят, его любила. А как стали через мост переезжать, напротив того самого места, где всё приключилось, она вдруг как крикнет — прощай, мол, народ христианский — да через оградку, да с моста головой вниз. Накануне приморозило, на реке лёд толстенный, так что по всему следовало ей себе башку вдребезги расколотить или шею переломать. Но вышло по-другому. Попала она прямиком в полынью, сверху ледком чуть-чуть заросшую и снежком припорошенную. Ушла под воду с головкой, и нет её.

Ну, все думают, потопла. Бегают, руками машут. А её, утопленницу-то, подо льдом саженей с полста проволокло, да из проруби, где бабы бельё стирали, выкинуло.

Подцепили её багром или чем там, вытащили. Она по виду как мёртвая была, белая вся, но полежала, отогрелась и опять хоть бы что ей. Живёхонькая.

За такую кошачью живучесть прозвали её Живая, а иные называли Бессмертной, но это ещё не окончательное её прозвище было. Потом поменялось.

Проходит год или, может, полтора, родители её давай снова замуж выдавать. Девка-то пуще прежнего расцвела. Посватался купчина один, немолодой, но сильно богатый. Ей-то, Живой, всё равно было, за купчину так за купчину. Кто её тогда знал, сказывают, что скучала она очень о женихе своём — о том, первом, что расшибся.

И что же? Новый жених за день до свадьбы, в церкви, на утренней, как захрипит, руками заполосет — и брык набок. Ногой подёргал, губами пошлёпал, и со святыми упокой. Кондрашка его прихватил.

После этого случая замуж она ходить больше не стала, а в скором времени сбежала из родительского дома с барином одним, из военных. Стала у него в доме жить, на Арбате. И совсем краля сделалась: одевалась по-господски, к отцу-матери приезжала в лаковой коляске, с кружевным зонтиком. Офицер даром что жениться на ней не мог, благословения от отца ему на это не было, а души в ней не чаял, безумно её обожал.

Но только и третьего она сгубила. Был он, барин этот, крепкий собой молодец, кровь с молоком, а как пожил с нею сколько-то, вдруг начал чахнуть. Бледный стал, хилый, ноги его не держат. Доктора с ним бились-

бились. И на воды его, и в заграницы, да всё попусту. Сказывали, рак в нем какой-то завёлся и клешнями своими всю внутреннюю ему разодрал.

Ну а как она офицера своего схоронила, тут уж до всех, даже до самых недоумных дошло: неладно с девкой. Тогда-то прозвище ей и переменили.

Назад в слободу ей ходу не было, да и не хотела она. Жизнь у ней пошла совсем другая. Обычный народ её сторонился. Она мимо идёт — крестяется, да через плечо плюют. А kleились к ней известно кто — фартовые ребята, отчаянные, кому и смерть нипочём. Она ведь, как из барина того сок весь высосала, вон какая стала, сам видел. Можно сказать, первая на всю Москву раскрасавица.

Так дальше и пошло. Кольша Штырь (забироха был знаменитый, на Мещанах промышлял) с ней месяца два погулял — свои же ребята его на ножи поставили, слам не поделили.

Потом Яшка Костромской был, конокрад. Чистокровных рысаков прямо из конюшен уводил, цыганам продавал за огромные деньжищи. Иной раз в карманах по несколько тыщ носил. Ничего для неё не жалел, прямо в золоте купал. Застрелили Яшку псы легавые, полгода тому.

Теперь вот Князь с ней. Месяца три уже. То-то он и куражится, то-то и беснуется. Раньше был вор как вор, а ныне ему человека кончить, что муху раздавить. Всё потому что со Смертью связался и понимает: недолго ему теперь землю топтать. Присказка есть: позвал смерть в гости, будешь на погoste. Прозвище — оно неспроста даётся, да ещё такое.

— Что за прозвище-то? — не выдержал Сенька, слушавший рассказ с разинутым ртом. — Ты, Проха, так и не сказал.

Проха на него вылупился, костяшками себя по лбу постучал. Ну ты, говорит, сырой-непропеченный. И чего тебя только Скориком кличут? Я ж тебе, говорит, битый час толкую. Смерть — вот какое у ней прозвище. Все её так зовут. Она ничего, привыкла, откликается.

Как Сенька стал хитрованцем

Это Проха думал, что у Сеньки кличка такая — Скорик. Пацан шустрый, глазами во все стороны стреляет и на ответ ловкий, за словом в карман не полезет, оттого и прозвали. А на самом деле у Сеньки прозвище от фамилии взялось. Так родителя именовали: Скориков Трифон Степанович. А как теперь именуют, одному Богу известно. Может, он теперь и не Трифон Степаныч вовсе, а какой-нибудь ангел Трифаниил. Хотя папаша в ангелы навряд ли попал — все ж таки выпивал сильно, хоть и добрый был человек. А вот мамка, та всенепременно где-нибудь неподалёку от Светлого Престола обретается.

Сенька часто про это думал, кто из родных куда попал. Насчёт отца сомневался, а про мать и братиков-сестричек, что вместе с родителями от холеры преставились, уверен был и даже о Царствии Небесном для них не молил — знал, и без того там они.

Холера к ним в слободу три года тому наведалась, много кого с собой забрала. Из всех Скориковых только Сенька и брат Ваня на белом свете зацепились. К добру ли, к худу ли — это ещё как посмотреть.

Для Сеньки-то скорее к худу, потому что жизнь для него с тех пор совсем другая пошла. Папаша приказчиком служил при большом табачном магазине. Жалованье имел хорошее, табак бесплатно. В малолетстве Сенька всегда одет-обут был. Как говорится, брюхо сыто и рожа мыта. Грамоте и арифметике в положенный срок обучен, даже в Коммерческое училище полгода отходить успел, но как осиротел, учение кончилось. Да ляд бы с ним, с учением, невелика потеря, не о нем печаль.

Брату Ваньке повезло, его взял к себе мировой судья Кувшинников, что у папаши всегда английский табак покупал. У судьи жена была, а детей не было, вот он Ванятку и забрал, потому что маленький и пухленький. А Сенька уж большой был, мосластый, судье такой без интересу. И забрал к себе Сеньку двоюродный дядька Зот Ларионыч на Сухаревку. Там-то Скорик от рук и отился.

А как было не отиться?

Дядька, гад брюхатый, держал впроголодь. За стол с семьёй не сажал, даром что родная кровь. По субботам драл — бывало, что за дело, но чаще просто так, для куражу. Жалованья не давал никакого, хотя Сенька в лавке надрывался не хуже прочих рассыльных, кому по восьми рублей плачивалось. А обидней всего, что по утрам Сенька должен был за

троюродным братом Гришкой ранец в гимназию таскать. Гришка идёт себе впереди важный, конфекту ландриновую сосёт, а Сенька, значит, за ним тащится, будто крепостной в стародавние времена, с тяжеленным ранцем (Гришка иной раз от озорства ещё нарочно кирпич внутрь засовывал). Его бы, Гришку этого, как чирей выдавить, чтоб нос не драл и леденцами делился. Или тем самым кирпичом по макушке, а нельзя, терпи.

Ну, Сенька и терпел, сколько мог. Считай, три года целых.

Конечно, и отыгрывался тоже, когда мог. Нужно ведь и душе облегчение давать.

Как-то раз Гришке в подушку мышонка запустил. Тот ночью на свободу прогрызся, да у троюродного братца в волосах запутался. То-то крику среди ночи было. И ничего, никто на Сеньку не подумал.

Или вот на последней масленой, когда в доме всего напекли-наварили-нажарили, а сироте дали два блинка дырявых да постного маслица самую малость, Скорик осерчал и в котелок с густыми щами отвару овсяного, что от запору дают, плеснул. Побегайте-ка, жирномясые, до ветру, растряситесь. И тоже с рук сошло — на сметану несвежую подумали.

Когда получалось, мелочь всякую из лавки таскал: нитки там, ножницы или пуговицы. Чего можно, на Сухаревском толчке продавал, вовсе ненужное выкидывал. Тут, бывало, что и драли, но по одному только подозрению — впрямую уличён ни разу не был.

Зато уж когда погорел, то жарко, с дымом и огненнымиискрами. А всё жалостливое сердце, из-за него, глупого, позабыл Сенька о всегдашней осторожности.

Получил весточку от братца Вани, про которого три года слыхом не слыхивал. Часто тешился, представляя, как Ванюше, счастливчику, у судьи Кувшинникова хорошо, не то что Сеньке. А тут, значит, письмо.

Как дошло — удивительно. На конверте обозначено: “На Москву в Сухаревку братику Сене што у дядя Зота живет”. Это хорошо у Зот Ларионыча на Сухаревской почте знакомый почтарь служит, догадался и принёс, дай ему Бог здоровья.

Письмо было вот какое.

“Милой братик Сеня как ты живош. А я живу очен плохо. Миня учат писать буквы а иско ругают и обижают хотя у миня скоро ден ангела. А я у них как лошадку просил а они нивкакую. Приежай и забири миня от этих недобрьих людей.”

Твой братик Ванюша”.

Сенька как прочитал — руки затряслись и слезы из глаз. Вот тебе и счастливчик! А судья-то хорош! Дитенка малого изводит, игрушку купить жидится. Чего тогда сироту на воспитание брал?

В общем, очень за Ванятку обиделся и решил, что будет ирод последний, если брата в таком мучительстве бросит.

Обратного адреса на конверте не было, но почтарь сказал, что штемпель теплостанский, это за Москвой, от Калужской заставы вёрст десять будет. А уж где там судья живёт, это на месте спросить можно.

Решал Скорик недолго. Как раз назавтра и Иоанн выпадал, Ванюшкины именины.

Собрался Сенька в дорогу, брата выручать. Если Ваньке совсем плохо — с собой забрать. Лучше уж вместе горе мыкать, чем поврозь.

Присмотрел в игрушечном магазине на Сретенке кобылку лаковую, с мочальным хвостом и белой гривой. Красоты несказанной, но дорогущая — семь рублей с полтинничком. В полдень, когда у дядьки Зота в лавке один глухой Никифор остался, подцепил Сенька гвоздём замок на кассе, вынул восемь рублей и давай Бог ноги. Про расплату не думал. Было у Скорика такое намерение — вовсе к дядьке не возвращаться, а уйти с братом Ванькой на вольное житьё. К цыганам в табор или ещё куда, там видно будет.

Шёл до этих самых Тёплых Станов ужас сколько, все ноги оттоптал, да и кобыла деревянная чем дальше, тем тяжелей казалась.

Зато дом судьи Кувшинникова отыскал легко, первый же теплостанский житель указал. Хороший был дом, с чугунным козырьком на столбах, с садом.

В парадную дверь не полез — посовестился. Да, поди, и не впустили бы, потому что после долгой дороги был Сенька весь в пылище, и рожа поперёк рассечена, кровью сочится. Это за Калужской заставой, когда с устатку прицепился сзади к колымаге, кучер, гнида, ожёг кнутом, хорошо глаз не выбил.

Присел Сенька на корточки напротив дома, стал думать, как дальше быть. Из открытых окон сладко потренькивало — кто-то медленно, нескладно подбирал какую-то неизвестную Сеньке песню. Иногда слышался звонкий голосок, не иначе Ваняткин.

Наконец, осмелев, Скорик подошёл, встал на приступку, заглянул через подоконник.

Увидел большую красивую комнату. У здоровенного полированного ящика (“пианино” называется, в училище тоже такое было) сидел кудрявый малолеток в матросском костюмчике, шлёпал розовыми пальчиками по

клавишам. Вроде Ванька, а вроде и не он. Собой гладенький, свеженький — хоть заместо пряника ешь. Рядом барышня в стёклышках, одной рукой листки в тетрадке на подставочке переворачивает, другой рукой пацанёнка по золотистой макушке гладит. А в углу игрушек видимо-невидимо, и лошадок этих, куда побогаче Сенькиной, три штуки.

Не успел Скорик в толк взять, что за непонятность такая — как вдруг из-за угла коляска выкатывает, парой запряжённая. Едва успел соскочить, прижаться к забору.

В коляске сидел сам судья Кувшинников, Ипполит Иванович. Сенька его сразу признал.

Ванька из окна высунулся, да как закричит:

— Привёз? Привёз?

Судья засмеялся, на землю слез. Привёз, говорит. Неужто не видишь. Как, говорит, звать её будем?

И только теперь Сенька разглядел, что к коляске сзади жеребёнок привязан, рыжий, с круглыми боками. Даже не жеребёнок, а вроде как взрослая лошадь, но только маленькая, не многим боле козы.

Ванька давай верещать: “Пони! У меня будет настоящий пони!” А Сенька повернулся и побрёл себе обратно к Калужской заставе. Савраску деревянную оставил в траве у обочины, пускай пасётся. Ваньке не нужна — может, другому какому ребятёнку сгодится.

Пока шёл, мечтал, как пройдёт сколько-то времени, вся Сенькина жизнь чудесно переменится, и приедет он сюда снова, в сияющей карете. Вынесет лакей карточку с золотыми буквами, на которой про Сеньку всё в лучшем виде прописано, и эта барышня, со стёклышками, скажет Ванятке: мол, Иван Трифонович, к вам братец пожаловали, с визитом. А на Сеньке костюм шевиотовый, гамаши на пуговках и палочка с костяным набалдашником.

Дотащился до дому уже затмно. Лучше б вовсе не возвращался — сразу сбежал.

Дядька Зот Ларионыч прямо с порога так звезданул, что искры из глаз, и зуб передний высадил, через который теперь плевать удобно. После, когда Сенька упал, Зот Ларионыч его ещё ногами по рёбрам охаживал и приговаривал: это цветочки, ягодки впереди. В полицию, кричал, на тебя нажаловался, господину околоточному заявлению отписал. За воровство в тюрьму пойдёшь, курвин сын, там тебе ума пропишут. И ещё грозился-лялся по-всякому.

Ну Скорик и сбежал. Когда дядька, руками-ногами махать умаявшись, стал со стены коромысло снимать, на чем бабы воду носят, дунул Сенька из

сеней, сплёвывая кровянку и размазывая по роже слезы.

Ночь протрясся от холода на Сухаревском рынке, под возом сена. Страсть до чего жалко себя было, ребра ныли, морда побитая болела и ещё очень жрать хотелось. Полтинник, что от кобылы остался, Сенька ещё вчера проел и теперь у него в кармане, как в присказке, обретались голый в бане, вошь на аркане, да с полбанки дыр от баранки.

На рассвете ушёл с Сухаревки, от греха подальше. Коли Зот Ларионыч в околоток ябеду накатал, зацепает Сеньку первый же городовой и в кутузку, а оттуда нескоро выйдешь. Надо было подаваться туда, где Скорикова личность не примелькалась.

Пошёл на другой рынок, что на Старой-Новой площади, под Китайгородской стеной. Тёрся близ обжорного ряда, вдыхал носом запах печева, глазами постреливал — не зазевается ли какая из торговок. Но стянуть робел — все же никогда вот так, в открытую не воровал. А ну как поймают? Утопчут ногами так, что Зот Ларионыч родной мамушкой покажется.

Бродил по рынку, от улицы Солянки держался в стороне. Знал, что там, за нею, Хитровка, самое страшное на Москве место. На Сухаревке, конечно, тоже фармазонщиков и щипачей полно, только куда им до хитровских. Вот где, рассказывали, жуть-то. Кто чужой сунься — враз догола разденут, и ещё скажи спасибо, если живой ноги унесёшь. Ночлежки там страшенные, с подвалами и подземными схронами. И каторжники там беглые, и душегубы, и просто пьянь-рвань всякая. Ещё говорили, если какие из недоростков туда забредут, с концами пропадают. Будто бы есть там такие люди особые, хапуны называются. Хапуны эти мальчишек, которые без провожатых, отлавливают и по пяти рублей жидам с татарами в тайные дома на разврат продают.

Потом-то оказалось — брехня это. То есть про ночлежки и рвань правда, а хапунов никаких на Хитровке нету. Когда Сенька своим новым братанам про хапунов брякнул, то-то смеху было. Проха сказал, кто из пацанов желает лёгкую деньгу сшибить — это за ради Бога, а насильно мальцов поганить ни-ни, Обчество такого не позволяет. Прирезать по ночному времени — это запросто. Спьяну или если какой баклан сдуру залетит. Недавно вот нашли в Подкопаевском одного: башка всмятку, пальцы прямо с перстнями поотрезаны и глаза выколоты. Сам виноват. Не лезь, куда не звали. На то и кот, чтобы мыши не жирели.

Зачем глаза-то колоть? — испугался Сенька.

А Михейка Филин смеётся: поди, спроси у тех, кто колол.

* * *

Но разговор этот уже после был, когда Сенька сам хитрованцем сделался.

Быстро все вышло и просто — можно сказать, чихнуть не успел.

Примеривался Скорик, в сбитенном ряду, чего бы утырить, храбости набирался, а тут вдруг шум, гам, крик. Баба какая-то орёт. Караул, мол, обокрали, кошель вынули, держи воров! И двое пацанов, Сенькиных примерно лет, несутся прямо по прилавкам, только миски да кружки из-под сапог разлетаются. Одного, который пониже, сбитенщица ручищей за пояс схватила, да на землю и сдёрнула. Попался, кричит, волчина! Ну ужо будет тебе! А второй воренок, востроносый, с лотка спрыгнул, и тётке этой раз кулаком в ухо. Она сомлела и набок — брык (у Прохи всегда при себе свинчатка, это Сенька потом узнал). Востроносый дёрнул второго за руку, дальше бежать, но к ним уже со всех четырех сторон подступались. За сбитенщицу ушибленную, наверно, до смерти бы обоих уходили, если б не Скорик.

Как Сенька заорёт:

— Православные! Кто рупь серебряный обронил?

Ну, к нему и кинулись: я, я! А он меж протянутых рук проскользнул и ворятам, на бегу:

— Что зявитесь? Ноги!

Они за ним припустили, а когда Сенька подле подворотни замешкался, обогнали и рукой махнули — за нами, мол, давай.

В тихом месте отдохнули, поручкались. Михейка Филин (тот, что поменьше и пощекастей) спросил: ты чей, откуда?

Сенька в ответ:

— Сухаревский.

Второй, что Прохой назвался, оскалился, будто смешное услыхал. А чего, говорит, тебе на Сухаревке не сиделось?

Сенька молча сплюнул через выбитый зуб — не успел тогда ещё с обновой обвыкнуться, но все равно аршина на три, не меньше.

Сказал скupo:

— Нельзя мне там больше. Не то в тюрьму.

Пацаны поглядели на Скорика уважительно. Проха по плечу хлопнул. Айда, говорит, с нами жить. Не робей, с Хитровки выдачи нет.

Как Сенька обживался на новом месте

С пацанами, значит, жили так.

Днём ходили тырить, ночью — бомбить.

Тырили все больше на той же Старой площади, где рынок, или на Маросейке, где торговые лавки, или на Варварке, у прохожих, иногда на Ильинке, где богатые купцы и биржевые маклеры, но дальше ни-ни. Проха, старшой, называл это “в одном дёре от Хитровки” — в смысле, что в случае чего можно было дёрнуть до хитровских подворотен и закоулков, где тырщиков хрен поймаешь.

Тырить Сенька научился быстро. Дело лёгкое, весёлое.

Михейка Филин “карася” высматривал — человека пораззявистей — и проверял, при деньгах ли. Такая у него, у Филина, работа была. Пройдёт близёхонько, потрётся и башкой знак подаёт: есть, мол, лопатник, можно. Сам никогда не щипал — таланта у него такого в пальцах не было.

Дальше Скорик вступал. Его забота, чтоб “карась” рот разинул и про карманы позабыл. На то разные заходцы имеются. Можно с Филиным драку затеять, народ на это поглязеть любит. Можно взять и посередь мостовой на руках пройтись, потешно дрыгая ногами (это Сенька съязмальства умел). А самое простое — свалиться “карасю” под ноги, будто в падучей, и заорать: “Лихо мне, дяденька (или тётенька, это уж по обстоятельствам). Помираю!” Тут, если человек сердобольный, непременно остановится посмотреть, как паренька корчит; а если даже сухарь попался и дальше себе пойдёт, так все равно оглянется — любопытно же. Прохе только того и надо. Чик-чирик, готово. Были денежки ваши, стали наши.

Бомбить Сеньке нравилось меньше. Можно сказать, совсем не нравилось. Вечером, опять-таки где-нибудь поближе к Хитровке, высматривали одинокого “бобра” (это как “карась”, только выпимши). Тут опять Проха главный. Подлетал сзади и с размаху кулаком в висок, а в кулаке свинчатка. Как свалится “бобёр”, Скорик с Филином с двух сторон кидались: деньги брали, часы, ещё там чего, ну и пиджак-шиблеты тоже сдёргивали, коли стоющие. Если же “бобёр” от свинчатки не падал, то с таким бугаиной не вязались: Проха сразу улепётывал, а Скорик с Филином и вовсе из подворотни носу не совали.

Тоже, в общем, дело нехитрое — бомбить, но противное. Сеньке сначала жутко было — ну как Проха человека до смерти зашибёт, а потом ничего, привык. Во-первых, все ж таки свинчаткой бьёт, не кастетом и не

кистенём. Во-вторых, пьяных, известно, Бог бережёт. Да и башка у них крепкая.

Слам продавали сламщикам из бунинской ночлежки. Иной раз на круг рублишка всего выходил, в удачный же день до пяти червонцев. Если рублишка — ели “собачью радость” с черняшкой. Ну а если при хорошем хабаре, тогда шли пить вино в “Каторгу” или в “Сибирь”. После полагалось идти к лахудрам (по-хитровски “мамзелькам”), кобелиться.

У Прохи и у Филина мамзельки свои были, постоянные. Не марухи, конечно, как у настоящих воров — столько не добывали, чтоб только для себя маруху держать, но все-таки не уличные. Иной раз пожрать дадут, а то и в долг поверят.

Сенька тоже скоро подрунькой обзавёлся, Ташкой звать.

Проснулся Сенька в то утро поздно. Спяну ничего не помнил, что вчера было. Глядит — комнатёнка маленькая, в одно занавешенное окошко. На подоконнике горшки с цветами: жёлтыми, красными, голубыми. В углу, прямо на полу, баба какая-то жухлая, костлявая валяется, кашлем бухает, кровью в тряпку плюёт — видно, в чахотке. Сам Сенька лежал на железной кровати, голый, а на другом конце кровати, свернув ноги по-турецки, сидела девчонка лет тринадцати, смотрела в какую-то книжку и цветы раскладывала. Притом под нос себе что-то приговаривала.

— Ты чего это? — спросил Сенька осипшим голосом.

Она улыбнулась ему. Гляди, говорит, это белая акация — чистая любовь. Красный бальзамин — нетерпение. Барбарис — отказ.

Он подумал, малахольная. Не знал ещё тогда, что Ташка цветочный язык изучает. Подобрала где-то книжонку “Как разговаривать при посредстве цветов”, и очень ей это понравилось — не словами, а цветами изъясняться. Она и трёшницу, что от Сеньки за ночь получила, почти всю на цветы потратила. Сбегала с утра на базар, накупила целую охапку всякой травы-муравы и давай раскладывать. Такая уж она, Ташка.

Сенька у ней тогда чуть не весь день провёл. Сначала лечился, рассол пил. Потом поел хлеба с чаем. А после уже так сидели, без дела. Разговаривали.

Ташка оказалась девка хорошая, хоть и не без придури. Взять хоть цветы эти или мамку её, пьянчужку горькую, чахоточную, ни на что негодную. Чего с ней возиться, зря деньги переводить? Всё одно погреёт.

А вечером, перед тем как на улицу идти, Ташка вдруг говорит: Сень, мол, а давай мы с тобой будем товарищи.

Он говорит:

— Давай.

Сцепились мизинцами, потрясли, потом в уста поцеловались. Ташка сказала, что так между товарищами положено. А когда Сенька после поцелуя начал её лапать, она ему: ты чего, говорит. Мы ж товарищи. Товарища кобелить — последнее дело. Да и не нужно тебе со мной, у меня французка, от приказчика одного подцепила. Будешь со мной вакситься — нос твой сопливый отвалится.

Сенька переполошился:

— Как французка? Чего ж ты вчера не сказала?

Вчера, говорит, ты мне никто был, клиент, а теперь мы товарищи. Да ничего, Сенька, не пужайся, болезнь эта не ко всякому пристаёт и редко, когда с одного раза.

Он малость успокоился, но жалко её стало.

— А ты как же?

Подумаешь, говорит. У нас таких много. Ничего, живут себе. Иные мамзельки с французкой до тридцати годов доживаются, а кто и дольше. По мне так и тридцать больно много. Вон мамке двадцать восьмой годок, а старуха совсем — зубы повыпали, в морщинах вся.

По правде сказать, Скорик только перед пацанами Ташку мамзелью звал. Стыдно было правду сказать — засмеют. Да ладно, чего там. Кобелить кого хочешь можно, была бы трёшница, а другого такого товарища где возьмёшь?

Короче, выходило, что жить можно и на Хитровке, да ещё получше, чем в иных прочих местах. Тоже и здесь, как везде, имелись свои законы и обыкновения, которые нужны, чтобы людям было способнее вместе жить, понимать, что можно, а чего нельзя.

Законов много. Чтобы все упомянуть, это долго на Хитровке прожить надо. По большей части порядки простые и понятные, самому допереть можно: с чужими как хошь, а своих не трожь; живи-поживай, да соседу не мешай. Но есть такие, что сколько голову ни ломай, не усмыслишь.

Скажем, если кто допрежь третьего часа ночи кочетом крикнет — из озорства, или спяну, или так, от дури, — того положено бить смертным боем. Зачем, почему, никто Сеньке разъяснить не сумел. Было, верно, когда-то какое-нибудь в этом значение, но теперь уже и старые старики не вспомнят, какое. Однако орать петухом среди ночи всё одно нельзя.

Или ещё. Буде какая мамзелька начнёт для форсунки зубы магазинным порошком чистить и клиент её в том уличит — имеет полное право все зубья ей повыбить, и мамзелькин “кот” такой ущерб должен стерпеть. Мелом толчёным чисти, если покрасоваться желаешь, а порошком не моги, его немцы придумали.

Хитровские законы, они двух видов: от прежних времён, как в старину заведено было, и новые — эти объявлялись от Обчества, по необходимости. Вот, к примеру, конка по бульвару пошла. Кому на ней работать — щипачам, что пальцами карманы щиплют, или резунам, что монетой заточенной режут? Обчество посовещалось, решило — резунам нельзя, потому на конке одна и та же публика ездит, ей тогда карманов не напасёшься.

Обчество состояло из “дедов”, самых почтенных воров и фартовых, кто с каторги вернулся или так, по старческой немощи, от дел отошёл. Они, “деды”, любую каверзную закавыку разберут и, если кто перед Обчеством провинился, приговор объявит.

Кто людям жить мешает — прогонят с Хитровки. Если сильно наподличал, могут жизни лишить. Иной раз в наказание выдадут псам, да не за то, в чем истинно перед Обчеством виноват, а велят на себя чужие дела взять, за кого-нибудь из деловых. Так оно для всех справедливей выходит. Нашкодил перед Хитровкой — отслужи: себя отбели и людям хорошим помоги, а за это про тебя в тюрьме и в Сибири слово скажут.

В полицию приговорённого выдавали тоже не абы кому, а только своему, Будочнику, старейшему хитровскому городовому.

Будочник этот в здешних местах больше двадцати лет отслужил, без него и Хитровка не Хитровка, она на нем, можно сказать, словно земля на рыбё-кит стоит, потому как Будочник — власть, а народу совсем без власти нельзя, от этого он, народ, в забвение себя входит. Только власти должно быть немножко, самую малость, и чтоб не по бумажке правила, которую неизвестно кто и когда придумал, а по справедливости — чтоб всякий человек понимал, за что харю ваксят.

Про Будочника все говорили: крут, но справедлив. Зря не обидит. В глаза все его звали уважительно, Иван Федотыч, а фамилия ему было Будников. Но Сенька так и не понял, по фамилии ему прозвище дали, или оттого что в прежние времена, говорят, всех московских городовых будочниками звали. А может, из-за того, что проживал он в казённой будке на краю Хитровского рынка. Когда обходом не вышагивал, то во всякое время сидел у себя, перед открытым окном, на площадь поглядывал, читал книжки с газетами и пил чай из знаменитого серебряного самовара с медалями, которому цена тыща рублей. И запоров в будке не имелось, вот как. А зачем Будочнику запоры? Во-первых, что от них толку, когда вокруг полно шпилечников да форточников наивысшего разбора. Им любой замок открыть — плёвое дело. А во-вторых, кто же полезет у Будочника тырить, кому жизнь надоела?

Всё ему, служивому, из своего окошка было слыхать, всё видать, а чего не увидит, не услышит — шепнут верные люди. Это ничего, Обчеством не возбраняется, потому что Будочник на Хитровке свой. Если б он не по хитровским, а по писанным законам бытовал, давно бы уж порезали его насмерть. А так, если и заберёт кого в участок, то все с пониманием: стало быть, нельзя иначе, тоже и ему надо перед начальством себя показать. Только Будочник редко кого сажал — разве уж никак без этого нельзя, — а так всё больше сам рученьками учил, и ещё кланялись, спасибо говорили. За все годы один только раз двое фартовых на него с ножом попёрли, не хитровские, а беглые, с каторги. Он обоих пудовыми своими кулачищами до смерти уделал, и была ему за это от пристава медаль, от людей полное уважение, да ещё от Обчества золотые часы за неудобство.

Когда Сенька малость обжился, стало ясно: не такая уж она страшная, Хитровка. И веселей тут, и свободней, а про сытней и говорить нечего. Зимой, когда похолодает, наверно, набедуешься, да только зима, она когда ещё будет.

Как Сенька познакомился со Смертью

Было это дней через десять после того, как Сенька увидал Смерть впервые.

Торчал он возле её дома, что на Яузском бульваре, поплёвывал на тумбу, куда лошадей привязывают, и пялился на приоткрытые окна.

Знал уже, где она проживает, пацаны показали, и, по правде говоря, тёрся здесь не первый день. Дважды свезло, видел её издали мельком. Один раз, тому четыре дня, Смерть из дому вышла, в платочке чёрном и чёрном же платье, села в поджидавший шарабан и поехала в церковь, к обедне. А вчера видел её под ручку с Князем: одета барыней, в шляпе с пером. Повёз её кавалер куда-то — в ресторацию или, может, в театр.

Заодно и на Князя поглядел. Что сказать — молодец хоть куда. Как никак первый на всю Москву налётчик, шутка ли. Это генералу-губернатору Симеон Александровичу легко: родился себе царёвым дядькой, вот тебе и генерал, и губернатор, а поди-ка выбейся средь всех московских фартовых на самое первое место. Вот уж вправду: из грязи да в князи. И ребята, кто при нем состоит, молодец к молодцу — все говорят. И будто бы совсем молодые есть, немногим старше Сеньки. Надо же, какое некоторым счастье, вот так враз, с зелёных лет к самому Князю в товарищи попасть. И почёт им, и девки какие хочешь, и деньжищ немеряно, и одеваются селезнями.

Сам знаменитейший налётчик, когда Сенька его увидел, был в красной шёлковой рубахе, атласной жилетке цвета лимон, бархатном малиновом сюртуке; на затылке шляпа золотистой соломки; на пальцах золотые перстни с каменьями; сапожки — зеркальный хром. Заглядение! И на лицо тоже красавец хоть куда. Русый чуб вразлёт, дерзкий синий глаз навыкате, меж красных губ золотой искоркой фикса посверкивает, а подбородок будто каменный и посерёдке ямка.

Не пара — картинка, подумал Сенька и отчего-то вздохнул.

То есть ничего такого себе в голове не держал, отчего вздыхать бы следовало. Ни в какие глупые мечтания не пускался, Боже сохрани. И на глаза к Смерти не лез. Хотелось просто на неё ещё посмотреть, разглядеть получше, что в ней такого необыкновенного, отчего, как увидишь её, всю внутреннюю будто в кулак забирает. Вот и стоял на бульваре подмётки уж который день подряд. Как оттырит своё с пацанами, так сразу на Яузский.

Дом снаружи уже весь обсмотрел, в доскональности. И про то, какой он внутри, тоже знал. Пархом-слесарь, который Смерти рукоюйник починял, рассказывал, что Князь обустроил свою полюбовницу самым шикарным манером, даже трубы водяные провёл. Если не наврал Пархом, то у Смерти там в особой комнате бадья имелась фарфоровая, ванна называется, и в неё из железной трубки сама собой вода течёт горячая, потому что сверху котёл с газовым подогревом. Смерть в той бадье чуть не каждый Божий день моется. Сенька представил себе, как она там сидит вся розовая, распаренная, мочалкой плечи трёт, и от такой фантазии самого в пар кинуло.

Тоже и с улицы если посмотреть, домик был очень ничего себе. Раньше тут усадьба была, генерала какого-то, да в пожар выгорела, один этот флигелёк остался. Небольшой, в четыре окна на бульвар. Место тут было особенное, самая граница между хитровскими трущобами и богатенькими Серебряниками. По ту, яузскую сторону дома были повыше, почище, полепнистей, а по эту, хитрованскую, поплоше. На лошаков похожи, которых на Конном рынке продают: с крупой посмотришь — вроде лошадь как лошадь, а с другой стороны зайдёшь — ишак ишаком.

Вот и Смертьин дом выглядел на бульвар аккуратно, важно, а двором выходил в самую что ни на есть гнилую подворотню, от которой до Румянцевской ночлежки доплюнуть можно. Видно, так Князю удобней было свою краю поселить — чтоб в случае чего, если у ней обложат, рвануть с чёрного хода или хоть из окна, да в ночлежный дом, а там ходы-колидоры подземные, сам черт ногу сломит.

Но от бульвара, где промеж деревьев гуляла культурная публика, ни тёмной подворотни, ни тем более Румянцевки видно не было. Хитрованцам за ажурную оградку ход был заказан — враз псы метлой заметут, да в кузовок мусорный. И тут-то, на хитровском бережку, Сенька себя не больно авантажно держал, всё больше к стене дома жался. Вроде и не рвань какая, и вёл себя чинно, а все одно — проходил мимо Будочник, глазом зыркнул, остановился.

Ты что тут жмёшься, говорит. Ты, Скорик, смотри у меня.

Вот он какой! Уже и личность знал, и прозвище, даром что Сенька на Хитровке из новеньких. Одно слово — Будочник.

Ты, говорит, тут тырить не моги, нет на это твоей юрисдикции, потому тут уже не Хитровка, а цивильная променада. Гляди, мол, несовершеннолетний Скорик, мартышкино семя, ты у меня на сугубом наблюдении до первого попрания законности, а при уличении или хучь бы даже подозрении получишь от меня реприманд по мордасам, штрафную

ухотрепку и санкцию ремнём по рёбрам.

— Да я чего, дяденька Будочник, — жалостно скривился Сенька. — Я так только, на солнышке погреться.

Ну и получил по затылку чугунной лапой — аж промеж ушей хрустнуло.

Я те дам, рычит, “Будочник”. Ишь, волю взял. Я тебе Иван Федотыч, понял?

Сенька ему смиренно:

— Понял, дяденька Иван Федотыч.

Тогда только брови рассупил. То-то, сказал, мартышка сопливый. И пошёл дальше — важный, медленный, большой, будто баржа поплыла по Москве-реке.

Ну ладно, ушёл себе и ушёл. Сенька стал дальше стоять. Поглядывал на Смертины окошки, и уж ему того мало казалось. Прикидывал, как бы так сделать, чтобы Смерть выглянула, себя показала.

От нечего делать достал из кармана бусы зеленые, что нынче утром добыл, принялся их разглядывать.

* * *

С бусами, оно вот как вышло.

Шёл Сенька с Сухаревки через Сретенские переулки...

Нет, сначала нужно рассказать, зачем на Сухаревку ходил. Тут тоже было чем погордиться.

На Сухаревку Скорик не просто так отправился, а по честному делу. С дядькой Зот Ларионычем поквитаться. Жил-то теперь по хитровским законам, а законы эти плохому человеку спускать не велели. Беспременно полагалось за всякую обиду расчёт произвести, и хорошо бы с переплатой, иначе будешь не пацан — уклейка мокрохвостая.

Ну, Сенька и пошёл, да ёщё Михейка Филин в попутчики навязался. Если б не Михейка, то среди бела дня на такое вряд ли б насмелился, ночью бы провернул, ну а тут деваться некуда, пришлось молодечить.

Но вышло всё на ять, важно.

Засели на чердаке ломбарда “Мёбиус”, что напротив дядькиной лавки. Михейка только глазел, Сенька всё сам произвёл, своими руками.

Вынул свинцовую пульку, прицелился из рогатки — и хрясь ровно в серёдку витрины. Их, больших стеклянных окон с серебряными буквами “Пуговичная торговля”, у Зот Ларионыча целых три было. Очень

он ими гордился. Бывало по четыре раза на дню гонял Сеньку стекла эти поганые бархоточкой надраивать, так что и к витринам у Скорика свой счёт был.

На звон и брызг выбежал из лавки Зот Ларионыч в переднике, одной рукой лоток с шведскими костяными пуговицами держит, в другой шпулю ниток (знать, покупателя обслуживал). Башкой вертит, рот разевает, никак в толк не возьмёт, что за лихо с витриной приключилось.

Тут Сенька рраз! — и вторую вдребезги. Дядька товар выронил, на коленки бухнулся и давай сдуру стёклышки расколотые подбирать. Ну, умора!

А Скорик уже в третье окно нацелился. Лопнуло так — любо-дорого посмотреть. Кушайте, любезный Зот Ларионыч, за вашу к сироте заботу-ласку.

Последней дулей, самой увесистой, раззадорившись, щёлкнул дядьку по маковке. Тот, кровосос, так с коленок на бок и завалился. Лежит, глаза выпученные, а орать больше не орёт — вот как изумился.

Михейка от Скориковой лихости был в полном восхищении: и в четыре пальца свистел, и свой ухал — у него это здорово получалось, потому и “Филином” прозвали.

А как шли обратно по-за Сретенкой, Ащеуловым переулком, (Сенька солидно помалкивал, Михейка тараторил без умолку, восхищался), видят — две коляски стоят перед неким домом. Чемоданы вносят с заграничными наклейками, коробки какие-то, ящики. Видно, приехал кто-то, заселяется.

Сеньке сретенской виктории мало показалось.

— Маханём? — кивнул он на багаж. Всякий ведь знает, что тырить лучше всего на пожаре да на переезде.

Михейке тоже охота была себя показать. А чего, говорит, давай.

Первым в подъезд барин вошёл. Его Сенька толком не разглядел — видел только широкие плечи и прямую спину, да седой висок из-под цилиндра. Однако барин был, хоть и седой, но, судить по звонкому голосу, не старый. Крикнул, уже из парадного, немножко заикаясь:

— Маса, п-пригляди, чтоб фару не разбили!

Распоряжаться остался слуга. Не то китаец, не то туркестанец какой — короче, низенький, кривоногий, с узкими глазёнками. Одет тоже чудно: в котелке и чесучовой тройке, а на ногах заместо штиблет белые чулки и потешные деревянные шлёпанцы навроде скамеек. Одно слово — азиат.

Носильщики в кожаных фартуках с бляхами (вокзальные — значит, барин на железке приехал) вносили в дом всячую всячину: связки книг, какие-то колёса на каучуковых шинах с блестящими спицами, медный

сияющий фонарь, трубки со шлангами.

Подле китайца — или кто он там — стоял бородатый дядя, видно, квартирный хозяин, почтительно наблюдал. Про колёса спросил: для чего, мол, они господину Неймлесу и не каретных ли он дел мастер.

Азиат не ответил, только щекастой ряхой помотал.

Один из извозчиков, не иначе как на чаевые набиваясь, гаркнул на Сеньку и Филина: а ну геть отседа, шпана!

Пускай орёт — поленится с козёл слезать.

Михейка шёпотом спросил:

— Скорик, чего тырить будем? Чемодан?

— Какой чемодан, дура, — скривив губы, процедил Сенька. — Примечай, что он из рук не выпускает.

А китаец держал при себе саквояж и ещё узелок малый — надо думать, самое ценное, чего чужим не доверишь.

Михейка снова шипит: а как взять? Чай, если вцепился, не выпустит?

Скорик подумал-подумал и сообразил.

— Ты, Филин, главное, не заржи, делай пустую рожу.

Поднял с земли камешек, прицелился и — чпок! — сбил с азиата котелок. Руки сразу в карман, рот раскрыл — прямо ангел.

Когда косоглазый оглянулся, Сенька ему со всем почтением:

— Дядя китаец, у вас шляпка свалилась.

И Михейка, молодец, ничего — стоит, глазами хлопает.

Ну-ка, поглядим, что нехристь на приступочку положит, чтобы котелок подобрать, — саквояж или узелок.

Узелок. Саквояж у слуги в левой руке остался.

Сенька уж наготове был. Подскочил, будто кот на воробья, ухватил узелок и как припустит вдоль по переулку.

Михейка тож. Бежит рядом, филином ухает, а хохочет так, что картуз обронил. Да картузишко-то дрянь, с треснутым козырьком, не жалко.

Китаец настырный оказался, долго не отставал. Михейка скоро в подворотню отвалил, так азиат за одним Сенькой уклеился. Сурьезно бежал, ходко и на крик силу не тратил. Видно было, что не отвяжется. Скамейками своими деревянными по мостовой тук-тук-тук, всё ближе и ближе.

На углу Сретенки Сенька хотел уже узелок к бесу кинуть (без Михейки куражу-то поубавилось), но тут сзади загромыхало — это китаеза своей дурацкой шлепанцей за булыгу зацепился и растянулся во весь невеликий рост.

То-то.

Сенька ещё попетлял по переулкам и только потом узелок развязал — что там за сокровища такие. Увидел внутри зеленые круглые камешки на нитке. Собой невидные, но кто их знает, может, они тыщу стоят.

Снёс знакомому сламщику. Тот пощупал, зубом погрыз. Дешёвка, говорит. Мрамор китайский, нефрит называется. Семьдесят копеек, говорит, могу дать.

За семьдесят копеек Скорик не отдал, себе оставил. Больно уж вкусно камешки друг об дружку щёлкали.

* * *

Однако ну их, бусы, не об них речь, а о Смерти.

Стало быть, торчал Сенька подле заветного дома и всё не мог придумать, как Смерть к окну подманить.

Достал зеленую низку, побрякал бусами — цок, цок. Подумалось: словно молоточки фарфоровые, хотя какие ж из фарфора могут быть молотки?

И вдруг таким же точно стуком в голове что-то отзвалось — звонко. А мы вон как её выманим! И очень просто!

Посмотрел вокруг, подобрал стёклышко. Поймал луч позднелетнего солнца, да и пустил зайчика в просвет между шторами.

И что же? Минуты не прошло, занавески раздвинулись и выглянула наружу она самая, Смерть.

Сенька от нежданности так обомлел, что руку со стеклом спрятать позабыл — так зайчик у Смерти по лицу и запрыгал. А она глаза ладонью прикрыла, посмотрела-посмотрела и говорит:

— Эй, мальчик!

Обиделся Скорик: какой я тебе мальчик. И одет вроде был не подетски: в рубаху с подпояской, штаны плисовые, сапоги новые, гармошкой, и картуз неплохой, третьего дня с одного пьяного снятый.

— Кому мальчик, а кому в пальчик, — огрызнулся Сенька, хотя срамных слов не любил и почти никогда не говорил — над ним за это даже смеялись. А тут похабство само выскоило — очень уж ослепительно было ему на Смерть глядеть, будто не он её, а она его зайцем солнечным жжёт.

Она не стушевалась, не озлилась — наоборот, засмеялась.

— Ишь, Пушкин какой выискался. Ты хитровский? Зайди-ка, дело есть. Заходи, не бойся, там не заперто.

— Чего бояться-то, — пробурчал Скорик, пошёл к крыльцу. То ли явь,

то ли сон — сам не разберёт. А сердце стук-стук-стук.

Чего у неё в сенях, толком не разглядел, да и темновато было. Смерть в дверях горницы стояла, опершись плечом о косяк. Лицо в тени, но глаза все равно высверкивали, будто блики на ночной реке.

— Ну, чего надо? — спросил Сенька, от робости ещё грубей прежнего.

На хозяйку не смотрел, всё больше под ноги и по сторонам.

Хорошая была комната. Большая, светлая. Три белые двери из неё: одна напротив входа и ещё две рядышком. Печь-голландка с изразцами, всюду вышитые салфеточки, скатерть тоже в вышивке, такой яркой, хоть прищуривайся. На скатерти узор небывалый: бабочки, птицы райские, цветы. Посмотрел получше, а они все, и бабочки, и птахи, и даже цветы, с человечьими лицами — одни плачут, другие смеются, третья злющие и зубы острые щерят.

Смерть спрашивает:

— Нравится? Это я вышиваю. Делать-то что-нибудь нужно.

Чувствовал он, что она его разглядывает, и самому страсть хотелось на неё вблизи посмотреть, но боялся — и без посмотрелок то в жар, то в холод кидало.

Наконец насмелился, поднял голову. Оказалось, Смерть с ним одного роста. И ещё удивился, что глаза у неё совсем чёрные, как у цыганки.

— Что глядишь, конопатый? — засмеялась Смерть. — Ты зачем мне лучик пускал? Я тебя давно приметила, под окнами моими шастаешь. Влюбился, что ли?

Тут Сенька заметил, что глаза-то не совсем чёрные, а с тоненькими голубыми ободочками, и догадался: это у неё зрачки такие широченные, как у дядькиного любимого кота, когда его для смеху валерьянкой обпоят. И стало ему от этого чёрного взгляда жутко.

— Вот ещё, — сказал. — Нужна ты мне.

И губу на сторону ухмыльнулся. Она снова засмеялась.

— Э, да ты не только конопатый, но ещё и щербатый. Я не нужна, так, может, деньги мои сгодятся? Сбегай в одно место, куда скажу. Недалеко, за Покровкой. Вернёшься — рубль дам.

Скорика как заколдило — он опять:

— Нужен мне твой рубль.

В оцепенении был, а то бы чего поумнее в ответ сказал.

— А что ж тогда тебе надо? Чего около дома крутишься? Ей-богу, влюбился. Ну-ка, смотри сюда. — И пальцами его за подбородок.

Он её по руке хрясь — не лапай.

— Кобель в тебя влюбился. Мне от тебя другое нужно... — Сам не

знал, чего бы ляпнуть, и вдруг, как по Божьему наитию — будто само с уст соскочило. — К Князю в шайку хочу. Замолви словечко. Тогда чего хошь для тебя сделаю.

Сказал и обрадовался — ай да ловко. Во-первых, не срамно — а то что она заладила “влюбился, влюбился”. Во-вторых, себя заявил: не оголец, а суръезный человек. Ну и вообще: вдруг правда к Князю пристроит. То-то Проха от зависти треснет!

Она лицом помертвела, отвернулась.

— Незачем тебе. Вон чего захотел, волчонок!

Обхватила себя за плечи, вроде как зябко ей, хотя в комнате тепло было. Постояла так с полминуты, снова к Сеньке повернулась и сказала жалобно, да ёщё за руку взяла:

— Сбегай, а? Я тебе не рубль — три дам. Хочешь пять?

Но Скорик уже понял: его сила, его власть, хоть и невдомёк было, почему. Видно очень уж Смерти что-то на Покровке запонадобилось.

Отрезал:

— Нет, хоть четвертную давай, не побегу. А Князю шепнёшь или отпишешь, чтоб меня взял, тогда вмиг слетаю.

Она за виски взялась, покривилась вся. Первый раз Сенька видел, чтобы баба, сморщив рожу, не утратила красоты.

— Чёрт с тобой. Исполни, что поручу, а там посмотрим.

И обсказала, чего ей нужно:

— Беги в Лобковский переулок, нумера “Казань”. Там у ворот калека сидит безногий. Шепни ему слово особенное: “иовс”. Да не забудь, не то худо будет. Войдёшь в нумера, пускай тебя к человеку отведут, имя ему Очко. Скажешь ему тихонько, чтоб никто больше не слыхал: “Смерть дожидается, мочи нет”. Возьмёшь, чего даст, и живо обратно. Всё запомнил? Повтори.

— Не попка повторять.

Нахлобучил Скорик картуз, да и выскочил на улицу.

Так вдоль бульвара припустил, что двух лихачей обогнал.

Как Сенька поймал судьбу за хвост

Хорошо Сенька знал, где они, нумера “Казань”, а то их хрен сыщешь. Ни вывески, ничего. Ворота наглухо заперты, только малая калитка немножко приоткрыта, но тоже так, запросто, не войдёшь: прямо перед железной решёткой расселся убогий инвалид, вместо ног штанины пустые завёрнуты. Зато плечищи в сажень, морда красная, дублёная, из засученных рукавов тельняшки видно крепкие, поросшие рыжим волосом лапы. Убогий-то он убогий, но, поди, как стукнет своей колотушкой, которой тележку от земли толкает, — враз душа вон.

Сенька сразу к безногому не полез, сначала приглядился.

Тот не без дела сидел, свистульками торговал. Покрикивал сиплым басом, лениво: па-адхади, мелюзга, у кого есть мозга, свистульки из банбука, три копейки штука. Возле калеки толкалась ребятня, пробовала товар, дула в гладкие жёлтые деревяшки. Иные покупали.

Один попросил, показав на медную трубочку, что висела у инвалида на толстой шее: дай, мол, дедушка, энтот свисток опробовать. Калека ему щелобан по лбу: это тебе не свисток, а боцманская дудка, в неё всякой мелочи сопливой дуть не положено.

И стало Сеньке всё в доскональности ясно. Моряк этот тут для виду торговлю ведёт, а сам, конечно, на стрёме. И ловко как придумано-то: если шухер, дунет в свою медную свистелку — у ней, надо думать, голос звонкий, вот и будет знак остальным подмётки смазывать. А слово волшебное, которому Смерть научила, “иовс”, это “свои”, только шиворот-навыворот. На Москве фартовые и воры издавна так язык ломали, чтоб чужим не понять: то слог какой прибавят, то местами переменят, то ещё что-нибудь удумают.

Подошёл к стремщику, наклонился к самому уху, шепнул, чего было велено. Дед на него из под пучкастых бровей зыркнул, сиво-рыжим усищем дёрнулся, сказать ничего не сказал, только малость на тележечке своей отъехал.

Вошёл Скорик в пустой двор и остановился. Неужто здесь сам Князь с шайкой хазу держат?

Одёрнул рубаху, рукавом по сапогам провёл, чтоб блестели. Картиз снял, снова надел. Перед дверью в дом перекрестился и молитовку пробормотал — особенную, об исполнении желаний, давно ещё один хороший человек научил: “Пожалуй мя, Господи, по милости Твоей, призре

на моление смиренных, воздаждь ми не по заслугам, а по хотению".

Собрался с духом, подёргал — закрыто. Тогда постучал.

Открыли не сразу, и не во всю ширину, а на чуть-чуть, и чей-то глаз из темноты блеснул.

Сенька на всякий случай снова:

— Иовс.

Из-за двери спросили:

— Тебе чего?

— Очка бы желательно...

Тут дверь открылась вся, и увидел Скорик парня в шёлковой рубахе с узорчатым ремешком, в сафьяновых сапожках, из жилетного кармана цепка серебряная свисает с серебряной же черепушкой — сразу видать, что деловой самовысшей пробы. И взгляд особенный, как у всех деловых: быстрый, цепкий, приметливый. Ух, как завидно стало: парнишка был его, Сенькиных, лет, а ростом ещё и поменьше. Вот людям фарт!

Пойдём, говорит. И сам вперёд пошёл, на Сеньку больше не смотрел.

Тёмный коридор привёл в комнату, где за голым столом двое шлёпались в карты. Перед каждым — горка кредиток и золотых империалов. Аккурат когда Скорик и его провожатый вошли, один игрок карты перед собой швырнул и как крикнет:

— Мухлюешь, курвин потрох! Дама где? — и раз второму кулаком в лоб.

Тот так со столом и завалился. Сенька ойкнул — испугался, что затылок расшибёт. А упавший через голову кувыркнулся, чисто акробат в цирке-шапито, вскочил, на стол прыг, и тому, что ударил, хлобысть ногой по харе! Сам ты, кричит, мухлюешь. Вышла дама-то!

Ну, тот, кому по морде сапогом отвешено, конечно, запрокинулся. Золото по полу катится, звенит, бумажки во все стороны летят — ужас.

Сенька оробел: сейчас смертоубийство будет. А парнишка стоит, зубы скалит — весело ему.

Этот, который свару начал, скулу потёр.

— Так вышла, говоришь, дама? И вправду вышла. Ладно, давай дальше играть.

И сели, будто ничего не бывало, только карты разбросанные подобрали.

Вдруг Сенька обмер. Челюсть отвисла, глазами хлопает. Пригляделся, а игроки-то на одно лицо, не отличишь! Оба курносые, желтоволосые, губастые, и одеты одинаково. Что за чудо!

— Ты чего? — дёрнул за рукав провожатый. — Идём.

Пошли дальше.

Опять коридор, снова комната. Там тихо, на кровати спал кто-то. Харю к стенке отвернул, видно только щеку толстую и оттопыренное ухо. Здоровенный бугай, разлёгся прямо в сапожища и хранил себе.

Парнишка на цыпочках засеменил, тихонько. Скорик тоже, ещё тише.

Только бугай, не прерывая хранила, вдруг руку из-под одеяла высунул, а в ней дуло блестит, чёрное.

— Я это, Сало, я, — быстро сказал фартовый пацан.

Рука обратно опустилась, а рожу спящий так и не повернулся.

В третьей комнате Сенька картуз сдёрнул, перекрестился — на стене целый иконостас висел, как в церкви. Тут и святые угодники, и Богородица, и Пресвятой Крест.

Напротив, у стены, положив на стол длинные ноги в блестящих штиблетах, сидел человек в очках, с длинными прямыми, как пакля, волосами. В пальцах вертел маленький острый ножик, не более чайной ложки. Сам одет чисто, по-господски, даже при галстуке-ленточке. Никогда Скорик таких фартовых не видывал.

Провожатый сказал, пропуская Сеньку вперёд:

— Очко, оголец к тебе.

Скорик сердито покосился на обидчика. Врезать бы тебе за “огольца”. Но тут человек по имени Очко сделал такое, что Сенька охнулся: тряхнул рукой, ножик серебристой искоркой блеснул через всю комнату и воткнулся прямо в глаз Пречистой Деве.

Только теперь Сенька рассмотрел, что у всех святых на иконах глаза повыколоты, а у Спасителя на Кресте, там, где гвоздикам положено быть, такие же точно ножички торчат.

Очко вытянул из рукава ещё одно пёрышко, метнул в глаз Младенцу, что пребывал у Марии на руках. Лишь после этого повернулся голову к обомлевшему Сеньке.

— Что, вам угодно, юноша?

Скорик подошёл, оглянулся на парнишку, который торчал в дверях, и тихонько, как было приказано, сказал:

— Смерть дожидается, мочи нет.

Сказал — и испугался. Ну как не поймёт? Спросит: “Чего это она дожидается?” А Сенька и знать не знает.

Но длинноволосый ничего такого спрашивать не стал, а вместо этого вежливо, негромко попросил паренька:

— Господин Килька, будьте любезны, сокройте свой лик за дверью.

Скорик-то понял, что это он велел пацану проваливать, а Килька этот,

видно, не смикитил — как стоял, так и остался стоять.

Тогда Очко ка-ак пустит сокола из правого рукава, в смысле ножик — тот ка-ак хряснет в косяк, в вершке от Килькиного уха. Парнишку сразу будто ветром сдуло.

Очкастый внимательно посмотрел на Скорика. Глаза под стёклышками были светлые, холодные, чисто две ледышки. Достал из кармана бумажный квадратик, протянул. И опять тихо так, вежливо:

— Держите, юноша. Передайте, загляну нынче часу в восьмом... Хотя постойте.

Повернулся к двери, позвал:

— Эй, господин Шестой, вы ещё здесь?

В щель снова Килька просунулся. Выходит, у него не одна клиуха, а две?

Шмыгнул носом, сторожко спросил:

— Пером кидаться не будешь?

Очко ответил непонятно:

— Я знаю, нежного Парни перо не в моде в наши дни. Когда у нас randevu, то бишь стык с Упырём?

Килька-Шестой, однако, понял. Сказывали, в седьмом, говорит.

— Благодарю, — кивнул чудной человек. И Сеньке. — Нет, в восьмом не получится. Передайте, буду в девятом или даже в десятом.

И отвернулся, снова стал на иконостас глядеть. Скорик понял: разговору конец.

* * *

Обратно шёл через Хитровку, дворами, чтобы угол срезать. Думал: вот это люди! Ещё бы Князю с такими орлами не быть первым московским налётчиком. Казалось, чего бы только не дал, чтобы с ними на хазе посиживать, своим среди своих.

За Хитровским переулком, где по краям площади дрыхли рядами подёнщики, Сенька встал под сухим тополем, развернул бумажный пакетик. Любопытно же, что там такого драгоценного, из-за чего Смерть готова была целый пятерик отвалить.

Белый порошок, навроде сахарина. Лизнул языком — сладковатый, но не сахарин, тот много слаше.

Засмотрелся, не видел, как Ташка подошла.

Сень, говорит, ты чего, марафетчиком заделался?

Тут только до Скорика допёрло. Ну конечно, это ж марафет, ясное дело. Оттого у Смерти и зрачки чернее ночи. Вон оно, выходит, что...

— Его не лизать надо, а в нос, нюхать, — объяснила Ташка.

По раннему времени она была не при параде и ненамазанная, с кошёлкой в руке — видно, в лавку ходила.

Зря ты, говорит, Сень. Все мозги пронюхаешь.

Но он все же взял щепотку, сунул в ноздрю, вдохнул что было мочи. Ну, пакость! Слезы из глаз потекли, обчихался весь и соплями потёк.

— Что, дурень, проверил? — наморщила нос Ташка. — Говорю, брось. Скажи лучше, это у меня что?

И себе на волосья показывает. А у неё на макушке воткнуты ромашка и ещё два цветочка, Сеньке не известных.

— Что-что, коровий лужок.

— Не лужок, а три послания. Майоран означает “ненавижу мужчин”, ромашка “равнодущие”, а серебрянка “сердечное расположение”. Вот иду я с каким-нибудь клиентом, от которого тошно. Воткнула себе майоран, презрение ему показываю, а он, дубина, и знать не знает. Или с тобой вот сейчас стою, и в волосах серебрянка, потому что мы товарищи.

Она и вправду оставила в волосах одну серебрянку, чтобы Сенька порадовался.

— Ну а равнодущие тебе зачем?

Ташка глазами блеснула, губы потресканные языком облизнула.

— А это влюбится в меня какой-нибудь ухажёр, станет конфекты дарить, бусы всякие. Я его гнать не стану, потому что он мне, может, нравится, но и гордость тоже соблюсти надо. Вот и прицеплю ромашку, пускай мучается...

— Какой ещё ухажёр? — фыркнул Сенька, заворачивая марафет, как было. Сунул в карман, а там брякнуло — бусы зеленые, что у китайца скрадены. Ну и, раз к слову пришлось, сказал:

— Хошь, я тебе безо всякого ухажерства бусы подарю?

Достал, помахал у Ташки перед носом. Она прямо засветилась вся.

Ой, говорит, какие красивые! И цвет мой самый любимый, “эсмеральда” называется! Правда подаришь?

— Да бери, не жалко.

Ну и отдал ей, невелика утрата — семьдесят копеек.

Ташка тут же бусы на шею натянула, Сеньку в щеку чмокнула и со всех ног домой — в зеркало смотреться. А Скорик тоже побежал, к Яузскому бульвару. Смерть, поди, заждалась.

Показал ей пакетик издали, да и в карман спрятал.

Она говорит:

— Ты что? Давай скорей!

А у самой глаза на мокром месте и в голосе дрожание.

Он ей:

— Ага, щас. Ты чего обещала? Пиши Князю записку, чтоб взял меня в шайку.

Смерть к нему бросилась, хотела силой отобрать, но куда там — Сенька от неё вокруг стола побежал. Поиграли малость в догонялки, она взмолилась:

— Дай, кат, не мучай.

Скорику её жалко стало: вон она какая красивая, а тоже бессчастная. Дался ей порошок этот поганый. И ещё подумалось — может, не станет Князь в важном деле бабу слушать, хоть бы даже и самую разобождаемую полюбовницу? Хотя нет, пацаны сказывали, что ей от Князя ни в чем отказа нет, ни в большом, ни в малом.

Пока сомневался, отдавать марафет или нет, Смерть вдруг понурилась вся, за стол села, лоб подпёрла, устало так, и говорит:

— Да пропади ты пропадом, зверёныш. Всё одно подрастёшь — волчиной станешь.

Застонала тихонько, словно от боли. Потом взяла бумаги клочок, написала что-то карандашом, швырнула.

— На, подавись.

Он прочёл и не поверил своей удаче. На бумажке было размашисто написано:

“Князь возьми мальца в дело. Он такой как тебе нужно.

Смерть”.

Как Сенька себя проявил

— Как мне нужно? Да на кой ты мне сдался?

Князь яростно потёр ямочку на подбородке, ожёг Сеньку своими чёрными глазищами — тот заежился, но тушеваться тут было нельзя.

— Она говорит: иди, Скорик, не сумлевайся, беспременно от тебя Князю польза будет, уж я-то знаю, так и сказала.

Старался глядеть на большого человека истово, безбоязненно, а поджилки-то тряслись. За спиной у Сеньки вся шайка стояла: Очко, Килька-Шестой, двое с одинаковыми рожами и ещё один мордатый (надо думать, тот, что с левольвером дрых). Только калеки безногого не хватало.

Князь квартировал в нумерах “Казань” в самом конце колидора, по которому Сеньку давеча водили. От комнаты с опоганенным иконостасом, где Очко свои ножички кидал, ещё малость пройти, за угол повернуть, и там горница со спальней. Спальню-то Скорик видел только через приоткрытую дверь (ну, спальня как спальня: кровать, цветным покрывалом прикрыта, на полу кистень валяется — шипастое стальное яблоко на цепке, а больше ничего не разглядишь), а вот горница у Князя была знатная. Во весь пол персидский ковёр, пушистый до невозможности, будто по моху лесному ступаешь; по-вдоль стен сундуки резные (ух, поди, в них добра-то!); на широченном столе в ряд бутылки казённой и коньяку, чарки серебряные, обгрызенный окорок и банка с солёными огурчиками. Князь в эту банку то и дело пятерней залезал, вылавливал огурцы попупыристей и хрустел — смачно, у Сеньки аж слюнки текли. Рожа у фартового была хоть и красивая, но немножко мятая, опухшая. Видно, сначала много пил, а потом долго спал.

Князь вытер руку о подол шёлковой, навыпуск, рубахи. Снова взял записку.

— Что она, одурела? Будто не знает, что у меня полна колода. Я — король, так?

Он загнул палец, а Очко сказал:

— У тебя скоро титулов, как у государя императора, будет. По имени ты Князь, по-деловому король, а скоро ещё и тузом станешь. Милостью Божией Туз Всемосковский, Король Хитровский, Князь Запьянцовский.

Про “запьянцовского” Сеньке шибко дерзко показалось, но Князю шутка понравилась — заржал. Остальные тоже погоготали. Сам-то Скорик не допёр, в чем потеха, но на всякий случай тоже улыбнулся.

— Когда стану туз, тогда другой балак пойдёт. — Князь бумажку на стол положил, принялся дальше перстнястые пальцы загибать. — Дамой у меня Смерть, так? Ты, Очко, — валет. Сало — десятка, Боцман — девятка, Авось — восьмёрка, Небось — семёрка. Огольца этого кроме как шестёркой не возьмёшь, так у меня и шестёрка имеется. А, Килька?

— Ну, — ответил давешний паренёк.

Теперь Сенька понял, о чём толкует Князь. Пацаны рассказывали, что у настоящих деловых, кто по законам живёт, шайка “колодой” называется, и в каждой колоде свой кумплект. Кумплект — это восемь фартовых, каждый при своём положении. Главный — “король”; при нем маруха, поделовому “дама”; потом “валет” — вроде как главный помощник; ну и прочие бойцы, от десятки до шестёрки. А больше восьми человек в шайке не держат, так уж исстари заведено.

Оглянулся на длинноволосого Очка с особенным почтением. Ишь ты, валет. Валет — он мало того, что правая рука у короля, он ещё в колоде обыкновенно по мокрому делу первый. Оттого, верно, и прозвание “валет”, что людей валит.

— Вакансий не наличествует, — сказал Очко, как всегда, мудрено, но Скорик понял: свободных местов в шайке нету, вот он о чём.

Однако, странное дело, Князь недоростка в шею не гнал. Всё стоял, затылок чесал.

— Две шестёрки — что это за колода будет? Как на это Обчество скажет? — вздохнул Князь. — Ох, Смерть-Смертушка, что ты со мной делаешь...

И по этому его вздыханию дошло вдруг до Сеньки, что ворчать-то Князь ворчит, а Смерти ослушаться робеет, хоть собою и герой. Ободрился Скорик, плечи расправил, стал на фартовых уже и вправду без опаски поглядывать: решайте, мол, сами эту закавыку, а моё дело маленькое. Со Смерти спрос.

— Ладно, — приговорил Князь. — Как тебя? Скорик? Ты, Скорик, покрутись пока так, без масти. Там видно будет, куда тебя.

Сенька от счастья даже зажмурился.

Пускай без масти, а всё равно он теперь настоящий фартовый, да не просто, а из самой что ни есть первойшей на всю Москву шайки! Ну Проха, ну Михейка, полопаетесь! А как доля от хабара пойдёт, можно будет Ташку в марухи взять, чтоб не валялась со всякими. Пускай сидит себе дома, подрастает, цветки свои раскладывает.

Князь махнул рукой на стол, все кроме Очка себе налили — кто водки, кто коньяку, стали пить. Сенька тоже коричневого пойла хлебнул, чтоб

попробовать (дрянь оказалась, хуже самогонки). Хоть и голодный был, но ветчины не взял ни кусочка — надо себя было с самого начала правильно поставить: не голодаец какой-нибудь, а тоже с понятием пацан, не на помойке подбран. Держался в сторонке, с деликатностью, смотрел и слушал, в разговор не встревал, ни Боже мой. Да и деловые на него не смотрели, что им малолеток. Только Килька пару раз глянул. Один раз так просто, второй раз подмигнул. И на том спасибо.

А Князь стал двойняшам, которые семёрка с восьмёркой, про Смерть рассказывать.

“Вы, говорит, Авось с Небосем, у нас недавно, ещё не знаете, что это за баба. Видеть-то, конечно, видели, только этого мало. Вот я вам расскажу, как её добывал, тогда поймёте. Когда прежний её хахаль, Яшка Костромской, каши свинцовой покушал и она свободная стала, начал я к ней подкатывать. Давно уж глаз на неё плясал, но при живом Яшке не насмаливался. Он от Общества в большом уважении состоял, а я что тогда был — гоп-стопник. Ни колоды, ни хазы хорошей, по-мокрому не хаживал, больших дел не делал. Тоже, конечно, на Хитровке не из последних был, но куда мне до Яши Костромского? Только думаю: всю землю зубами изгрызу, а эта краля моя будет. Первый раз тогда кассу ссудную взял, сторожа кистенём угостили. Заговорили обо мне, хрусты у меня завелись не копеечные. Стал слать ей подарки: золота, да фарфоров разных, да шелка японского. Она мне все обратно отсыпает. Приду — гонит, даже говорить не желает.

Я терплю, понимаю — мелковат я пока для Смерти.

Ладно. Вагон почтовый подломил, тут уж двоих насмерть положил. Взял сорок тыщ.

Заявился к ней с хором цыганским, ночью. Псам из Мясницкого участка пятьсот рублей отвалил, чтоб не мешались. Под дверь коробку атласную поклал, в коробке брошь бриллиантовая, вот такущая.

И что? Цыгане с цыганками охрипли, подмётки все оттоптали, а она дверь не открыла, даже в окно не выглянула.

Ну, думаю, какого тебе ещё рожна надо? Не денег, не подарков — это ясно. Тогда чего же?

Удумал с другого бока зайти. Знал, что Смерть ребятню жалеет. В Марьинский приют, что для хитровских сирот, деньги шлёт, одежду, сласти всякие. Ей раз Яшка-конокрад сотню золотых империалов в корзине с фиалками поднёс, так она, полуумная, цветки себе оставила, а деньги приютским сёстрам отдала, чтоб баню выстроили.

Ага, прикидываю. Мытьём не взял, так катаньем достану.

Купил пуд шоколаду, самого что ни на есть швейцарского, три штуки голландского полотна на рубашки, ещё бязи на бельишко. Лично отвёз, передал матери Манефе. Нате, мол, от Князя сироткам в угощение”.

Здесь мордатый, десятка, в Князев рассказ встриял, хмыкнул:

— Ага, знатно угостили, помним.

Князь на него шикнул.

“Ты, говорит, Сало, вперёд сказа не встревай. Ну что? Являюсь к Смерти этаким гоголем — посмотреть, не будет ли ко мне от неё какой перемены. Вот тогда она мне дверь открыла, только лучше б не открывала. Вышла, глаза сверкают. Чтоб духу твоего не было, кричит. Не моги ко мне близко подходить, и ещё по-всякому. В тычки за порог вышибла, за мои-то старания... Сильно я тогда обиделся. Так запил — неделю будто в дыму был. И обидней всего мне, пьяному, вспоминалось, как я на свои кровные шоколад этот паскудный покупал и сукнецо в лавке щупал — хорошего ли сорта”.

— Ну, сукнецо тебе, положим, задаром поднесли, — снова вставил Сало.

А Князь:

“Не в том дело. За старание своё обидно. Нет, думаю, шалишь. Негладко выходит. Хрен вам, а не полотно с шоколадом. Ночью перелез через приютский забор, окно высадил, дверь в кладовку ихнюю выбил и давай крашить. Шоколад весь на пол высыпал, ногами утоптал. Полотно пером чуть не в нитки покромсал — носите на здоровьице. Бязь всю порезал. И ещё покрушил, чего там у них было. Сторож на шум влез. Ты что, орёт, гад, делаешь, сирот бездолиши! Ну, я и его пером прямо в сердце щекотнул, так юшка мне на руку и брызнула... Иду из кладовки весь в кровище, нитки с меня свисают, рожа от шоколада чёрная, как у арапа. Навстречу сама мать Манефа, со свечкой. Ну, я и её — так уж, заодно. Всё равно, думаю, душу свою погубил. И кляп с ней, с душой и с жизнью вечной. Без Смерти мне вовсе никакой жизни не надо...”

— Да, — кивнул Сало. — После на всю Москву шуму было. Хоть ты и пьяный был, а не наследил и свидетельчиков не оставил. Со временем узнали, конечно, что это ты погулял, а доказать им нечем было.

Князь усмехнулся.

“Главное, что наши все сразу признали и Смерти донесли. Я как из приюта вернулся, два дня без просыпу дрых. А как в себя пришёл — дают мне записочку от неё, от Смерти. “Приходи, мой будешь” — так и было написано. Вот она какая, Смерть. Поди, пойми её”.

Сенька рассказ выслушал в оба уха, жадно, и потом голову ломал, как

эту историю разъяснить, но так и не разъяснил.

В тот день, правда, долго голову ломать времени не было — столько всего приключилось.

После того как Князь свой приговор объявил про Сеньку и угостил колоду водкой-коньяком, Килька повёл новичка к себе (была у него недалеко от входа каморка за ситцевой занавесочкой).

Оказался душа-парень, без форсунки, даром что сам с мастью, а Сенька вроде как с боку-припёку. Нос не драл, говорил попросту и много чего полезного порассказал, уже как своему, почти что затасанному.

Ничё, сказал, Скорик, раз сама Смерть за тебя попросила, будешь в колоде, никуда не денешься. Может, кого из наших посадят или пришлют — тогда тебя в шестые возьмут, а я до семёрки поднимусь. Ты меня держись, не пропадёшь. И живи прямо тут. Вместе и храпеть веселей.

(Похрапеть-то им на пару так и не довелось, но об этом после.)

Про Князя и так всё было известно, про Смерть новенький тоже не меньше Килькиного знал, поэтому стал про остальных выспрашивать.

Валета нашего, сказал Килька, все боятся, даже Князь себя с ним опасливо держит, потому как Очко припадочный. То есть так-то он тихий, спокойный, хоть и говорит всё время непонятно, стихами, но иногда попадёт вожжа под хвост, и тогда ужас какой страшный делается, прямо Сатана. Сам он из господ, раньше студентом был, но почиркал там кого-то до смерти по марафетному делу и получил каторгу-пожизненку. Ты от него подальше держись, посоветовал Килька. Князь может и в харю, и даже насмерть прибить, но хоть ясно, с чего и за что, а этот бешеный.

Следующий по колоде, Сало, оказался хохол, отсюда и кличка. Нужный человек, большие знакомства среди иногородних сламщиков и перекупщиков имеет, весь хабар через него уходит и хрустом, то бишь денежками, возвратается.

Про безногого Боцмана, девятку, Килька рассказал, что он и вправду прежде был флотским боцманом, самым геройским героем на всем Чёрном море. Как начнёт про турку или морские плаванья рассказывать — заслушаешься. Ему на корабле котлом паровым ноги отдавило. Кресты у него, медали, пенсия геройская — шестнадцать целковых, но не тех кровей человек, чтоб тихо старость проживать. Ему куражу хочется, фарту да азарту. Он и доли из хабара своей никогда почти не берет, а у девятки доля немалая, не то что Килькина.

Седьмой с восьмым братья-близнецы с Якиманки. Лихие ребята. Их Князю знакомый городовой из Первого Якиманского участка взять присоветовал. Сказал: страх до чего ребята отчаянные, жалко, если к

большому делу не пристроятся, даром пропадут. А прозвали их Авось и Небось, потому что лихости в них больше, чем ума. Авось-то ещё куда ни шло, оттого старшим поставлен, а Небось совсем шебутной. Вели ему Князь орла двуглавого со Спасской башни своровать — полезет, не задумается.

А под конец Килька вздохнул, ладоши потёр и говорит:

— Ништо, сегодня на всех наших в деле посмотришь.

— В каком деле? — У Скорика сердце так и сжалось — надо же, в самый первый день сразу на дело идти! — Бомбить кого будем?

— Нет, бомбить что. Тут дело аховое. Стык нынче у Князя с Упырём.

Сенька припомнил, как Очко про этот самый стык уже спрашивал.

— А, это который в седьмом часу будет? И чего там? Это который Упырь, Котельнический?

— Он. На московского туга с Князем метать будут. Понял?

Сенька присвистнул. Вон оно что!

Туз — это у фартовых навроде царя-государя, один на всю Москву. Раньше тузом Кондрат Семёнович был, большущий человек, вся Москва его трепетала. Говорили, правда, про Кондрат Семёновича разное. Что старый стал, ржавый, молодым ходу не даёт. Кто и осуждал за то, что в богатстве проживает, и не на Хитровке, как тузу положено, а в собственном доме, на Яузе. И помер он не по-фартовому — от ножа, пули или в тюрьме. На пуховой перине дух испустил, будто купчина какой.

Выходит, Обчество приговорило тузом одному из двух быть: Князю или Упырю.

Про Князя ясно — орёл крылатый. Стрелой вверх взлетел, такие дела делает — залюбуешься. Одним нехорош: сильно шустро шагает и строптив. Килька сказал, “деды” опасаются — не задурил бы от такой власти.

Другое дело Упырь. Он из давних, тихих, которые не летают, а побелочки вверх карабкаются. Дел за Упырём громких не водится, пальбы от его колоды не слыхать, а боятся его не меньше, чем Князя.

Упырёва колода не налётали промышляют, а делом новым, шума не терпящим: стрижёт лабазников и лавочников. Таких деловых “доильщиками” прозвали. Хочешь, чтоб лавка цела была, чтоб врач санитарный не цеплялся и псы не трогали — плати доильщику мзду и живи себе, торгуй. А кто не хотел платить, на себя надеялся или так, жадничал, с теми всякое случалось. Одного упрямого бакалейщика стукнули в тёмном переулочке сзади по башке, он и не видел кто. Упал, встать хочет, а не может — земля в глазах плывёт. Вдруг глядит — на него лошадь с телегой

едет, в телеге камни грудой, чем улицу мостят. Он кричит, руками машет, а возница будто не слышит. Лошадь-то бакалейщика копытами переступила, а тележные колёса прямо по ногам ему проехали, переломали всего. Теперь того бакалейщика в кресле на колёсиках взята, и Упырю он платит исправно. А у другого, мороженщика, дочку-невесту так же вот подкараулили, мешок на голову натянули и попортили — да не один, а с полдюжины бугаёв. Она теперь дома сидит, на улицу носа не кажет, и уже два раза из петли вынимали. А заплатил бы мороженщик, ничего бы с его дочкой не было.

Но и Упырь не всем “дедам” по сердцу, объяснил Килька. Те, которые годами постарше и хорошо прежние времена помнят, не одобряют Упырёва промысла. Раньше так кровососничать не заведено было.

Короче, на сегодня назначен стык, чтобы Князь с Упырём сами меж собой разобрались, кто кому дорогу уступит.

— Так порешат они друг друга! — ахнул Сенька. — Порежут, постреляют.

— Нельзя, закон запрещает. Ребра поломают или башку кому пробьют, но не боле того. С оружием на стык идти нельзя, Обчество этого не позволяет.

* * *

В пятом часу пришли посредники от Обчества, два спокойных, медлительных “деда” из уважаемых воров. Назвали место для стыка — Коровий луг в Лужниках — и время: ровно в семь. Ещё сказали, Упырь желает знать, всей ли ему колодой приезжать или как.

“Дедов” посадили в передней комнате чай пить, ответа ждать, а сами столпились у Князя вокруг стола. Даже Боцман с улицы прикатил, боялся, обойдут его.

Небось первый крикнул:

— Все пойдём! Наваляем упырятам, будут помнить.

Князь на него шикнул:

— Ты думай, башка, потом говори. У нас дама есть? Нету. Смерть же с нами на Коровий луг махаться не поедет?

Все поулыбались шутке, стали ждать, чего Князь дальше скажет.

— А у Упыря дамой — Манька Рябая. Она в прошлый год двух легавых лбами стукнула так, что не встали, — продолжил Князь, полируя щёточкой ногти. Он сидел нога на ногу, слова ронял неспешно — наверно,

уже видел себя тузом.

— Знаем Маньку, женщина основательная, — подтвердил Боцман.

— Та-ак. Дальше глядите. Вот ты, Боцман, не в обиду сказать, калека. Какой от тебя на стыке прок?

Боцман запрыгал на своих обрубках, заволновался:

— Да я... Вон колотушкой как приложу — всякий напополам согнётся. Князь, ты ж меня знаешь!

— Колотушкой, — передразнил Князь, откусывая заусенец. — А у Упыря девяткой Вася Угрешский. Много ты против него своей колотушкой намахаешь? То-то.

Боцман закручинился, захлюпал.

— Теперь шестёрку взять, — кивнул на Кильку старшой.

Тот вскинулся:

— А чё я-то?

— А то. У них шестёркой Дубина. Он кулачищем гвоздь четырехвершковый в бревно забивает, а тебя, Килька, соплей пересибёшь. И что у нас, господа фартовые, выходит? А то выходит, что ихняя колода на стыке забьёт нашу как Бог свят. А после скажут, что Князь при всей колоде был, не станут разбирать, кто там малый, кто убогий, а кого вовсе не было. Скажут-скажут, — повторил Князь в ответ на глухой ропот.

Тихо стало в комнате, скучно.

Сенька в самом уголке сидел, боялся — не погнали бы. Что на стык не возьмут, его не сильно печалило. Не большой он был любитель кулаками махать, да ещё против настоящих бойцов. Порвут недоростка и в землю утопчут.

Князь на ногти полюбовался, ещё один заусенец откусил-выплюнул.

— Зовите “дедов”. Я решаю. И молчок мне, не вянькать.

Килька сбежал за посредниками. Те вошли, встали у порога. Князь тоже поднялся.

— На стык вдвоём идти, такое моё мнение. — Посмотрел весело, чубом тряхнул. — Королю и ещё одному, кого король выберет. Так Упырю и передайте.

Очко на эти слова зевнул, прочие наступились. Но ни слова сказано не было — видно, перед чужими собачиться нельзя, подумал Сенька.

Но и когда “деды” ушли, лаю не было. Раз Князь решил, значит всё.

Килька Сеньке мигнул: выдь-ка.

В колидоре зашептал, шмыгая носом:

— Я то место хорошо знаю. Там сарайчик есть, сховаться можно. Айда засядем!

— А если увидят?

— На ножи поставят, как пить дать, — беззаботно махнул Килька. — У нас с этим строго. Да не пузырься, не увидят. Говорю, сарайчик важнеющий. В сено зароемся, никто не допрёт, а нам всё-будет видать.

Сеньке боязно стало, замялся. А Килька сплюнул на пол и говорит:

— Гляди, Скорик, как хочешь. А я побегу. Пока они телятся, поспею раньше.

Пошёл с ним, конечно, Сенька — куда деваться. Не девка ведь трусить. Да и посмотреть хотелось: шутка ли — настоящий фартовый стык, где решится, кому на Москве тузом быть. Многие ль такое видали?

* * *

Бегать, конечно, не пришлось — это Килька так, к слову сказал. Денег у него, фартового, были полные карманы. Вышли на Покровку, подрядили лихача, покатили в Лужники, за город. Килька извозчику ещё рупь сверху посулил, чтоб гнал с ветерком. За двадцать три минуты по набережной докатили — Килька по своим серебряным часам считал.

Коровий луг был луг как луг: жёлтая трава, лопухи. С одной стороны, за речкой, торчали Воробьёвы горы, с другой Новодевичий монастырь с огородами.

— Вот здесь стыкнутся, больше негде, — показал Килька на истоптанную плешицу, где сходились четыре тропинки. — В траву не полезут, там сплошь лепёхи коровы, штиблеты угваздаешь. А сарайчик — он вон он.

Сарайчик был дрянь, чихни — развалится. Поставленный когда-то для сенных надобностей, он, видно, доставал последнее. До плешиц от него было рукой подать — может, шагов десять или пятнадцать.

Залезли по лесенке на чердак, где старое, ещё прошлогоднее сено. Залегли. Лесенку за собой утянули, чтоб не догадался никто, проверять не сунулся.

Килька опять на часы свои поглядел, говорит:

— Три с половиной минуты шестого. Два часа ещё почти. В секу пошлёпаем, из полтинничка?

И потянул колоду из кармана. У Сеньки от страха руки-ноги холодные и по спине мураши, а этому, вишь, в картишки!

— Денег нету.

— На щелбаны можно. Только простые, без выверта, у меня башка не

сильно крепкая.

Только раздали — голоса. Сзади, со стороны железки кто-то подошёл.

Килька к щели сунулся и шёпотом:

— Эй, Скорик, гликось!

Посмотрел и Сенька.

В обход сарая шли трое, по виду фартовые, но Сеньке на личность незнакомые. Один высоченный, плечистый, с маленькой стриженою головой; другой в картузе, сдвинутом на самые глаза, но все равно даже сверху видно было, что у него проваленный нос; третий — маленького росточка, с длинными руками, в застёгнутом пиджаке.

— Ах, гад, — в самое ухо выдохнул Килька. — Что удумал. Ну беспардонщик!

Мужики зашли в сарай, так что дальше пришлось подглядывать через щелястый потолок. Все трое легли на землю, сверху прикрылись сеном.

— Кто беспардонщик? — тихо спросил Сенька. — Это кто такие?

— Упырь беспардонщик, гнида. Это евоные бойцы, из его колоды. Здоровый — Дубина, шестёрка. Безносый — Клюв, восьмёркой у них. А маленький — Ёшка, валет. Ай, беда. Кончать наших будут.

— Почему кончать? — напугался Скорик.

— Ёшка на махаловку негож, в нём силы нет, зато из левольверта содит без промаху. В цирке раньше работал, свечки пулями гасил. Если Ёшку взяли, значит, пальба будет. А наши-то пустые, без железа придут. И не упредишь никак...

От этого известия у Сеньки зубы застучали.

— Чё делать-то?

Килька тоже весь белый стал.

— Кляп его знает...

Так и сидели, тряслись. Время тянулось медленно, будто навовсе остановилось.

Внизу тихо было. Только раз спичка чиркнула, дымком табачным потянуло, и сразу шикнул кто-то: “Ты чё, Дубина, урод, запалить нас хочешь? Пристрелю!”

И опять тишина.

Потом, когда до семи часов уже совсем мало оставалось, щёлкнуло железным.

Килька пальцами показал: курок взвели.

Ай, худо!

Две пролётки подкатили к плешке одновременно, с двух разных сторон.

В одной, шикарной, красного лака, на козлах сидел Очко — в шляпе, песочной тройке, с тросточкой. Князь с папироской — на кожаном сидале, развалился. И тоже щёголем: лазоревая рубаха, алый поясок.

Во второй коляске, попроще первой, но тоже справной, на козлах сидела баба. Ручищи — будто окорока, башка тugo замотана цветастым платком, из-под которого выпирали толстые красные щеки. Спереди, под кофточкой, будто две тыквы засунуты — никогда Сенька такого грудяного богатства не видел. Упырь тоже, как Князь, сзади был. Мужичонка так себе: жилистый, лысоватый, глаз узкий, змеиный, волоса жирные, сосульками. По виду не орёл, куда ему до Князя.

Сошлись посреди плещки, ручкаться не стали. Князь с Упырём покурили, друг на дружку поглядывая. Очко и бабища чуть назади стояли — надо думать, порядок такой.

— Шумнем? А, Сень? — спросил Килька шёпотом.

— А если Упырь своих в сарай так посадил, на всякий случай? В опасении, что Князь забеспардонит? Тогда нас с тобой в ножи?

Очень уж Сеньке страшно показалось — шуметь. А как начнёт Ёшка этот сажать пулями через потолок?

Килька шепчет:

— Кто его знает... Ладно, поглядим.

Те, на полянке, докурили, папиросы побросали.

Первым Князь заговорил.

— Почему не с валетом пришёл?

— У Ёшки хворь зубная, всю щеку разнесло. Да и на кой мне валет? Я тебя, Князь, не боюсь. Это ты меня пужаешься, Очка прихватил. А я вот с Манькой. Хватит с тебя и бабы.

Манька зареготала густым басом — смешно ей показалось.

Князь и Очко переглянулись. Сенька видел, как Очко пальцами по тросточке забарабанил. Может, догадались, что дело нечисто?

Нет, не догадались.

— С бабой так с бабой, дело твоё. — Князь подбоченился. — Тебе только бабами и верховодить. Стану тузом, дозволю тебе мамзельками на Хитровке заправлять, так и быть. В самый раз по тебе промысел будет.

Обидеть хотел, однако Упырь не вскинулся, только заулышался, захрустал длинными пальцами:

— Ты, Князь, конечно, налётчик видный, на росте, но молодой ещё. Куда тебе в тузы? Своей колодой обзавёлся без году неделя. Да и рисковый больно. Вон вся псарня тебя ищет, а у меня тишь да гладь. Отступись добром.

Слова вроде мирные, а голос глумной — видно, что нарочно придуривается, хочет, чтоб Князь первым сорвался.

Князь ему:

— Я орлом летаю, а ты шакалишь, падаль жрёшь! Хорош балаку гонять! Нам двоим на Москве тесно! Или под меня ложись, или... — И пальцем себе по горлу — чирк.

Упырь облизнул губы, голову набок склонил и неторопливо так, даже ласково:

— Что “или”, Князёк? Или под тебя ложиться, или смерть? А ежели она, Смерть твоя, уже сама под меня легла? Девка она ладная, рассыпчатая. Мягко на ней, пружинисто, как на утячей перине...

Манька снова заржала, а Князь весь багровый стал — понял, о ком речь. Добился-таки своего хитрый Упырь, взбеленил врага.

Князь голову набычил, по-волчьи зарычал — и на оскорбителя.

Но у тех двоих, видно, меж собой уговор был. Упырь влево скакнул, баба вправо — и как свистнет в два пальца.

Внизу зашуршало сено, грохнула дверь, и из сарая вылетел Ёшка, пока что один. В руке держал дрынку — чёрную, с длинным дулом.

— А ну стоять! — орёт. — Сюда смотреть! Вы меня, ёшキン корень, знаете, я промаху не даю.

Князь на месте застыл.

— Ах, ты, Упырь, так? — говорит. — По-беспардонному?

— Так, Князюшка, так. Я же умный, умным законы не писаны. А ну-ка лягайте оба наземь. Лягайте, не то Ёшка вас стрелит.

Князь зубы оскалил — вроде смешно ему.

— Не умный ты, Упырь, а дурак. Куда ты против Обчества? Кердец тебе теперь. Мне и делать ничего не надо, всё за меня “деды” сделают. Ляжем, Очко, отдохнём. Упырь сам себя приговорил.

И улёгся на спину. Ногу на ногу закинул, папироску достал.

Очко посмотрел на него, носком штиблета по земле поводил — знать, костюма жалко стало — и тоже на бок лёг, голову подпёр. Тросточку положил рядом.

— Ну, дальше что? — спрашивает. И Ёшке. — Стреляй, мой маленький зуав. Знаешь, что наши традиционалисты с беспардонщиками делают? За эту шалость тебя под землёй отыщут, и обратно под землю загонят.

Чудной какой-то стык выходил. Двое лежат, улыбаются, трое стоят, смотрят на них.

Килька шепнул:

— Не насмелятся палить. За это живьём в землю, такой закон.

Тут Упырёва маруха снова свистнула. Из сарая выскочили остальные двое и как прыгнут сверху на лежащих: Дубина тушей своей на Князя навалился, Клюв Очка рожей вниз развернул и руки заломил, ловко.

— Ну вот, Князёк, — засмеялся Упырь. — Сейчас тебе Дубина кулачиной мозгу вышибет. А Клюв валету твоему ребра продавит. И никто про пушку знать не узнает. Так-то. Обчеству скажем, что мы вас поломали. Не сдюжили вы против Упыря и евойной бабы. А ну, братва, круши их!

— А-а-а! — раздалось вдруг возле самого Сенькиного уха.

Килька пихнулся локтем, на коленки привстал и с воплем сиганул прямо Ёшке на плечи. Удержать не удержался, наземь слетел, и Ёшка его смаху рукояткой в висок припечатал, но и этой малой минутки, когда Дубина с Клювом на шум морды поворотили, было довольно, чтоб Князь и Очко врагов скинули и на ноги повскакивали.

— Я шмаляю, Упырь! — крикнул Ёшка. — Не вышло по-твоему! После пули повыковыриваем! Авось сойдёт!

И тут Сенька сам себя удивил. Завизжал ещё громче Килькиного — и Ёшке на спину. Повис насмерть, да зубами вгрызся в ухо — во рту засолонело.

Ёшка вертится, хочет пацана скинуть, а никак. Сенька мычит, зубами ухо рвёт.

Долго, конечно, не продержался бы, но здесь Очко с земли трость подхватил, тряхнул ею, и деревяшка в сторону отлетела, а в руке у валета блеснуло длинное, стальное.

Скакнул Очко к Ёшке, одну ногу согнул, другую вытянул, как пружина распрямился и сам весь сделался длинный, будто вытянувшаяся змеюка. Достал Ёшку своей железякой прямо в сердце, и тот сразу руками махать перестал, повалился, подмяв Сеньку. Тот выбрался из-под упавшего, стал глядеть, чего дальше будет.

Успел увидеть, как Князь, вырвавшись из Дубининых лап, с разбегу Маньке лбом в подбородок въехал — бабища на зад села, посидела немножко и запрокинулась. А Князь уже Упырю в глотку вцепился, покатились с утоптанной тропинки в траву и там бешено закачались сухие стебли.

Дубина хотел своему королю на выручку кинуться, но Очко к нему сзади подлетел: левая рука за спину заложена, в правой аршинное перо — вжик, вжик по воздуху. И со стали капли красные капают.

— Не уходи, — приговаривает, — побудь со мною. Я так давно тебя люблю. Тебя я лаской огневою и утолю, и утомлю.

Этот стих Сенька знал — он из песни одной, жалостной.

Дубина повернулся к Очку, глазами захлопал, попятился. Клюв — тот пошустрее был, сразу в сторонку отбежал. А Князь с Упырём обратно на плешицу выкатились, только теперь уже видно было, чей верх. Князь вражину подломил, за харю пятерней ухватил и давай башкой об землю колотить.

Тот хрюпит:

— Будет, будет. Твоя взяла! Сявка я!

Это слово такое, особенное. Кто на стыке про себя так сказал, того больше бить нельзя. Закон не велит.

Князь для порядка ему ещё вдарил пару раз кулаком, или, может, не пару, а больше — Скорик не досмотрел. Он сидел на корточках возле Кильки и глядел, как у того из чёрной дыры на виске вытекает багровая жижа. Килька вовсе мёртвый был — проломил ему Ёшка голову своей дрынкой.

* * *

Потом целых четыре дня “деды” решали, считать ли такой стык козырным. Постановили: не считать. Упырь, конечно, беспардонничал, но и у Князя негладко: валет с железом пришёл, опять же двое пацанов в склоне сидели. Негож пока Князь в тузы, такой был приговор. Пускай Москва пока без воровского царя поживёт.

Князь злой ходил, пил без продыху, грозился Упыря под землю укатать. Того не видно было, отлёживался где-то после Князева угощения.

Шуму, звону, разговоров о лужниковском стыке было на всю Хитровку.

Для Сеньки Скорика настали, можно сказать, золотые денёчки.

Он теперь при Князе шестёркой состоял, как есть на полном законном положении. От колоды за доблесть было ему знатное довольствие и полное уважение, а уж про пацанов хитровских и говорить нечего.

Сенька туда раза по три на дню заглядывал, будто бы по важной секретной надобности, а на самом деле просто покрасоваться. Вся Килькина одёжа к нему перешла: и портки английского сукна, со складочкой, и сапожки хром, и тужурочка-буланже, и капитанка с лаковым козырьком, и серебряные часы на цепке с серебряной же черепушкой. Пацаны со всей округи сбегались с героям поручкаться или хоть издали поглязеть, послушать, чего расскажет.

Проха, который раньше уму-разуму учил и нос перед Сенькой драл,

теперь в глаза заглядывал и тихонько, чтоб другие не слыхали, просил пристроить его куда-нибудь шестёркой, пускай в самую лядашую колоду. Скорик слушал снисходительно, обещал подумать.

Эх, хорошо было.

Деньжонок в карманах пока, правда, не завелось — но это, надо думать, до первого фарта.

А скоро подоспело и оно, настоящее фартовое дело.

Как Сенька побывал на настоящем деле

Была Князю наводка от верного человека, полового из купеческой гостиницы “Славянская” что на Бережках. Будто бы приехали из города Хвалынска богатый калмык-барышник с приказчиком, племенных жеребцов для табуна покупать. Хрустов при том калмыке полная мошна, а брать его надо немедля, потому назавтра, в воскресенье, поедет он на конный торг и может там все деньги потратить.

Вечером, поздно, сели всей колодой в три пролётки, поехали. Впереди Князь с Очком, потом Сало с близнецами, последними — Боцман с Сенькой. Их работа — стрёму держать и за лошадьми доглядывать, чтоб, если шухер, могли с места вскачь запустить.

Пока летели через Красную Площадь, да по Воздвиженке, да Арбатом, у Скорика в животе крепко ёкало, хоть до ветру беги. А после, как по мосту загрохотали, страх вдруг из противного стал весёлым, как в детстве, когда отец маленького Сеньку в первый раз на масленичное гуляние вёз, с деревянных гор кататься.

Боцман, тот с самого выезда радостный был, всё балагурил. Эх, говорил, Кострома, нынче будет кутерьма. И ещё: эх, Полтава, заходи справа. Или так: эх, Самара, поддай навара.

Он много всяких городов знал, про иные Сенька и не слыхивал.

Гостиница была скучная, навроде барака. Огни в десятом часу уже потушены — торговый люд рано ложится, да и базарный день завтра.

Проехали к железнодорожным складам, соскочили. Без слов обходились, молча — всё заранее обговорено было.

Сенька поводья принял, свёл три пролётки рядом, обод к ободу, в центре Боцманова упряжка. Ему, Боцману, все три повода дал. У него лошади не забалуют — они умные. Когда чуют силу, смирно стоят. А кони у Князя были особенные — не догонишь, чудо что за кони.

Боцман, значит, на козлах сидит, люльку курит, а Сеньке невмоготу: то с одной стороны пройдётся, то с другой. Уж и не страшно было совсем — томно и обидно. Вроде как лишний он.

Сбегал к одному углу, к другому — поглядеть, нет ли какого шухера.

Пусто было вокруг, тихо.

— Дяденька Боцман, чего ж они так долго?

Боцман шестёрку пожалел.

— Ладно, — говорит. — Чего тебе молодому, здоровому тут париться.

Сбегай, погляди, как фартовые дела делаются. Погляди и давай обратно, мне расскажешь, как калмыков кончают.

Сенька удивился:

— А просто деньги отобрать нельзя? Беспременно кончать полагается?

— Это смотря сколько, — объяснил Боцман. — Если хрусту не так много, счёт на сотни, то можно и не кончать, псы сильно искать не станут. А если там тыщи, то тогда лучше тушить. Купчина за свои тыщи псым большую награду посулит, чтоб землю носом рыли. Да ты беги, Скорик, не сумлевайся. Я тута и один справлюсь. Эх, сам бы сгонял, кабы ноги были.

Сеньку долго упрашивать не надо было. Так застоялся, что даже в ворота не пошёл — прямо через ограду запустил.

Вошёл в просторные сени, видит: прямо на стойке, ойкая от страха, лежит человек в поддёвке. Голову закрыл руками, и плечи у него трясутся. Рядом, зевая — Сало, со скрипкой в руке (это левольверт так по-фартовому называется: скрипка, дрына или ещё волына).

Этот, что на стойке, попросил жалостно:

— Не убивайте, господа налётчики. Я на вас не глядел, зажмурился сразу. А? Сделайте такое снисхождение, не лишайте жизни. Я человек семейный, православной веры. А?

Сало ему лениво:

— Не бось. Дрыгаться не будешь — пожалеем. — А Сеньке сказал. — Интересуешься? Ну сходи, побачь. Чего-то долго они.

Потом коридор был, длинный. По обе стороны двери в ряд. В ближнем конце Авось стоял, в дальнем Небось (или наоборот, Сенька ещё плохо умел братьев различать). Тоже со скрипками.

— Я поглядеть, — сказал Скорик. — Одним глазочком.

— Валяй, гляди, — белозубо улыбнулся Авось (а может, Небось).

Тут одна из дверей стала открываться. Он её ногой захлопнул и как гаркнет:

— Я те вылезу!

Из-за двери заголосили:

— Кто это там фулиганничает? Мне до клозету требуется!

Авось заржал:

— В портки пруди. А шуметь будешь — через дверь пальну.

— Господи святый, — ахнули за дверью. — Никак налёт. Я ничего, ребята, я тихонечко.

И засов скрежетнул.

Авось снова загыгыкал (все-таки это, наверно, Небось был — у того вечно рот до ушей). Показал Сеньке левольвертом на приоткрытую дверь

посреди колидора — там, мол.

Скорик подошёл, заглянул внутрь.

Увидал двоих смуглых, узкоглазых, к стульям привязанных. Один был сильно старый, лет пятьдесят, с козлиной бородёнкой, в хороших клетчатых штанах, в шёлковой жилетке с золотой цепкой из кармашка. Надо думать, барышник. Другой молодой, без бороды и усов, в ситцевой рубахе навыпуск — не иначе приказчик.

Князь похаживал между связанными, помахивал кистенём.

Сенька пошире дверь открыл — а где Очко?

Тот чудным делом занимался: пером своим, из трости вынутым (шпага называется) полосовал перину на кровати. От этого из кровати пух летел, перья.

— Фантазии не хватает, — сказал Очко. — Куда же эти друзья степей могли портмоне припрятать?

Князь чихнул — видно, пушинка в нос попала.

— Ладно, Очко, не потей. — Остановился перед приказчиком, взял его левой рукой за волоса. — Сами расскажут. Как, желтомордый, побалакаешь? Или яблочка железного погрызёшь?

И помахал кистенём перед рожей приказчика (никакой не жёлтой, а белой-пребелой, будто мелом присыпанной).

Очко, наоборот, железкой махать перестал,сыпанул на ноготь порошку (маррафет, сообразил Сенька) и запрокинул голову. Скорик поморщился — сейчас ещё пуще Князя расчихается, но Очко ничего, только зажмурился, а когда снова глаза открыл, они у него сделались мокрые и блестящие.

Калмык-приказчик облизнул губы, такие же белые, как рожа, и говорит:

— Не знаю я... Бадмай Кектеевич мне не сказывают.

— Так-так, — кивнул Князь. Волоса приказчиков выпустил, к купчине повернулся. — Что, козья борода? На куски тебя резать или скажешь?

Барышник, похоже, был мужик тёртый. Сказал спокойно, без дрожи:

— Не дурак столько денег при себе держать. Нынче в рыночную контору ездил, в сейф заложил. Берите, что есть, и уходите. Часы вот золотые. И в бумажнике деньги есть. Вам хватит.

Князь оглянулся на Очка. Тот стоял, улыбался чему-то. Подтвердил:

— Верно. Есть на Конном рынке сейф, куда барышники на сохранение деньги кладут, чтоб не украли или чтоб самим не прогулять.

Сенька приметил, как купец с приказчиком переглянулись, и Бадмай этот глазами куда-то вниз повёл. Эге! У приказчика стул одной ножкой на

половицу надавил, и приподнялась она одним краешком, торчит. Приказчик чуть подвинулся, половица на место и встала.

Бумажник, о котором барышник говорил, на столе лежал, раскрытый. Князь достал кредитки, пошуршал.

— Всю колоду из-за трех катек стонял. От людей срам. У, змей косорылый.

Шагнул к купцу и хрясь ему кулаком по скуле. У того голова мотнулась, но не закричал, не заплакал — крепкий.

— Ладно, — сказал Князь, выдергивая у барышника из карманы часы — золотые, хорошие. — Благодари своего калмыцкого бога, что мошну тебе уберёг. Идём, Очко.

И уж к двери двинулись, а тут Сенька башку просунул и скромно так:

— Дяденька Князь, дозвольте слово сказать.

— Ты чего здесь? — нахмурился Князь. — Шухер?

Сенька ему:

— Шухера никакого нет, а только хорошо бы вы вон там, под полом проверили, а?

И пальцем показал, где смотреть.

Купец дёрнулся, прохрипел что-то непонятное — надо думать, забранился на своём наречии. Князь же на Сеньку глянул, потом на пол. Двинул приказчику в ухо, вроде и несильно, но тот завалился вместе со стулом, захныкал.

Нагнулся Князь, пальцем подцепил половицу, вынул — под ней дырка в полу. Сунул руку.

— Ага, — говорит.

И достал лопатник большой, кожаный, а в нем хрустов — немеряно.

Князь их пальцем перебрал.

— Да тут три тыщи! — говорит. — Ай да шестой!

Скорику, конечно, лестно. Посмотрел на Очка: как тот, восхищается?

Только Очко Сенькой не восхищался и на лопатник не смотрел. Что-то с ним творилось, с Очком. Уже не улыбался и глаза стали не блестящие, а сонные.

— Я поверил... — медленно сказал Очко, и всё его лицо заколыхалось, будто волнами пошло. — Я им, иудам, поверил! В глаза смотрели! И лгали! Мне — лгали?!

— Да ладно тебе, не пыли, — махнул на него Князь, довольный находкой. — Тоже и у них свой интерес...

Очко двинулся с места, бормоча:

— Прощай, любезная калмычка... Твои глаза, конечно, узки, и плосок

нос, и лоб широк, ты не лепечешь по-французски... — Хохотнул. — Узкито узки...

И вдруг скакнул — точь-в-точь как давеча, когда Ёшку проколол — и шпагой своей лежащему приказчику прямо в глаз, сверху вниз. Сенька услышал треск (это сталь черепуху насквозь проткнула и в пол вошла), охнул, зажмурился. А когда снова поглядел, Очко шпагу уже выдернул и с интересом смотрел, как с клинка стекает что-то белое, вроде творога.

Приказчик был по полу каблуками, разевал рот, но крику от него не было. На рожу ему Сенька взглянуть побоялся.

— Ты чё, сдуруел?! — рявкнул Князь.

Очко ему в ответ, надрывно:

— Я не сдуруел. Мне тошно, что правды нет на свете!

Чуть дёрнул кистью, в воздухе свистнуло, и шпага остриём, самым кончиком, чикнула купца по горлу. Отлетел клок отсечённой бороды, и сразу брызнула кровь — густо, как вода из пожарной кишки.

Сенька снова охнул, но глаза на этот раз закрыть не догадался. Видел, как купец рванулся со стула — да так, что ручные путы лопнули. Вскочил, а идти не может, ноги-то у него к стулу привязаны.

Жизнь выхлёстывала из барышника вишнёвыми струями, а он всё пытался удержать её ладонями, запихнуть обратно, только ничего у него не выходило — кровь текла сквозь пальцы, и рожа у калмыка стала такая бессмысленная, жуткая, что Скорик заорал в голос и бросился вон из страшной комнаты.

Как Сенька сидел в нужном шкапу

В разумение стал приходить только на Арбате, когда совсем задохся от бега. Как вылетел из гостиницы “Славянская”, не помнил, как по мосту бежал и потом через пустой Смоленский рынок — тоже.

Да и на Арбате ёщё не в себе был. Бежать больше не мог, но сесть, передохнуть тоже не догадался. Семенил по тёмной улице, будто дед старый. Кряхтел, охал. И ёщё оглядывался часто, всё мерещилось, что сзади калмык гонится со своим порванным горлом.

Получалось, что купца и приказчика он, Сенька, погубил. Его грех. Не захотел бы перед Князем отличиться, не указал бы на схрон, остались бы калмыки живы. А как было не указать? Или он, Скорик, не фартовый?

И сказал себе на это Сенька (это уже на Театральной площади было): какой ты к бесу фартовый, глиста ты паршивая, вот ты кто. Или, иначе сказать, брюхо у вас, Семён Трифоныч, больно хлипкое для настоящего мужчинского дела.

Стыдно стало, что сбежал — мочи нет. Идя по Маросейке, ругал себя за это всяко, корил, казнился, но как вспомнит про калмыков, ясно делалось: назад в колоду ему ходу нет. Князь с бойцами, может и простят — наврать можно, что живот прихватило или другое что, но себе-то не наврёшь. Деловой из Сеньки, как из коровы рысак.

Ох, срамота.

Ноги принесли Скорика на Яузский бульвар, пока ёщё самому было невдомёк, для какой надобности.

Посидел на скамейке, замёрз. Походил взад-вперёд. Светать стало. И только когда понял, что уже в третий раз мимо Смертьиного дома идёт, сразуумел, что больше всего душу гложет.

Остановился перед дверью и вдруг — рука сама потянулась, ей-богу, — постучал. Громко.

Напугался, хотел убежать, но не убежал. Решил, услышит её шаги, её голос. Когда спросит “кто там?”, тогда убежит.

Дверь открылась беззвучно, безо всякого предварения. Ни шагов, ни голоса не было.

На пороге Смерть. Распущеные по плечам волосы у неё были чёрные, а так она вся была белая: рубашка ночная, кружевная шаль на плечах. И ноги, на которые смотрел Сенька, тоже были белые — кончики высовывались из-под края рубашки.

Надо же, не спросила, кто по такому времени стучится. Вот какая бесстрашная. Или всё равно ей?

Сеньке удивилась:

— Ты? — спросила. — Князь прислал? Случилось что?

Он помотал опущенной головой.

Тогда она засердилась:

— А что припёрся ни свет ни заря? Чего глаза прячешь, волчонок?

Ладно, глаза он поднял. И опустеть больше уже не мог — загляделся. Конечно, тут ещё и заря штуку сделала: выглянула из-за крыш и высветила розовым цветом верх дверного проёма, лицо Смерти и её плечи.

— Да что ты молчишь-то? — нахмурилась она. — Лицо будто мёртвое. И рубаха разодрана.

Сенька только теперь заметил, что рубаха и вправду от ворота до рукава порвана, висит вкривь. Видно, зацепился за что-то, когда из гостиницы выбегал.

— Ты что, пораненый? — спросила Смерть. — У тебя кровь.

Протянула руку, потёрла пальцем присохшее к щеке пятнышко. Скорик догадался: брызги долетели, когда из купца хлестало.

А палец у Смерти оказался горячий, и от неожиданного этого прикосновения Сенька вдруг взял и разрыдался.

Стоит, ревмя ревёт, слезы в три ручья. Ужас до чего стыдно, а остановиться возможности нет. Уж давил в себе плач, давил, а тот всё прорывался, и, главное, жалкий такой, будто щенок скулит! Тогда Сенька ругаться стал, как никогда не ругался — самыми что ни на есть похабными словами. А слезы всё равно текут.

Смерть его за руку взяла:

— Ну что ты, что? Идём-ка.

Закрыла, дверь на засов, потянула за собой, в дом. Он пробовал упираться, но Смерть была сильная.

Усадила за стол, взяв за плечи. Он уже не плакал, только всхлипывал и глаза руками тёр, яростно.

Поставила она перед ним стакан, в нем коричневая вода.

— А ну выпей, — говорит. — Это ром ямайский.

Он выпил. В груди горячо стало, а так ничего.

— Теперь на диван ложись.

— Не лягу я! — огрызнулся Сенька и уж снова на неё не смотрел.

Но все-таки лёг, потому что голова кружилась. Едва откинулся на подушку, и сразу пропало все.

* * *

Когда Сенька проснулся, давно уже был день, да не ранний — солнце светило с другой стороны, не где улица, а где двор. Под одеялом — пушистым, лёгким, в сине-зеленую клетку — лежалось хорошо, привольно.

Смерть за столом сидела, шила что-то или, может, вышивала. Была она к Сеньке боком, и сбоку тоже была невозможна красивая, только казалась грустнее, чем если спереди смотреть. Широко-то он глаза открывать не стал, через ресницы на неё смотрел, долго. Тут ведь ещё прикинуть надо было после давешнего, как себя держать. И вообще разобраться, что к чему. Почему это, к примеру, он голый лежит? То есть не совсем голый, в штанах, но без рубахи и без сапог. Это, надо понимать, она его, сонного, раздевала, а он и не помнит.

Тут Смерть голову повернула и, хоть Скорик поскорей ресницы сжал, все равно поняла, что он уже не спит.

— Проснулся? — говорит. — Есть хочешь? Садись к столу. Вот, сайка свежая. И молока на.

— Не хочу, — буркнул, Сенька, обидевшись на молоко — нет чаю или кофею человеку предложить. Хотя конечно, какого к себе можно ждать уважения, если расхныкался, словно дитя малое.

Она поднялась, взяла со стола чашку и булку, подсела к нему. Напугавшись, что Смерть станет его с рук кормить, будто вовсе малька какого, Сенька сел.

Так вдруг жрать захотелось — аж затрясся весь. И давай сайку трескать, молоком запивать. Смерть смотрела, ждала. Долго-то ей ждать не пришлось, Сенька в минуту всё схомячил.

— Теперь сказывай, что стряслось, — велела она.

Делать нечего. Голову повесил, брови схмурил и рассказал — коротко, но честно, без утайки. А закончил так:

— Виноватый я перед тобой. Подвёл тебя, значит. Ты за меня перед Князем поручилась, а я, вишь, хлипкий оказался. Куда мне в фартовые. Думал, я коршун, а я — воробышко облезлый.

И только договорив до конца, посмотрел на неё. Она такая сердитая была, что у Сеньки на сердце совсем погано сделалось.

Несколько времени помолчали. Потом она говорит:

— Это я, Скорик, перед тобой виновата, что к Князю допустила. Не в себе я была. — И уже не Сеньке, а себе, качая головой. — Ох, Князь, Князь...

— Да не Князь это, Очко, — сказал он. — Очко калмыков порезал. Я ж говорил...

— С Очка что взять, он нелюдь. А Князь раньше человек был, я помню. Вначале-то я даже хотела его...

Так и не узнал Сенька, чего она хотела, потому что в эту самую минуту стук донёсся, особенный: тук-тук, тук-тук-тук и ещё два раза тук-тук.

Смерть вскинулась:

— Он! Лёгок на помине, бес. А ну вставай, живо. Увидит — убьёт тебя. Не посмотрит, что малец. Страсть до чего ревнивый.

Скорика упрашивать не пришлось — как сдуло его с дивана, даже на “мальца” не обиделся.

Спросил испуганно:

— Куда? В окошко?

— Нет, открывать долго.

Он — к одной из двух дверей, что белели рядышком одна от другой.

Смерть говорит:

— В ванную нельзя. Князь — чистюля, всегда первым делом идёт руки мыть. Давай туда. — И на соседнюю показывает.

Сеньке что — в печку бы горящую залез, только бы Князю не попасться. А тот уже снова стучит, громче прежнего.

Влетел в комнатёнку навроде чуланчика или даже шкапа, только всю белую, кафельную. У стены, прямо на полу, стояла большая фарфоровая ваза, тоже белая.

— Чего это? — спросил Сенька.

Она смеётся:

— Ватер-клозет. Нужник с водосливом.

— А если ему по нужде приспичит?

Она засмеялась пуще прежнего:

— Да он раньше лопнет, чем при барышне в нужник пойдёт. Он же Князь.

Захлопнула дверь, пошла открывать. Сенька слышал, как она крикнула: “Ну иду, иду, ишь расстучался!”

Потом голос Князя донёсся:

— Чего заперлась? Никогда же не запираешься?

— Платок из прихожей стащили, залез кто-то ночью.

Князь уж в горнице был.

— Это кто-то чужой, залётный. Хитровские не насмелились бы. Ништо, скажу слово — вернут твой платок и вора сыщут, не зарадуется.

— Да бог с ним, с платком. Старый совсем, выбросить хотела.

Потом разговор поутих, зашелестело что-то, причмокнуло.

Она сказала:

— Ну здравствуй, здравствуй.

Милуются, догадался Сенька.

Князь говорит:

— Пойду руки и рожу помою. Пыльный весь.

Близко, за стеной, зашумела вода и лилась долго.

Скорик тем временем огляделся в нужном шкапу.

Над вазой труба торчала, сверху бак чугунный, а из него свисала цепь с бульбой на конце — для какой цели-надобности, непонятно. Но Скорику сейчас не до любопытствований было. Ноги бы унести, пока цел.

А под потолком как раз окошко просвечивало — небольшое, но пролезть можно. Если на фарфор встать, за цепку ухватиться, после за бак, то вполне можно было дотянуться.

Долго раздумывать не стал. Влез на вазу (ах, не треснула бы!), за цепь хвать.

Ваза ничего, сдюжила, а вот цепь оказалась подлая: дёрнулась книзу и труба вдруг как заревёт, как снизу вода хлынет!

Скорик от ужаса чуть не сомлел.

Смерть заглянула:

— Ты что? — шепчет. — Очумел?

А тут как раз дверь рядом стукнула — это Князь из ванной вышел. Ну Смерть повернулась, тоже вроде как дело сделала.

Закрыла за собой дверь, плотно.

Сенька ещё какое-то время в себя приходил, за сердце держался. Потом, когда малость полегчало, сел рядом с вазой на корточки, стал думать, как это красавицы нужные делаправляют. Со стороны натуры посмотреть, вроде должны, но вообразить Смерть за таким занятием не было никакой возможности. Опять же куда здесь? Не в вазу ведь эту белоснежную? Из такой красотищи разве что кисель хлебать.

Так и остался в сомнении. Вполне предположительно, что у особенных красавиц всё и устроено как-нибудь по-особенному.

Пообыкся немножко в шкапу сидеть — захотелось узнать, чего они там в горнице делают.

Ухом к двери прижался, хотел послушать, да только слов было не разобрать. Потыкался туда-сюда и наконец на четвереньки пристроился, ухом к самому полу. Там, где под дверью щёлочка, лучше всего слыхать было.

Сначала её голос донёсся:

— Сказано ведь — не в расположении я нынче баловаться.

Он говорит:

— А я те подарок принёс, колечко яхонтовое.

Она:

— Туда положи, к зеркалу.

Шаги. Потом снова Князь, зло (Сенька поёжился):

— Что-то ты редко в расположении бываешь. Другие бабы сами стелются, а ты будто ершиха колючая.

Она же — вот отчаянная:

— Не нравлюсь — проваливай, держать не стану.

Он ещё злее:

— Ты сильно-то не гордись. Виноватая ты передо мной. Ты откуда Скорика этого сопливого взяла?

Ох ты, Господи, сжался Сенька.

— Чем же он тебе нехорош? — спросила Смерть. — Мне сказывали, он будто бы жизнь твою спас.

— Парнишка-то он вёрткий, да больно жидок. Увидишь — скажи: кто к Князю в колоду попал, ход от меня только в два конца: или к пзам на кичу, или в сырь землю.

— Да что он сделал-то?

— Утёк.

Она попросила:

— Отпусти ты его. Моя ошибка. Я думала, он тебе сгодится, а он, видно, из другой глины слеплен.

— Не отпущу, — отрезал Князь. — Всех видел, всё знает. Так и скажи: не объявится — сам сышу и закопаю. Да хватит о пустом болтать. Я, Смерточка, прошлой ночью хороший слам взял, боле трех тыщ. А нынче ещё больше возьму, наводку мне дали знатную. Синюхина знаешь, каляку, что в Ерошенковских подвалах живёт?

— Знаю. Пропойца, чиновник бывший. Он, что ли, наводку дал?

Князь смеётся:

— Не он дал. На него дали.

— Да что с него, голого, взять? Еле жену-детей кормит.

— Можно, Смертушка, ещё как можно! Человечек один шепнул Салу, а Сало мне. Нашёл каляка где-то под землёй клад старинный, золата-серебра видимо-невидимо. Третий день казённую пьёт, рыжиками да сёмгой заедает. Бабе своей платок купил, дитям сапожки. Это Синюхин-то, у которого больше гривенника за душой не бывало! Он Хасимке-сламщику денег древних, серебряных целую горсть продал и спьяну хвастал в

“Каторге”, что скоро съедет с Хитровки, будет как раньше на собственной квартере проживать, на белой скатёрке разносолы кушать. Потолкую нынче ночью с Синюхиным. Пускай своим счастьем поделится.

Вдруг в комнате стало тихо, да не просто, а как-то по-нехорошему. Сенька ухом к щёлке жмётся, чует неладное.

Князь как гаркнет:

— А эт-та что? Сапоги? И диван помятый?

Загрохотало — стул что ли упал или ещё что.

— Лярва! Паскуда! С кем? Кто? Убью! Спрятался? Где?

Ну, дальше-то Скорик дожидать не стал. Щеколду задвинул, влетел на вазу, за цепь ухватил, подтянулся, окошко толкнул и, уже не обращая внимания на рёв воды, прямо башкой в проем.

Сзади треск, дверь нараспашку, рёв: “Стой! Порву!”

Ага, щас.

Рыбкой вниз сиганул. Как только шею не свернул — промысел Божий. Перекувырнулся кое-как и припустил по щебёнке, по битому кирпичу в подворотню.

Однако недалеко отбежал. Встал. Подумал: а ведь убьёт он её сейчас, Князь-то. Ни за что убьёт.

Ноги сами назад пошли. Постоял под окнами, послушал. Вроде тихо. Или порешил уже?

Подкатил к нужниковому окошку старую бочку из-под вина, поставил на попа, полез обратно.

Зачем лезет — сам не знал и думать не хотелось. В голове вертелось глупое: Смерть убивать нельзя. Как это может быть — смерть убить? И ещё думал: будет, побегал уже ночью. Не заяц, не нанялся вам чуть что стрекача давать, да без сапог, да по кирпичам.

Когда снова в нужный шкаф попал, стало ясно, что не убил ещё её Князь и, вроде, не собирается.

И сразу храбости поубавилось. Особенно как услыхал через сбитую с верхней петли дверь:

— Богом прошу, скажи. Ничего тебе не будет, только укажи, кто.

В ответ ни слова.

Сенька осторожненько выглянул. Мамочки-мамоньки, а у Князя в руке нож финский, прямо в грудь Смерти целит. Так, может, все-таки убьёт?

Он как раз и сказал:

— Не играйся со мной — гляди, не совладаю. Князю человека кончить, что муху прибить.

А она весело:

— Так то человека, а я Смерть. Прибей, попробуй. Ну, что вылупился? Или убивай, или вон пошёл.

Князь ножом в зеркало швырнул, да и выбежал, только дверь наружная хлопнула.

Скорик вытянул шею, видит: Смерть отвернулась, смотрится в треснутое зеркало, и лицо у неё в том зеркале от трещинок будто паутиной затянутое. Чудно как-то она на себя глядела, словно чего-то понять не могла. Высунувшегося Сеньку, однако, увидела.

Оборотилась, говорит:

— Вернулся? Смелый. А говорил, воробей. Нет, ты не коршун и не воробей, ты на стрижа похож.

И улыбнулась — всё ей как с гуся вода. Сенька сел на диван, стал сапоги натягивать, из-за которых беда вышла. Дышал тяжело, все-таки здорово перепугался.

Она ему рубашку подала.

— Видишь, знак свой на тебя поставила. Мой теперь будешь.

Тут он разглядел, что она не просто порванное зашила, а, пока он спал, ещё вышила цветок, диковинный: посерёдке глаз, на её, Смертьин, похож, лепестки же — цветные змейки с раздвоенными язычками.

Понял — шутит она про знак. Надел рубаху. Сказал:

— Спасибо.

Её лицо было близко совсем, и ей пахло особенно, одновременно сладким и горьким. Сенька сглотнул, глазами захлопал, про всё на свете забыл, даже про Князя. Не захотела она баловаться, с Князем-то. Выходит, не любит его?

Скорик шажок маленький сделал, чтобы ей ближе встать, и заклонило его вперёд, будто травинку под ветром. А руками шевельнуть, обнять там или что, робел.

Она засмеялась, потрепала Сеньку по вихрам.

— Не суйся, — говорит, — комарик, в огонь. Крыльшки опалиши. Ты лучше вот что. Слыхал, что Князь про клад говорил? Синюхина, каляку, знаешь? Он под Ерошенковской ночлежкой живёт, в Ветошном подвале. Жалкий такой, нос у него, как слива. Была я у Синюхина однажды, когда у него сын в скарлатине лежал, доктора водила. Сходи, предупреди, чтобы забирал своих и ноги с Хитровки уносил. Скажи, к нему ночью собрался Князь наведаться.

Стриж ей ладно, птица необидная, а вот на комарика Сенька губу выпятил. Она поняла, ей пуще засмеялась.

— Вот и надулся. Так и быть, поцелую один разочек. Да только без

глупостей.

Он не поверил — решил, надсмеивается над сиротой. Но губу все же сдул, вторую к ней пристроил и трубочкой вытянул. Ну как вправду поцелует?

Она не обманула, коснулась его устами и сразу давай выталкивать:

— Беги к Синюхину. Сам видишь, каков Князь бешеный стал.

Сенька шёл от её дома и осторожнеенько, мизинцем, трогал губы — ишь ты, будто огнём горят. Сама Смерть облобызала!

Как Сенька бегал и прятался, а потом икал

Что Скорик к каляке не попал — не его вина, на то свои причины имелись.

Он чести по чести пряником от Смертьиного дома отправился в Подколокольный переулок, где Ерошенковская ночлежка. В ней поверху квартеры с номерами, там по ночам до тыщи народа ухо давит, а внизу, под землёй, глубоченные подвалы, и там тоже живут: крохали, которые краденое платье перешивают, нищие из тех что победней, и каляки тоже там селятся. Каляки — народ сильно пьющий, но все же не до последней крайности, потому что им нужно перо в руке удержать и слова на бумаге правильно сложить. Промысел у них такой — для неграмотных письма и слезницы калякать, а кто умеет, то и прошения. Оплата по длине: за страницу пятак, за две девять копеек с грошиком, за три — тринацать.

Путь с Яузского бульвара до Ерохи (Ерошенковский дом так обычно звали) был недальний, а только не попал Скорик, куда шёл.

Когда из-за угла в Подколокольный вышел (уж и вход в Ероху было видать), углядел Сенька такое, что к месту прилип.

Рядом с Михейкой Филином, держа его за плечо, стоял коротышка в клетчатой паре и котелке — тот самый китаеза, у которого Сенька неделю назад зеленые бусы стырил. Такого раз увидишь — не позабудешь. Щеки толстые, цвета спелой репы, глазёнки узкие, нос тупенький, однако с горбинкой.

Филин держал себя спокойно, зубы скалил. А чего ему бояться? За спиной у китайца (ему-то, дурню, невдомёк) хитровские пацаны стояли, двое. Михейка заметил Скорика, подмигнул: жди, мол, щас потеха будет.

Как было на такое не посмотреть?

Подошёл Сенька поближе, чтобы слышно было, остановился.

Слышишт, китаеза спрашивает (говор чудной, но понять можно):

— Фирин-кун, где твой товарищ? Который быстро бегар. Такой худзенький, ворос дзёртый, градза серые, нос с конопуськами?

Надо же, всё запомнил, нехристъ, даже конопушки. И, главное, как это он Михейку отыскал? Должно быть, забрёл на Хитровку и увидел по случайности.

Но здесь Сенька заметил в руке у китайца старый картузишко с

треснутым козырьком. Ну, ушлый! Это он не просто так сюда припёрся, а нарочно, бусы свои отыскать. Смикитил, что парни с Хитровки были (или, может, извозчики подсказали, у тех-то глаз намётанный), порыскал тут и сцепал Филина. Михейка грамоте не обучен, так он на всех своих шмотках, чтоб не спёрли, филина рисует. Вот и дорисовался. Надо думать, азиатец походил с обронённым на Сретенке картузом, поспросил — чёй такой. Вызнал на свою голову. Ох, лучше бы косоглазому сюда неходить и Филина за рукав не держать. Наваляют ему сейчас по круглой, как блин, морде.

Михейка в ответ:

— Какой такой “товариць”? Ты чё, ходя, редъки китайской обожрался? Впервой тебя вижу.

Красовался Филин перед пацанами — ясно.

Китаец помахал картузом.

— А это съто? Съто за птицька?

И пальцем в подкладку тычет.

А что толку? Сейчас за шарики эти семидесятикопеечные накидают китаезе по рылу, вот и весь прибыток. Даже жалко стало. Пика, шустрый пацан с Подкопаевского, уж за спиной у баклана на четвереньки встал. Сейчас пихнёт Филин жёлтощёкого, и пойдёт потеха. Без штанов уйдёт, да ещё зубы-ребра пересчитывают.

С площади и из переулка глядели зеваки, скалились. Прошёл было по краю рынка Будочник с газетой в руках, поглядел поверх серого листа, зевнул, дальше потопал. Обыкновенное дело, когда баклана чистят. А не лезь, куда не звали.

— Ой, не пугайте меня, дяденька, не то я портки намочу, — снасмешничал Филин. — А за картузик благодарствуйте. Поклон вам за него и ещё вот — от мово щедрого сердца.

И как врежет китайцу в зубы!

Или, лучше сказать, нацелил в зубы, только косоглазый присел, и Михейкин кулак по пустому месту пришёлся, а сам Филин от замаха весь завернулся. Тут китаец двинул разом правой рукой и левой ногой: ладонью Михейке по затылку (легонько, но Михейка носом в пыль зарылся и остался лежать), а каблуком Пике в ухо. Пика тоже растянулся, а третий пацан, постарше Пики, клика ему Сверло, хотел было шустрой басурмана кастетом достать — и тоже по воздуху попал. Китаёза в сторонку скакнул, хлобысть Сверлу носком ботинка в подбородок (это ж надо так ноги задирать!) — тот навзничь запрокинулся.

Коротко говоря, зеваки рты разинуть не успели, а уж все трое пацанов,

что собирались баклана китайского чистить, лежат вповалку и вставать не спешат.

Покачали люди головами на этакое диво и пошли себе дальше. А китаец над Михейкой присел, за ухо взял.

— Нехоросё, — говорит, — Фирин-кун. Софусем нехоросё. Гдзе тётки?

Михейка затрясся весь — уж не понарошку, а всерьёз.

— Не знаю никаких тёток! Мамкой-покойницей! Господом Исусом!

Китаец ему ухо немножко крутанул и разъяснил:

— Сярики, зерёные, на нитотьке. В узерке быри.

А Филин возьми и крикни:

— Не я это, это Сенька Скорик! Ай, ухо больно! Вон он, Сенька!

Ну иуда! Простого ухокрута и того не снёс! Его бы дяде Зот Ларионычу в обучение!

Китаец повернулся, куда Филин показывал, и увидел Сеньку.

Встал, нерусский человек, и пошёл на Скорика — мягко так, по-кошачьему.

— Сенька-кун, — говорит, — бегачь не надо. Сегодня у меня не гэта, сътибреты — догоню.

И на штиблеты свои показывает. Мол, не шлёпанцы, не споткнусь, как давеча.

Но Сенька, конечно, всё равно побежал. Хоть и зарекался зайцем бегать, но такая уж у него, видно, теперь образовалась планида — почём зря подмётки драть. Не хошь по рылу — гони кобылу.

Теперь побегать пришлось не в пример против прошлонедельного. Сначала пролетел Скорик по всему Подколокольному, потом по Подкопаю, по Трехсвятке, по Хитровскому, через площадь, снова свернул в Подколокольный.

Отмахивал Сенька шустро, как только каблуки не отлетели, но китаец не отставал, да ёщё, пузырь толстомордый, на ходу уговаривал:

— Сенька-кун, не беги, упадёсь, рассибёсься.

И даже не запыхался нисколько, а из Скорика уже последний дух выходил.

Хорошо, догадался на Свинью повернуть, или иначе сказать в Свининский переулок, где Кулаковка — самая большая и тухлая из хитровских ночлежек. Спасли Сеньку от идолища поганого кулаковские подвалы. Они ёщё мудрёней Ерошенковских, никто их в доподлинности не знает. Одних ходов-проходов столько понарыто — не то что китаец, сам черт не разыщет.

Далеко-то Сенька залезать не стал, там в темноте с небольшой привычки можно было и заблудиться.

Посидел, покурил папироску. Высунулся — китаец на корточках сидит возле входа, на солнце жмурится.

Что делать? Вернулся в подземелье, походил там взад-вперёд, ещё покурил, поплевал на стену (неинтересно было — не видно в темноте, куда попадаешь). Мимо тени шмыгали, кулаковские обитатели. Сеньку никто не спросил, чего тут торчит. Видно, что свой, хитровский, и ладно.

Снова глядеть сунулся, когда у входа уже керосиновый фонарь горел. Сидел сучий китаеза, с места не шелохнулся. Вот настырная нация!

Здесь Сеньке томно стало. Всю жизнь ему теперь в кулаковском подвале торчать, что ли? Брюхо подвело, да и дело ведь было, нешуточное — каляку предупредить.

Снова спустился вниз, зарыскал по колидору (одно название, что колидор — пещера пещерой, и стены то каменные, склизкие, то земляные). Непременно должен был тут и другой выход иметься, как же без этого.

Схватил за руку первого же кулаковца, что из тьмы вынырнул.

— Братуха, где тут у вас ещё выйти можно?

Тот вырвался, матюгами обложил. Хорошо ножиком не полоснул, кулаковские — они такие.

Оперся Скорик о стену, стал думать, как из ямы этой выбираться.

Вдруг прямо под ним, где стоял, дыра раскрылась — чёрная, сырая. И оттуда попёрла косматая башка, да Сеньке лбом в коленку.

Он заорал:

— Свят, свят! — и прыг в сторону.

А башка на него залаялась:

— Чего растопырился? Нору всю загородил! Ходют тут, косолапые!

Только тогда Сенька догадался, что это “корт” из своей берлоги вылез. Было в подземной Хитровке такое особенное сословие, “кроты”, которые в дневное время всегда под землёй обретались, а наружу если и вылезали, то ночью. Про них рассказывали, что они тайниками с ворованным добром ведают и за то получают от барыг со сламщиками малую долю на проедание и пропитие, а одёжи им вовсе никакой не надо, потому что зачем под землёй одёжа?

— Дяденька “корт”! — кинулся к нему Сенька. — Ты тут все ходы-выходы знаешь. Выведи меня на волю, только не через дверь, а как-нибудь по-другому.

— По-другому нельзя, — сказал “корт”, распрямляясь. — Из Кулаковки только на Свинью выход. Если подрядишь, могу в другой подвал

сопроводить. В Бунинку — гриненник, в Румянцевку семишник, в Ероху пятнадцать...

Скорик обрадовался:

— В Ероху хочу! Это ёщё лучше, чем на улицу!

Синюхин-то в Ерохе живёт.

Порылся по карманам — как раз и пятиалтынный был, последний.

“Крот” денежку взял, за щеку сунул. Махнул рукой: давай за мной. Что с деньгами сбежит, а подрядчика одного в темноте бросит, Сенька не опасался. Про них, “кроверов”, все знали, что честные, без этого кто же им слам доверит?

Главное было самому не отстать. “Кроту”-то хорошо, привычному, он и без света всё видел, а Сенька так, наудачу, ногами переступал, только повороты считал.

Сначала прямо шли и вроде как немножко вниз. Потом провожатый на четвереньки встал (Сенька по звуку только и догадался), пролез налево, в какую-то дыру. Скорик — за ним. Проползли саженей, может, десять, и лаз повыше стал. Из него вправо повернули. Потом опять влево, и пол из каменного стал мягким, земляным, а кое-где и топким — под ногами зачавкало. Ещё влево и опять влево. Там навроде пещеры и откуда-то сквозняком потянуло. Из пещеры по ступенькам поднялись, невысоко, но Сенька все равно оступился и коленку зашиб. Наверху лязгнула железная дверца. За ней колидор какой-то. Скорику после лаза, где на карачках ползали, здесь светло показалось.

— Вот она, Ероха, — впервые за все время сказал “крот”. — Отсюдова можно либо к Татарскому кабаку вылезти, либо в Подколокольный. Тебе куда?

— Мне бы, дяденька, в Ветошный подвал, к калякам, — попросил Сенька и на всякий случай соврал. — Письмишко отцу-матери отписать желаю.

Подземный человек повёл его вправо: через большой каменный погреб с круглыми потолками и пузатыми кирпичными стояками, снова колидором, опять большим погребом и снова вышли в колидор, пошире прежних.

— Ага, — сказал “крот” и повернулся за угол.

Когда же Сенька за ним сунулся, тот будто сквозь землю провалился. За углом серело — там, близко, был выход на улицу, только “крот”, скорей всего, не туда припустил, а в какую-нибудь нору влез.

— Чего, пришли, что ли? — крикнул Скорик неведомо кому.

От потолка и стен откликнулось: “штоли-штоли-што-ли”.

А потом глухо — и вправду словно из-под земли: “Ага”.

Стало быть, это он самый и был, Ветошный подвал. Приглядевшись, Сенька рассмотрел по обеим стенам дощатые дверки. Постучал в одну, крикнул:

— Синюхины где тут проживают?

Из-за двери откликнулись, хоть и не сразу:

— Тебе чего, бумагу писать? — спросил дребезжащий голос. — Это и я могу. У меня почерк лучше.

— Нет, — сказал Сенька. — Он, гад, мне полтинник должен.

— А-а, — протянул голос. — Направо иди. Третья дверь.

Перед дверью, на которую было указано, Скорик остановился, прислушался. Ну как Князь уже там? То-то запопадешь.

Но нет, за дверью было тихо.

Постучал: сначала ленонько, потом кулаком.

Всё равно тихо.

Ушли, что ль, куда? Да нет. Если присмотреться — из-под низа свет пробивался, слабенький.

Толкнул дверь — открылась.

Стол из досок, на нем огарок в глиняной миске, рядом щепки лежат — лучины. Больше пока мало что видать было.

— Здравствуйте вам, — сказал Сенька и картуз снял.

Никто ему не ответил. Рассусоливать, однако, некогда было — как бы Князь не нагрянул.

Потому Сенька зажёг лучинку и над головой поднял: ну-ка, что тут у них, у Синюхиных? Чего молчат?

На лавке у стены баба лежала, спала. На полу, под лавкой, дитё — совсем мелкое, года три или, может, два.

Баба на спине разлеглась, глаза себе чем-то чёрным прикрыла. Это у дядьки Зот Ларионыча супруга так же вот на ночь вату, шалфеем смоченную, на глаза клала, чтоб морщин не было. Дуры они, бабы, всякому известно. Посмотришь на такую — жуть берет: будто дырья у ней на роже заместо глаз.

— Эй, тётичка, вставай! Не время дрыхнуть, — сказал Сенька, подходя. — Сам-то где? Дело у ме...

И поперхнулся. Не ватки это у ней были, а жижа. Застыла в глазницах, будто в ямках, и ещё по виску к уху пролилась. И не чёрная она была, а красная. Тоже и шея у Синюхинской бабы была вся мокрая, блестящая.

Сенька сначала зенками похлопал и только после допёр: перехватили бабе глотку и ещё глаза выкололи — вот как.

Хотел крикнуть, но вырвалось только:

— Ик!

Присел на корточки, на мальца поглядеть. И тот был мёртвый, а заместо глаз две тёмные прорехи, только маленькие — сам-то тоже невелик.

— Ик, — сказал Сенька. — Ик, ик, ик.

И потом уже икал не переставая, не мог остановиться.

Попятился он от нехорошой лавки, споткнулся о мягкое. Чуть не упал.

Посветил — пацан лежит, лет двенадцати. Рот разинут, зубы посверкивают. А глаз опять нету, повыколоты.

— Ой! — удалось, наконец, Сеньке крикнуть. — Ой, беда!

Хотел к двери дунуть, но вдруг из угла, где темно, послышался голос.

— Митюша, — позвал голос тихо, жалостно. — Ушёл он? Мамоньку-то не тронул? А? Не слышу... Виши, что он, зверь, со мной сделал... Иди, иди сюда...

Там в углу висела ситцевая занавеска.

Скорик икнул раз, другой. Бежать или подойти?

Подошёл. Отодвинул.

Увидел деревянную кровать. На ней лежал человек, щупал руками мокрую от крови грудь. А глаз у него тоже не имелось, как у прочих. Наверно, он-то и был каляка Синюхин.

Сенька хотел ему объяснить, что и Митюшу этого, и мамку, и мальца насмерть зарезали, но только икнул.

— Ты молчи, ты слушай, — сказал Синюхин, облизывая губы и вроде как улыбаясь. Сенька отвернулся, чтоб этой безглазой улыбки не видать. — Слушай, а то сила из меня уходит. Кончаюсь я, Митюша. Но это ничего, это пускай. Жил плохо, грешно, так хоть помру человеком. Может, мне за это прощение будет... Не выдал ведь я ему! Он мне всю грудь ножиком исколол, глаза вырезал, а я стерпел... Прикинулся, будто помер, а сам-то живой! — Каляка засмеялся, и в горле у него забулькало. — Слушай, сынок, запоминай... Заветное место, про какое я говорил, к нему идти вот как: ты подземную залу, сводчатую, где кирпичные опоры, знаешь? Да знаешь, как не знать... Там, за правой крайней опорой, в самом уголку, нижний камень вынуть можно... Я искал, где от мамоньки бутылку спрятать, ну и наткнулся. Вынешь камень, отодвинешь, тогда можно будет другие снять, которые над ним сверху... Лезь туда, не бойся. Там потайной ход. Дальше просто: иди себе и иди... Выйдешь прямо в камору, где сокровище. Ты, главное, не бойся. — Голос стал совсем тихий, так что Сеньке нагнуться пришлось — ещё и икота, проклятая, слушать мешала. —

Сокровище... Больщущее... Все у вас будет. Хорошо живите. Тятеньку лихом не поминайте...

Больше Синюхин ничего не сказал. Скорик посмотрел на него: губы в улыбке растянуты, а сам уже не дышит. Преставился.

Перекрестился Сенька, потянулся покойнику, как положено, глаза прикрыть, да руку-то и отдернул.

Уже не икал, дрожал беззвучно. И не от страха — забыл про страх.

Сокровище! Больщущее!

Как Сенька искал сокровище

Конечно, не в себе был, после такого-то.

То думал: вот ведь носит земля изверга, дитю малому, и тому не спустил, да ещё глаза повырезал, ирод. А и Князь тоже хорош! Вроде честный налётчик. Зачем такого беспардонщика при себе держит, который живым людям глаза колет?

А то вдруг мыслью соскакивал со страшного и начинал сокровище воображать, но неявственно: что-то вроде царских врат в церкви. Всё сверкает, переливается, а толком ничего не разглядишь. Сундуки ещё представляя, в них — злато-серебро, самоцветы там всякие.

Дальше повернуло на брата Ванюшу — как приедет к нему Сенька, не деревяшку с мочальным хвостом подарит и не поню эту недомерную, как судья Кувшинников, а самого настоящего скакуна арабских кровей и к нему коляску на пружинном ходу.

И про Смерть, само собой, тоже подумалось. Если Сенька при огромном богатстве будет, может, и она на него по другому взглянет. Не щербатый-конопатый, не комарик и не стриж, а Семён Трифонович Скориков, самостоятельный кавалер. И тогда...

Что “тогда”, и сам не знал.

Как вышел из жуткой комнаты — побежал назад, в самый дальний погреб с пузатыми кирпичными стояками, не иначе Синюхин про него говорил.

“Крайняя опора” это которая, с этого конца или с того?

Надо думать, та, что от Синюхинского жилья дальше всего.

Хоть Сенька от всего приключившегося вроде пьяного был, но спички и запас лучинок со стола прихватить догадался.

В самом дальнем углу сел на корточки, спичку зажёг. Увидел тёсаные камни старинной кладки, каждый величиной с ящик. Поди-ка сдвинь такой.

Когда огонёк погас, Скорик нашупал пальцами шов, подвигал и так, и сяк — мёртвое дело. Попробовал пошевелить соседний — тож самое.

Ладно. Перешёл в другой угол, по правой стороне. Теперь уже не спичку зажёг, лучину. Посветил туда-сюда. Камни тут были такие же, но у одного, нижнего, по краям чернели щели. Ну-ка, ну-ка.

Взялся, потянул — камень поддался, и довольно легко.

Кряхтя, вытащил, отодвинул. Из дырки пахнуло сырым и затхлым.

Сеньку снова колотить начало. Синюхин-то правду сказал! Есть там

что-то!

Другой камень, сверху, снять ещё легче оказалось — он был малость пошире нижнего. Третий ещё пошире и тоже не прихваченный раствором, а всего камней вынулось пять. Верхний — пуда на три, если не больше.

Теперь перед Сенькой чернела щель — вполне можно человеку пролезть, если боком и скрючимши.

Перекрестился, полез.

Как протиснулся, сразу просторней сделалось. Заколебался: не поставить ли за собой камни на место. Но не стал — кто в угол погреба полезет? Без огня все одно щель не углядишь, а огня ерохинские обитатели не зажигают.

Очень уж Сеньке невмоготу было поскорей до сокровища добраться.

Запалил погасшую лучину.

Ход был шириной аршина в полтора, с низкого потолка свисали какие-то серые тряпки — не то паутина, не то пыль. А снизу пискнуло — крысы. Их по подвалам полно, самое ихнее крысиное отчество. Но эти наглые были. Одна прямо Сеньке на сапог прыгнула, зубьями в складку на голенище вцепилась. Стряхнул её, тут же другая наскоцила. Вот бесстрашные!

Потопал ногами: кыш, проклятые.

И потом, когда вперёд по лазу шёл, остромордые серые твари то и дело из-под ног шмыгали. Из темноты, будто капельки, посверкивали ихние глазёнки.

Пацаны рассказывали, прошлой зимой крысы с голодухи обезумели и пьянчуге, что в погребе уснул, нос и уши отъели. Младенцев в люльке, если без присмотру оставить, часто обгрызают. Ништо, успокоил себя Сенька. Чай не пьяный и не младенец. А сапог им не прокусить.

Когда щепка дрогорела, новую не стал зажигать. Зачем? Дорога-то одна.

Сколько шёл в темноте, сказать затруднительно, однако не так чтобы очень долго.

Растопыренными руками вёл по стенам, опасался пропустить, если будет поворот или развилка.

Лучше б потолок щупал — налетел лобешником на камень, аж в ушах зазвенело, и колёса перед глазами покатились, жёлтые. Нагнул голову, сделал три шажочка, и стенки из-под обеих рук ушли.

Засветил лучину.

Оказывается, он из низкого прохода в некий погреб попал. Может, это и есть камора, про которую Синюхин своему мёртвому сыну говорил?

Потолок тут был плавно-изгибающийся, узкого кирпича, не сказать, чтоб

очень высокий, но рукой не дотянешься. Кирпич кое-где осыпался, на полу валялись осколки. Помещение собой не большое, но и не маленькое. От стены до стены, может, шагов двадцать.

Никаких сундуков Сенька неглядел.

У стены, что справа, и у той, что слева, лежало по большой куче хвороста. Подошёл — нет, не хворост, пруты железные, почёрневшие.

Напротив хода, из которого вылез Скорик, раньше, похоже, дверь была, но только её всю доверху битым кирпичом, камнями и землёй засыпало — не пройдёшь.

Где ж большущее сокровище, за которое Синюхин и всё его семейство страшную смерть приняли?

Может, в подполе, а Синюхин досказать не успел?

Сенька встал на карачки, принял по полу ползать, стучать. Лучина догорела — другую зажёг.

Пол, тоже кирпичный, отзывался глухо. Посреди каморы нашлась большая мошна толстой задубевшей кожи, вся ветхая, негодная. Внутри, однако, что-то звякнуло.

То-то!

Вывернулся, потряс. На пол со звоном посыпались какие-то лепестки-чешуйки, с мизинный ноготь каждая. Немного, с пару горстей.

Может, золотые?

Непохоже — чешуйки были тёмные и блестели.

Сенька слыхал, что золото на зуб пробуют. Погрыз один лепесток. На вкус он был пыльный, укусить — не укусишь. Черт его знает. Может, и вправду золото?

Насыпал чешуйки в карман, пополз дальше. Ещё три лучины сжёг, весь пол коленками обтёр, но более ничего не нашёл.

Сел на задницу, голову подпёр, пригорюнился.

Ай да сокровище. Выходит, бредил Синюхин?

А может, тайник в стене?

Вскочил на ноги, прут железный из кучи подобрал и давай стены простукивать.

Через короткое время от раскатистого звона уши заныли — вот и вся прибыль. Ничего путного не выступал.

Достал из кармана лепесток, поднёс к самому огню. Разглядел чеканку: человек на коне, какие-то буквицы, непонятные. Вроде монетка, только кривая какая-то, будто обкусанная.

От расстройства снова в мошну полез, за подкладкой щупать. Нашёл ещё два лепестка и монету — круглую, настоящую, больше рублевика. На

ней был выбит бородатый мужик и тоже буквы. Деньга была серебряная, это Сенька сразу понял. Наверно, их тут таких раньше полная сумка лежала, да Синюхин все забрал, перепрятал куда-нибудь. Ищи-свищи теперь.

Делать нечего — полез Сенька по подземному ходу обратно, не сильно солено похлебавши.

Ну, кругляш серебряный. Ну, лепесточки эти — то ли серебряные, то ли медные, не разберёшь. А хоть бы и серебряные — невелико богатство.

Прут железный, которым в стены стучал, с собой взял, крыс гонять. Да и вообще сгодится — приятный он был на ощупь, ухватистый.

Как Сенька попался

Хоть и не оказалось в схроне сокровища, все же, когда вылез из лаза в погреб с кирпичными опорами, задвинул камни на место. Надо будет вернуться с хорошей масляной лампой да получше поискать. Вдруг чего не углядел?

С того места, где “крот” спрашивал, к какому выходу вести, Сенька теперь пошёл не вправо, а влево, чтоб в Ветошный подвал не угодить. Снова мимо двери ходить, за которой мертвяки безглазые лежат? Благодарствуйте, нам без надобности.

Теперь Скорик сам на свою отчаянность удивлялся — как это он после такой страсти не побежал из Ерохи со всех ног, а ещё сокровище искать полез? Тут либо одно, либо другое: или он все ж таки пацан крепкий, или сильно жадный — корысть в нем злее страха.

Про это и думал, когда через боковую дверь к Татарскому кабаку вышел.

Из ночлежки вышел — зажмурился от света. Это ж надо, утро уже, солнышко на колокольне Николы-Подкопая высверкивает. Всю ночь под землёй проползал.

Шёл Сенька Подколокольным переулком, на небо смотрел, какое оно чистое да радостное, с белыми кружавчиками. Чем на облачка плятиться, лучше б по сторонам глядел, дурень.

Налетел на какого-то человека — твёрдого, прямо налитого всего. Ушибся об него, а человек и не шелохнулся.

Мама родная — китаец!

От всяких разных событиев Сенька про него и думать позабыл, а он, двужильный, всю ночь на улице проторчал. И это за семьдесят копеек! А кабы бусам этим паршивым цена в трёшник была, наверно, вовсе бы удавился.

Улыбнулся косоглазый:

— Добурое утро, Сенька-кун.

И лапу короткопалую тянет — за ворот ухватить.

Хрена!

Скорик ему прутом железным, который из подземелья, по руке хрясь!

Жалко отдернул, идол вертлявый.

Охо-хо, снова-здравово, давно наперегонялки не бегали. Развернулся Сенька и припустил вдоль по переулку.

Только на сей раз утёк недалеко. Когда пробегал мимо нарядного господина с тросточкой (и как только такой франт забрёл на Хитровку), зацепился карманом за набалдашник. Чудно, что у гуляльщика тросточка из руки не выдернулась, как следовало бы, а наоборот, Сенька к месту прирос.

Франт слегка тросточку на себя потянул, а вместе с нею и Сеньку. Человек был солидный, в чёрной шёлковой шляпе трубой, с крахмальными воротничками. И рожа гладкая, собой красивая, только немолодой уже, с седыми висками.

— Отцепляйте меня скорей, дяденька! — заорал Сенька, потому китаец уже совсем близко был.

Не бежал, неспешно подходил.

Вдруг красивый господин усмехнулся, усишками чёрными шелохнул и говорит, немножко заикаясь:

— К-конечно, Семён Скориков, я вас пущу, но не раньше, чем вы вернёте мне нефритовые чётки.

Сенька на него вылупился. Имя-фамилию знает?

— А? — сказал. — Чего? Какие-那样的 чётки?

— Те самые, что вы стянули у моего камердинера Масы т-тому восемь дней. Вы шустрый юноша. Отняли у нас немало времени, заставили за собой побегать.

Только тут Скорик его признал: тот самый барин, которого он в Ащеуловом переулке со спины видел, входящим в подъезд. И виски седые, и заикается.

— Не обессудьте, — говорил дальше заика, беря Сеньку двумя цепкими пальцами за рукав. — Но Маса устал за вами г-гоняться, ему ведь не шестнадцать лет. Придётся принять меру предосторожности, временно заковать вас в железа. Позвольте ваш п-прутик.

Франт отобрал у Сеньки железку, вцепился в её концы, наморщил гладкий лоб и вдруг как закрутит прут у Скорика на запястьях! Легко так, словно проволоку какую.

Вот это силища! Скорик так поразился, что даже кричать не стал — чего, мол, сироту обижаете.

А силач поднял точёные брови — вроде бы сам своей мощи удивился — и говорит:

— Интересно. Позвольте п-полюбопытствовать, откуда у вас эта штуковина?

Сенька ответил, как положено:

— Откуда-откуда, дала одна паскуда, велела сказать, что ей на вас...

Руки были, будто в кандалах, нипочём из железной петли не вытянуть,

сколько ни елозь.

— Что ж, вы правы, — мирно согласился усатый. — Мой вопрос нескромен. Вы вправе на него не отвечать. Так где мои чётки?

Тут и китаец подошёл. Сенька зажмурился — сейчас будет бить, как Михейку с пацанами.

И само вырвалось:

— У Ташки! Подарил ей!

— Кто это — Таська? — спросил китаеза, которого франт назвал Масой.

— Маруха моя.

Красивый господин вздохнул:

— Я понимаю, неприятно и неприлично забирать назад у д-дамы подарок, но поймите и вы меня, Семён Скориков. Эти чётки у меня лет пятнадцать. Знаете ли, привыкаешь к вещам. К тому же с ними связано некое особенное в-воспоминание. Пойдёмте к мамемуазель Ташке.

За “мамзель” Сенька обиделся. Почём он знает, что его маруха — мамзелька? То есть, Ташка, конечно, мамзелька и есть, но ведь ничего такого про неё сказано не было. Может, она порядочная. Хотел Скорик заступиться за Ташкину честь, сказать оскорбителю грубость, но посмотрел в его спокойные голубые глаза повнимательней и грубить не стал.

— Ладно, — пробурчал, — пошли.

Двинули назад по Подколокольному.

Желтомордый Маса держал прут, которым Сеньку повязали, за один конец, а второй мучитель шёл сам по себе, постукивал по булыге тросточкой.

Стыдно было Скорику, что его, будто собачонку, на поводке ведут. Увидит кто из пацанов — срамота. Поэтому старался идти поближе к китайцу, вроде как дружба у них или, может, общее дело. Тот понял Сенькино страдание: снял свой пиджачок, накинул сверху на стянутые руки. Тоже ведь человек, понятие имеет, хоть и нерусская душа.

Возле главного входа в Ероху, на углу, толпился народ. В самых дверях торчала фуражка с бляхой. Городовой! Стоял важный, строгий, никого внутрь не пускал. Сенька-то сразу понял, что за оказия — не иначе порезанных Синюхиных нашли, а в толпе говорили разное.

Один, по виду тряпичник, что ветошь по помойкам собирают, громко объяснял:

— Энто теперь вышло такое от начальства указание. Ероху закрыть и инфекцией опрыскать, потому как от неё на всю Москву бациллы.

— Чего от ней? — испугалась баба с перебитым носом.

— Бациллы. Ну, там мыша или крыса, если по-простому. А от них проистекает холера, потому что некоторые, кто в Ерохе проживает, этих бацилл с голодухи жрут, а после их с крысиного мяса пучит. Ну, начальство и признало.

— Что вы врёте, уважаемый, только людей смущаете, — укорил тряпичника испитой человек в драном сюртучишке, не иначе из каляк, как покойник Синюхин. — Убийство там случилось. Ждут пристава со следователем.

— Ага, стали бы из-за такой малости огород городить, — не поверил тряпичник. — В “Каторге” вон нынче двоих порезали, и ничего.

Каляка голос понизил:

— Мне сосед рассказывал, там ужас что такое. Будто бы порешили детей малых, видимо-невидимо.

Вокруг заохали, закрестились, а барин, чьи бусы, навострил уши и остановился.

— Убили д-детей? — спросил он.

Каляка повернулся, увидел важного человека, картуз сдёрнул.

— Так точно-с. Сам я не лицезрел, но Иван Серафимыч из Ветошного подвала слышал, как городовой, что в участок побежал, на ходу приговаривал: “Детей не пожалели, ироды”. И ещё про выколотые глаза что-то. Сосед мой — честнейший человек, врать не станет. Раньше в акцизе служил, жертва судьбы, как и я. Вынуждены прозябать в сих ужаснейших местах по причине...

— Выколотые глаза? — перебил Сенькин поимщик и сунул каляке монетку. — Вот, держите. Ну-ка, Маса, заглянем, п-посмотрим, что там стряслось.

И пошёл прямо к двери ночлежки. Китаец потянул Скорика следом. Вот уж куда Сеньке ни за какие ковриги идти не хотелось, так это в Ветошный подвал.

— Да чего там смотреть? — заныл Сенька, упираясь. — Мало ли чего набрешут.

Но барин уже к городовому подошёл, кивнул ему — тот и не подумал такого представительного господина останавливать, только под козырёк взял.

Спустившись по ступенькам вниз, в подвал, франт задумчиво пробормотал:

— Ветошный подвал? Это, кажется, налево и потом направо.

Знал откуда-то, вот чудеса Господни. И по тёмным коридорам шёл

быстро, уверенно. Очень Сенька на это удивился. Сам-то он сзади волочился и всё канючил:

— Дядя китаец, давай тут его подождём, а? Ну дядя китаец, а?

Тот остановился, повернулся, легонько щёлкнул Скорика по лбу.

— Я не китаец, я японец. Поняр?

И дальше за собой потащил.

Надо же! Вроде китаец ли, японец — один хрен рожа косоглазая, а тоже вот различают между собой, обижаются.

— Дяденька японец, — поправился Сенька. — Устал я что-то, нет больше моей мочи.

И хотел на пол сесть, вроде как в изнеможение впал, но Маса этот кулаком погрозил, убедительно, и Сенька умолк, смирился с судьбой.

У входа в Синюхинскую квартеру стоял сам Будочник: прямой, высокий, как Иван Великий, руки сзади сцеплены. И лампа на полу горела, керосиновая.

— Будников? — удивился барин. — Вы всё на Хитровке? Надо же!

А Будочник ещё больше поразился. Уставился на франта, глазами замигал.

— Эраст Петрович, — говорит. — Ваше высокородие! — И руки по швам вытянул. — А сказывали, вы сменили расейское местопроживание на заграничное?

— Сменил, сменил. Но наведываюсь иногда в родной город, п-приватным образом. Вы как тут, Будников, пошаливаете, как прежде, или остепенились? Ох, не добрался я до вас, не успел.

Будочник улыбнулся, но не широко, а чуть-чуть, деликатно.

— Годы у меня не те, чтобы шалить. О старости подумать пора. И о душе.

Вот те на! Господин-то этот, оказывается, не просто так — сам Будочник перед ним навытяжку. Никогда Сенька не видывал, чтобы Иван Федотыч перед кем-нибудь этак тянулся, хоть бы даже перед самим приставом.

Покосился Будочник на Сеньку, косматые брови сдвинул.

— А этот что? — спрашивает. — Или напакостил вам чем? Только скажите — я его в труху разотру.

Тот, который Эраст Петрович, сказал:

— Ничего, мы уже решили наш к-конфликт. Правда, Сеня? — Скорик закивал, но интересный барин смотрел не на него, а на дверь. — Что тут у вас случилось?

— Так что уголовно-криминальное зверство, каких даже на Хитровке

не видывали, — мрачно доложил Будочник. — Каляку одного со всем семейством вырезали, да ещё изуверским манером. А вам, Эраст Петрович, лучше бы уходить отседова. Про вас ещё вон когда велено было: кто из полициантов увидит, сразу по начальству доносить. Неровен час пристав с господином следователем застанут... Уж пора им прибыть.

Ишь ты, соображал Сенька, а человек-то этот, похоже из деловых, да не обыкновенный, а какой-то разосбленный, против которого московские — сячки драные. Ну, попутал лукавый у этакого фартового принца-генерала памятную вещь утырить! Вот оно, сиротское счастье.

А Будочник ещё сказал:

— Приставом у нас теперича Иннокентий Романыч Солнцев, которого вы под суд хотели. Оченно на обиду памятны.

Если он мог самого пристава под суд упечь, то, выходит, не фартовый? Сенька вовсе запутался.

Эраст Петрович предупреждения нисколько не напугался.

— Ничего, Будников. Бог не выдаст, свинья не съест. Да мы быстренько, одним г-глазком.

Будочник не стал больше перечить, посторонился:

— Если свистну — выходите скорей, не подводите.

Хотел Сенька снаружи остаться, но чёртов японец Маса не дозволил, хоть бы даже под Будочниковым присмотром.

Сказал:

— Отень сюстрый. И бегаешь быстро.

Как внутрь вошли, Сенька на покойников смотреть не захотел (будет, налюбовался уже), стал глядеть на потолок.

В комнате теперь светлее было, чем раньше — на столе лампа горела, тоже керосиновая, как в колидоре.

Эраст Петрович ходил по комнате, нагибался, чем-то позвякивал. Кажется, и мертвяков ворочал, за рожи зачем-то трогал, но Скорик нарочно отворачивался, чтобы этого непотребства не наблюдать.

И японец тоже рыскал чего-то, сам по себе. Сеньку за собой таскал. Тоже и над трупаками нагибался, бормотал по-своему.

Минут пять это длилось.

От запаха убоины Сеньку малость мучило. И ещё навозом тоже несло — должно, из располосованных брюх.

— Что думаешь? — спросил Эраст Петрович своего японца.

Тот ответил непонятно, не по-нашему.

— Ты полагаешь, маниак? — Барин-фартовый раздумчиво потёр подбородок. — Основания?

Тут японец снова по-русски заговорил:

— Убийство дза дзеньги искрютетца. Эта семья быра софусем нисяя. Это радз. Сумаседсяя дзестокость — дазе маренкъкого марьсика не подзярер. Это два. Есё градза. Вы сами говорири, господзин, съто приданак маниакарънго убийства — ритуар. Затем градза выкарывач? Ясно — сумаседсий ритуар. Это три. Маниак убир, тотъно. Как тогда Дзекоратор.

Скорик не знал, кто такие Маниак и Дзекоратор (по фамилии судить — жиды или немцы), да и вообще мало что понял, однако видно было, что японец своей речью шибко горд.

Только барина, похоже, не убедил.

Тот присел на корточки возле кровати, где лежал Синюхин, стал шарить у покойника в карманах. А ещё приличный господин! Хотя кто его знает, кто он на самом деле. Сенька стал на иконку смотреть, что в углу висела. Подумал: видел ведь Спаситель, как Очко каляку уродовал, и не спас, не заступился. А потом вспомнил, как валет в иконы ножиком швырялся, тож прямо в глаза, и вздохнул: хорошо ещё, святому образу не выколол. У, нелюдь.

— Это что у нас? — раздался голос Эраста Петровича.

Не утерпел Сенька, высунулся из-за Масиного плеча.

На ладони у барина лежала чешуйка, точь-в-точь такая же, как у Сеньки в кармане.

— Кто знает, что это такое? — обернулся Эраст Петрович. — Маса? Или, может, вы, Скориков?

Маса покачал головой. Сенька пожал плечами, да ещё глаза нарочно выпучил: отродясь не видывал этакой диковины. Даже ещё вслух сказал:

— Почём мне знать?

Барин на него посмотрел.

— Ну-ну, — говорит. — Это копейка семнадцатого столетия, отчеканена при царе Алексее. Откуда она взялась у нищего, спившегося каляки?

Услышав про копейку, Скорик приуныл. Ничего себе “большущее сокровище”! Пригоршня копеек, и те царя Гороха.

Дверь из колидора приотворилась. Просунулся Будочник:

— Ваше высокородие, идут!

Эраст Петрович положил чешуйку на кровать, чтоб было видно.

— Всё-всё, уходим.

— Вон туда ступайте, чтоб с приставом не сойтись, — показал Будочник. — К Татарскому кабаку попадёте.

Барин подождал, пока Маса и Сенька выйдут. Не сказать, чтобы очень

уж торопился от пристава бежать. Хотя чего тут бегать: как донесутся шаги — в темноту отойти, и нет тебя.

— Не думаю, что маниак, — сказал Эраст Петрович своему слуге. — Я бы не стал исключать корысть как мотив п-преступления. Вот скажи, как по-твоему, глаза у жертв выколоты при жизни или после смерти?

Маса подумал, губами почмокал.

— У дзенсины и дзетотек посмертно, у мусины есё при дзизни.

— И я пришёл к тому же в-выводу.

Сенька вздрогнул: откуда знают, что Синюхин поначалу ещё живой был? Колдуны они, что ли?

Эраст Петрович повернулся к Будочнику:

— Скажите, Будников, были ли на Хитровке похожие преступления, чтобы жертвам выкалывали глаза?

— Были, в самом недавнем времени. Одного купчика, что на Хитровку сдуру после темна забрёл, порешили. Ограбили, башку проломили, портмоне с золотыми часами взяли. Глаза зачем-то повырезали, крокодилы. А ещё раньше, тому с две недели, господина репортёра из газеты “Голос” умертвили. Хотел про трущобы в газету прописать. Он денег-часов с собой не брал — опытный человек и на Хитровке не впервые. Но кольцо у него было золотое, с бриллиантом, с пальца не сымалось. Пришли репортёра, бестии мокрушные. Кольцо прямо с мясом срезали и глаза тоже выкололи. Вот какая публика.

— Видишь, Маса, — поднял палец красивый господин. — А ты говоришь, деньги исключаются. Это не маниак, это очень предусмотрительный преступник. Видно, слышал б-басню о том, что у покойника на сетчатке запечатлевается последнее, что человек видел перед смертью. Вот и осторожничает: всем своим жертвам, вплоть до детей, вырезает глаза.

Японец зашипел и заклекотал что-то по-своему — должно быть, заругался на душегуба. А Сенька подумал: больно много о себе воображаете, ваше высокородие или кто вы там. Не угадали, нет в Очке никакой осторожности, одна только бешеность от марафета.

— Картинка на глазу? — ахнул Будочник. — Чего только не удумают, аспиды уголовные.

— Басня — это непуравда, да? — спросил Маса. — Татоэбанаси?

Эраст Петрович подтвердил:

— Разумеется, чушь. Была такая гипотеза, но не нашла подтверждения. Тут ещё вот что интересно...

— Идут! — перебил, наклонив голову, Будочник. — Слыхали?

Сидоренко, что у входа стоит, гаркнул “Здравия желаю, вашскобродь!” — это я велел ему глотку не жалеть. Через минуту, много две, здесь будут. Шли бы вы от греха. Далось вам, Эраст Петрович, это убийство. Или расследовать будете?

— Нет, не могу. — Барин развёл руками. — Я в Москве совсем по другому делу. Передайте, что я говорил, Солнцеву и следователю. Скажите, своим умом дошли.

— Вот ещё, — презрительно скривил рот Будочник. — Пускай Иннокентий Романыч сами мозгой шевелят. И так всё норовят на чужом горбе в рай прокатиться. Ништо, ваше высокородие, я дознаюсь, кто это на Хитровке озорует, найду и своей рукой жизни лишу, как Бог свят.

Эраст Петрович только головой покачал:

— Ох, Будников, Будников. Вы, я смотрю, всё такой же.

* * *

Слава Богу, ушли наконец из проклятого подвала. Вылезли на Божий свет у Татарского кабака, пошли к Ташке.

Она с мамкой в Хохловском переулке квартировала: комната в одно окошко со своим ходом — для мамзельного ремесла. Так многие лахудры проживали, но только у Ташки на подоконнике что ни день новые цветы, под стать хозяйкиному расположению. Скорик уже знал: если слева лятики выставлены, а справа незабудки — значит, всё у Ташки хорошо, песни поёт и букеты раскладывает. А если, скажем, левкой и иван-чай, тогда с мамкой пособачилась или клиент сильно противный попался, и Ташке оттого грустно.

Сегодня как раз такой день был, да ещё с занавески можжевеловая ветка свисала, на языке цветов значит “не рада гостям”.

Рада, не рада, а куда денешься, если насилино привели.

Постучали, вошли.

Ташка на кровати сидела, мрачнее тучи. Семечки грызла, шелуху в ладошку плевала. Ни “здравствуй” тебе, ни “как поживаешь”.

— Чего надо? — говорит. — Что за бакланов привёл? Зачем? Мало мне тут этой лахудры.

И в угол кивнула, где мамка валялась. Опять, поди, нажралась где-то пьянее грязи и после кровью харкала, вот Ташка и бесится.

Скорик хотел объяснить, но тут у него с рук японский пиджак соскользнул, на пол упал. Ташка увидала Сенькины скованные руки, как с

кровати спрыгнет — и на Масу. Ногтями ему в толстые щеки вкогтилась и давай орать:

— Отпусти его, гад мордатый! Щёлки повыцарапаю!

И ещё всякими разными словами, на которые Ташка была знатная мастерица. Сенька и то заморщился, а чистый господин так даже глазами захлопал.

Пока японец одной рукой от мамзельки свою жёлтую красу обронял, Эраст Петрович в сторонку отошёл. На Ташкину ругань сказал уважительно:

— М-да, вдали от родины отвыкаешь от силы русской речи.

Пришлось за японца заступаться.

— Ладно тебе, Ташка. Угомонись. Чего к человеку пристала? Помнишь, я тебе бусы дарил, зеленые. Целы? Отдай им, ихние это. Не то худо мне будет. — И вдруг испугался. — Или продала?

— Что я, лярва замоскворецкая, дарёное продавать? — оскорбилась Сенькина подрунька. — Мне, может, никто больше и не дарил ничего. Клиенты, те не в счёт. Бусы твои у меня в хорошем месте прибраны.

Скорик знал это её “хорошее место” — в подкроватном шкапчике, где Ташка свои сокровища хранила: книжку про цветы, хрустальный пузырь из-под духов, гребёнку из черепахи.

Попросил её:

— Отдай, а? Я тебе другое что подарю, чего хошь.

Ташка японца отпустила, просветлела вся.

— Правда? Я, Сень, собачку хочу, пуделя белого. На рынке видала. Пуделя, они знаешь какие? Они, Сень, на задних лапах вальс пляшут, через верёвочку прыгают и лапу подают.

— Да подарю, ей-богу подарю. Только бусы отдай!

— Ладно, не надо, не дари, — разрешила Ташка. — Это я так. Пудель такой тридцать целковых стоит, даже если щенок. Я приценивалась.

Вздохнула, но без особой печали.

Полезла под кровать, зад тощий задрала, а рубашонка короткая, Скорику от людей стыдно стало. Вот какая девка бесшабашная. Подошёл, одёрнул.

Ташка там, под кроватью, погремела немножко (видно, не хотела при чужих все свои богатства доставать), потом вылезла обратно, кинула Масе бусы:

— На, удавись, жадюга.

Японец поймал низку, с поклоном передал господину. Тот перебрал камешки, зачем-то погладил один из них, бережно спрятал бусы в карман.

— Что ж, все хорошо, что хорошо к-кончается. Уж вы-то, мадемуазель, передо мной ни в чем не виноваты. — Полез в карман, достал лопатник, из лопатника три кредитки. — Вот вам тридцать рублей, купите себе пуделя.

Ташка деловито спросила:

— Это каким же манером ты меня кобелить собрался, за три-то краснухи?

Если, говорит, так-то и так-то, то я согласная, а если так или вот этак, то я девушка честная и гадостев этих творить над собой не дозволяю.

Гладкий барин аж шарахнулся, руками заплескал:

— Что вы, — говорит. — Ничего такого от вас мне не нужно. Это п-подарок.

Не знал он Ташку! Она подбоченилась:

— Ну и вали тогда со своими бумажками. Я подарки либо от клиента беру, либо от товарища. Раз кобелиться не желаешь, значит, ты мне не клиент, а товарищ у меня уже есть — Скорик.

— Что ж, мадемуазель, — поклонился ей Эраст Петрович. — Такого товарища, как вы, лестно иметь вся кому.

Здесь Ташка вдруг крикнула:

— Тикай, Скорик!

Кинулась на Масу и зубами его за левую руку, в которой конец прута!

Японец от неожиданности пальцы разжал, ну Сенька к двери и рванул.

Барин ему вслед:

— Стойте! Я освобожу вам руку!

Ага, нашёл дурака. Как-нибудь сами освободимся, без вашей помощи. За покражу-то от вас расчёта ещё не было. Станете мордовать, нет ли,proto нам неведомо, а все ж от непонятного человека, которого сам Будочник опасается, чем далее, тем целее — так Сенька рассудил.

Но Ташка-то, Ташка! Не девка — золото.

Как Сенька стал богатый

Сбежать-то Скорик сбежал, но теперь надо было и в самом деле как-то от железяки избавляться. Шёл, руки к груди прижимал, прут концами вверх-вниз повернул, чтоб меньше в глаза бросался.

С Хитровки нужно было уносить ноги — даже не из-за опасного Эраста Петровича, а чтоб знакомых в дурацком виде не встретить. Засмеют.

Зайти в кузню, где подковы куют, наврать чего-нибудь — вроде как кто из озорства или на спор железяку прикрутил. В кузнях лбы здоровые. Может, и не такие уцепистые, как красивый барин, но уж как-нибудь растянут, на то у них свой струмент имеется. Само собой не за спасибо — копеек двадцать дать придётся.

Тут-то и сообразил: а где их взять, двадцать копеек? Последний пятиалтынный вчера “кругу” отдал. Или надуть кузнеца? Посулить деньги, а после дать деру? Снова бегать, вздохнул Сенька. Кузнецы, если догонят, так отмелят своими кулачищами — хуже любого японца.

В общем, шёл, думал.

Поднявшись на Маросейку, увидел вывеску **“САМШИТОВЪ. Ювелирные и златокузнечные работы”**. Вот оно, что нужно-то! Может, даст ювелир сколько-нисколько за серебряную монету из сумы, опять же копейки эти старинные. Не даст — часы Килькины заложить можно.

Потянул стеклянную дверь, вошёл.

За прилавком никого не было, но красивая птица попугай, что сидела в клетке на жёрдочке, проорала противным голосом:

— Добррро пожаловать!

На всякий случай Сенька снял картуз и тоже сказал:

— Доброго здоровьячка.

Хоть он был и птица, но, видно, с понятием.

— Ашотик-джан, опять дверь не заперта! — донёсся из глубины лавки бабский голос — чудной, с переливами. — Заходи, кто хочет!

Зашуршали шаги, из-за шторкиглянул человек небольшого росточка, лицом смуглый, с кривым носищем, на лбу вздет стеклянный кружок в медной оправе. Пугливо спросил:

— Вы один?

Увидал, что один. Тогда побежал, зачем-то дверь на засов запер и только после повернулся к Скорику:

— Чем могу?

Да, такой огрызок железного прута не растянет, расстроился Сенька. А ещё про кузнечные работы написал. Может, у него подмастерье имеется?

— Желаю кой-чего продать, — сказал Сенька и полез в карман.

Ох, непросто это было, со стянутыми-то руками.

Попугай как заладит дразниться:

— Прродать! Прродать! Прродать!

Носатый ему:

— Помолчи, помолчи, Левончик. — А Сеньке, оглядев с ног до головы, сказал. — Извините, молодой человек, но я краденого не покупаю. На то есть свои специалисты.

— Без тебя знаю. Вот, чего дашь?

И монету на прилавок шлёт.

Ювелир на Сенькины запястья покосился, однако ничего не сказал. А на серебряный кругляш глянул без большого интереса.

— Хм, ефимок.

— Кто-кто? — не понял Скорик.

— Ефимок, иоахимсталер. Монета нередкая. Они идут по два веса. То есть по весу серебра, помноженному вдвое. Ваш ефимок в хорошей сохранности. — Взял денежку, положил на весы. — Можно сказать, даже в идеальной. Полноценный талер, шести с половиной золотников весу. Золотник серебра нынче — 24 копейки. Это получается... м-м... три двенадцать. Минус моя комиссия, двадцать процентов. Итого — два рубля пятьдесят копеек. Больше вряд ли кто-нибудь даст.

Два с полтиной — это уже было дело. Сенька снова завернулся весь, полез в карман за чешуйками, высыпал на стойку.

— А эти чего?

Лепестков этих было у него ровно двадцать, ещё ночью пересчитал. Плохонькие, конечно, копеечки, но если к двум с полтиной прибавить, это уж два семьдесят выходило.

Чешуйкам ювелир больше уважения оказал, чем ефимку. Спустил со лба на глаз стёклышко, стал разглядывать одну за одной.

— Серебряные копейки? Ого, “ЯД”. И сохранность завидная. Ну, эти могу взять по три рубля штучка.

— По скольку, по скольку? — ахнул Сенька.

— Поймите, молодой человек, — сказал ювелир, взглянув на Скорика через стекляшку страшным чёрным глазом. — Предбунтные копейки, конечно, не талеры и идут по другому курсу, но как раз недавно в Замоскворечье вырыли очередной клад того времени, в три тысячи серебряных копеек, в том числе две сотни яузских, так что цена на них

сильно упала. Ну хотите, по три пятьдесят? Больше не могу.

— Это сколько же всего будет? — спросил Скорик, ещё не веря своей удаче.

— Всего? — Самшитов пощёлкал счетами, показал. — Вот: вместе с ефимком семьдесят два рубля пятьдесят копеек.

Сенька аж охрип:

— Ладно, давай.

Попугай встрепенулся:

— Давай! Давай! Давай!

Хозяин монетки сгрёб куда-то под прилавок, звякнул замком кассы. Зашуршали кредитки — заслушаешься. Это ж надо, какие деньжищи!

Из глубины лавки снова пропел бабский голос:

— Ашотик-джан, чай кушать будешь?

— Сейчас, душенька, — обернулся ювелир. — Только клиента отпушу.

Из-за занавески вышла хозяйка, с подносом. На подносе чай в серебряном подстаканнике, блюдечко со сладостями — важно. Тётка была видная, толстая, много больше своего муҳортика, с усами под носом, а ручищи с сахарную голову.

Вот она, загадка, и разъяснилась. С такой бабой никакого подмастерья не нужно.

— Тут ещё вот чего... — покашлял Скорик и руки с прутом показал. — Мне бы того, распутаться... Пацаны пошутили...

Баба посмотрела на скованные руки — слова не сказала, пошла себе обратно за занавеску.

Ювелир же взялся за прут своими сухими лапками и вдруг — Сенька обомлел — растянул железное кольцо. Не до конца, но все же запястья вытащить хватило. Ай да Ашотик!

Пока Скорик вольными руками рассовывал по карманам бумажки с гриненниками, Самшитов всё на прут глядел. Покапал на него из какого-то пузырька, поскрёб. Повернул концом, стекляшку наставил — и ну давай лысину платочком тереть.

— Откуда это у вас? — спрашивает, и голос дрожит.

Так тебе и расскажи. Сенька “откуда-откуда, дала одна паскуда” не стал ему говорить, потому что хороший человек и выручил.

Сказал вежливо:

— Откуда надо.

И хотел уж идти. Нужно было подумать, что с нежданным богатством делать.

Но тут хозяин возьми и брякни:

— Сколько вы за это хотите?

Шутник! За железный мусор? Однако голос у Самшитова дрожал нешуточно.

— Невероятно! — затормозил он, надраивая прут мокрой тряпичкой. — Я, конечно, читал про талерный пруток, но не думал, что сохранился второй такой... И клеймо Яузского двора!

Сенька глядел, как чёрный прут из-под тряпочки вылезает белым, блестящим.

— Чего? — спросил.

Ювелир смотрел на него, будто что-то прикидывал.

— Хотите... два веса? Как за талер, а?

— Чего?

— Даже три, — быстро поправился Самшитов. Положил прут на весы. — Здесь без малого пять фунтов серебра. Пускай будет ровно пять. — Защёлкал костяшками на счетах. — Это сто пятнадцать рублей двадцать копеек. А я вам дам втрое, триста сорок шесть рублей. Даже триста пятьдесят. Нет, даже четыреста! Целых четыреста рублей, а? Что скажете?

Сенька сказал:

— Чего?

— В лавке я столько денег не держу, нужно в банк сходить. — Выбежал из-за прилавка, стал в глаза заглядывать. — Вы должны меня понять, с таким товаром много работы. Пока найдёшь правильного покупателя. Нумизматы — публика особенная.

— Чего?

— Нумизматы — это коллекционеры, которые собирают денежные знаки, — объяснил хозяин, но сильно понятней от этого не стало.

Сенька этих самых коллекционеров, что обожают деньги собирать, на своём веку много видел — того же дядьку Зот Ларионыча, к примеру.

— А сколько их, которым эти пруты нужны? — спросил Скорик, всё ещё подозревая подвох.

— В Москве, пожалуй, человек двадцать. В Питере вдвое. Если за границу отправить — там тоже многие купить захотят. — Тут носатый вдруг дёрнулся. — Вы сказали “пруты”? У вас что, ещё такие есть? И вы готовы продать?

— По четыре сотни? — спросил Сенька, сглотнув. Вспомнил, сколько там, в подземелье, этого хвороста навалено.

— Да-да. Сколько их у вас?

Скорик осторожно сказал:

— Штучек пять добыть можно бы.

— Пять талерных прутов?! Когда вы можете мне их принести?

Здесь нужно было солидность показать, не мельтешишь. Трудное, мол, дело. Не всякий справится.

Помолчал и важно так:

— Часа через два, никак не ранее.

— Ниночка! — заорал ювелир жене. — Закрывай магазин! Я в банк!

Заморская птица крику обрадовалась, давай тоже базарить:

— Я в банк! Я в банк! Я в банк!

Под эти вопли Сенька и вышел.

Рукой об стенку опёрся — так шатало.

Ничего себе прутики, по четыреста рублей штука! Прямо сон какой-то.

* * *

Перед тем как под землю лезть, в Хохловский заглянул. Посмотреть, не забидели ли Ташку те двое, ну и вообще — спасибо сказать.

Слава Богу, не тронули.

Ташка сидела там же, на кровати, волоса расчёсывала — ей скоро было на работу. Рожу уже размалевала: брови с ресницами чёрные, щеки красные, в ушах стеклянные серёжки.

— Этот, косоглазый, велел тебе кланяться, — рассказала Ташка, накручивая виски на палочку, чтоб кучерявились. — А красавчик сказал, что будет за тобой приглядывать.

Очень это Сеньке не понравилось. Как так “приглядывать”? Грозится, что ли? Ничего, теперь Скорика хрен достанешь, хрен найдёшь. Другая теперь у него жизнь пойдёт.

— Ты вот чего, — сказал он Ташке. — Ты брось это. Нечего тебе больше улицу утюжить. Заберу я тебя с Хитровки, вместе будем жить. У меня теперь денег знаешь сколько.

Ташка сначала обрадовалась, даже по комнате закружилась. Потом остановилась.

— А мамку?

— Ладно, — вздохнул Скорик, поглядев на пьяную бабу — поныне не проспалась. — Возьму и мамку.

Ташка ещё немножко потанцевала и говорит:

— Нет, нельзя её отсюда. Пускай помрёт спокойно. Ей уже недолго осталось. Вот помрёт, тогда заберёшь меня.

И ни в какую. Сенька ей все хрусты, что от ювелира получил, отдал. Чего жадничать? Скоро у него денег сколько хочешь будет.

Теперь нужно было в Ероху попасть, откуда к сокровищу лаз.

* * *

Из дверей ночлежки как раз убитых выносили. Бросили на телегу два рогожных куля побольше, один поменьше и ещё один совсем маленький.

Народ стоял, глазел. Некоторые крестились.

Вышли трое: чиновник в очках, пристав Солнцев и ещё бородатый дядька с фотографическим ящиком на треноге.

Пристав с чиновником поручкался, фотографу просто кивнул.

— Иннокентий Романович, оперативную информацию прошу сообщать мне незамедлительно, — наказал очкастый, усаживаясь в пролётку. — Без вашей хитровской агентуры не сдвинемся.

— Всенепременно, — кивнул пристав, тронув подкрученный усишко.

Пробор у него сиял — ослепнуть можно. Видный был мужчина, ничего не скажешь, хоть и гад смердячий — про то вся Хитровка знала.

— И постарайтесь как-нибудь репортёров того... поменьше распалять. Без живописных подробностей. И так звону будет... — Чиновник безнадёжно махнул рукой.

— Само собой. Не беспокойтесь, Христиан Карлович, — Солнцев вытер лоб белейшим платочком, снова надел фуражку.

Пролётка укатила.

— Будников! — позвал пристав. — Ерошенко! Где вы там?

Из тёмной ямы поднялись ещё двое: Будочник и хозяин ночлежки, знаменитый Афанасий Лукич Ерошенко. Большой человек, золотая голова. Сам из хитрованцев, начинал половым в трактире, после взрослое до кабатчика, само собой и сламом приторговывал, а ныне почётный гражданин, кресты у него, медали, к губернатору-генералу христосоваться ездит. Ночлежек этих у него три, ещё винная торговля, лабазы. Одно слово — миллионщик.

— Скоро газетчики прирысят, — сказал им полковник, усмехаясь. — Всё рассказать, всюду пускать, место преступления показать. Да не вздумайте кровь замывать. А на вопросы про ход следствия не отвечать, ко мне отправляйте.

Скорик смотрел на пристава, диву давался. Вот ведь бесстыжий, гнида. Сам очкастому этому вон чего обещал, а сам вон что. И людей, что рядом

стоят, ему не совестно. Хотя они для него, надо думать, и не люди совсем.

Пристава на Хитровке не уважали. Слова не держит, беспардонничает, жаден без меры. Прежние тоже были нумизматы, но Иннокентий Романыч всех переплюнул. Берёшь с притонов, где мамзельки, навар — бери, святое дело, но ещё не бывало такого, чтоб пристав сам лахудр пользовал, не брезговал. Выбирал, конечное дело, какие подороже, десятирублевых, и чтоб девушке за труды заплатить или там подарок сделать — никогда. Ещё и псов своих легавых угощал. Хуже не было для лахудры, чтоб в Третий Мясницкий на “разговение” попасть. Возьмут ни за что, посадят в “курятник” и кобелят все кому не лень. Ходили “деды” к Будочнику, просили, не дозволит ли господина полковника порезать или каменюку на него обронить, не до смерти, конечно, а чтоб в разум вошёл. Будочник не дал. Потерпите, сказал. Их высокоблагородие недавно появился и недолго у нас продержится. Высоко метит, карьеру делает.

Делать нечего — терпели.

Солнцев сказал Ерошенке:

— С вас, Афанасий Лукич, штраф. Извольте мне тысячонку представить за непорядок в заведении. У нас с вами уговор.

Ерошенко ничего — степенно поклонился.

— И с тебя штраф, Будников. Я в твои дела не лезу, но за Хитровку ты передо мной в ответе. В три дня мне убийцу не найдёшь — двести рублей заплатишь.

Будочник тоже ни слова не ответил, только седым усом повёл.

Подкатила полковничья коляска. Сел его высокоблагородие, пальцем всем погрозил: “У, рвань!” — и поехал себе. Это он для важности, мог бы и пешком пройтись, ходу до участка всего ничего.

— Не сомневайтесь, Иван Федотыч, — сказал Ерошенко. — Ваш штраф на мне, покрою-с.

— Я те дам, “покрою-с”, — рыкнул на него Будочник. — Ты от меня, Афонька, двумя катыками не отделаешься. Мало я тебе, вору, спускал!

Вот он какой, Будочник. Ерошенко хоть весь крестами увешайся, хоть до смерти князя-губернатора зацелуй, а всё одно для Будочника вором Афонькой останется.

* * *

Слизил в подземелье куда ловчей, чем в первый раз. Одолжил в “Каторге” под залог картузса масляную лампу — дорогу светить — и до

каморы быстро дошёл. По часам мене десяти минут.

Первым делом принял серебряные прутья считать. Их тут было таскать не перетаскать. Насчитал у одной стены сто, а даже до половины не дошёл. Упнул весь.

Ещё нашёл подошву от сапога, ветхую, кожаную, крысами обгрызанную. Покидал камни и кирпич из обвалившейся двери, хотел посмотреть, что за нею. Бросил — надоело.

Так умаялся, что взял не пять прутьев — четыре. Хватит с Самшитова, да и тащить тяжело, в каждом фунтов по пять весу.

На обратном пути, у самой ювелирной лавки, когда Сенька уже протянул руку к двери, сзади свистнули — по-особенному, по-хитровски, и ещё филин заухал: уху-уху!

Повернулся — на углу Петровериги пацаны трутся: Проха, Михейка Филин и Данька Косой. Вот незадача.

Делать нечего, подошёл.

Проха говорит:

— А сказывали, замели тебя.

Косой спросил:

— Ты чё это железяки таскаешь?

Михейка же, виновато помигав, попросил:

— Не серчай, что я тебя китайцу этому выдал. Очень уж напужался, как он всех молотить стал. Китайцы — они знаешь какие.

— Баба себя напужала, когда ежа рожала, — проворчал Сенька, но без большой злости. — Навешать бы тебе за паскудство по харе, да некогда, дела.

Проха ему ехидно так:

— Какие у тя, Скорик, дела? Был ты деловой, да весь вышел.

Знают уже, что от Князя сбежал, понял Сенька.

— Да вот, нанялся армяшке решётку на окна ставить. Видали, пруты железные?

— В ювелирной лавке? — протянул Проха и прищурился. — Так-так. Да ты ешё хитрей, чем я думал. Ты с кем теперь, а? С китайцем этим? Решили армяшку подломить? Ловко!

— Я сам по себе, — буркнул Сенька.

Проха не поверил. Отвёл в сторонку, руку на плечо положил, зашептал:

— Не хошь — не говори. Только знай: ищет тебя Князь. Порезать грозится.

Шепнул — и отбежал, присвистнул насмешливо:

— Пакедова, фартовый.

И днули с пацанами вниз по переулку.

В чем Прохина надсмешка была, Сенька понял, когда увидал, что Килькины серебряные часы, прицепленные к порточному ремню, пропали. Вот он, подлюка, чего обниматься-то полез!

Но из-за часов расстроился не сильно. Часы что — им красная цена четвертной, а вот что Князь направо-налево про него, Скорика, грозится, из-за этого приуныл. Поосторожней теперь надо будет по Хитровке-то. В оба глядеть.

Когда входил в лавку под попугайское приветствие, был мрачен. Не про деньги думал, а про Князев нож.

Хряпнул на стойку прутья.

— Четыре принёс — больше нету.

А когда, пять минут спустя, снова на Маросейку выходил, про Князя и думать забыл.

За пазухой, ближе к сердцу, лежали сумасшедшие деньги — четыре петруши, пятисотенных кредитных билета, каких Сенька прежде и в глаза не видывал.

Щупал их, хрусткие, через рубаху, пытался сообразить: каково это — в большом богатстве жить?

Как Сеньке жилось в богатстве

История первая. Про лиху беду начало

Оказалось — трудно.

На Лубянской площади, где извозчики поят из фонтана лошадей, Сеньке тоже пить захотелось — кваску, или сбитня, или оранжаду. И брюхо тоже забурчало. Сколько можно не жрамши ходить? Со вчерашнего утра маковой росинки во рту не было. Чай не схимник какой.

Тут-то и началась трудность.

У обычного человека всякие деньги имеются: и рубли, и гривенники с полтинниками. А у богатея Сеньки одни пятисотенные. Это ведь ни в трактире зайти, ни извозчика взять. Кто ж столько сдачи даст? Да ещё если ты во всем хитровском шике: в рубахе навыпуск, сапогах-гармошке, фартовом картузе взалом.

Эх, надо было у ювелира хоть одного “петрушу” мелкими брать, не то пропадёшь с голодухи, как царь из сказки, про которого когда-то в училище рассказывали: до чего тот царь ни касался, всё в золото превращалось, и поесть-попить ему, убогому, при таком богачестве не было никакой мочивозможности.

Пошёл Скорик назад, на Маросейку. Сунулся в лавку — заперто. Один попугай Левончик за стеклом сидит, глаза таращит и орёт чего-то, снаружи не разберёшь.

Ясное дело: закрыл Ашот Ашотыч торговлю, побежал по этим, как их, лекционерам-нумизматам, настоящим делом заниматься — серебряные прутья продавать.

К Ташке податься? Из денег, что подарил, часть назад отобрать?

Во-первых, она уж, поди, улицу утюжит. А во-вторых, стыдно. Бусы подарил — отобрал. Деньги дал — и снова назад. Нет уж, самому нужно выкручиваться.

Спереть чего на рынке, пока не закрылся?

Раньше, хоть бы ещё нынче утром, запросто утырил бы Сенька с прилавка в Обжорном ряду какую-никакую снедь, не задумался бы. Но воровать можно, когда тебе терять нечего и в душе лихость. Если бояться — точно попадёшься. А как не бояться, когда за пазухой хрустит да пошуршивает?

Ужасно кушать хотелось, хоть вой. Ну что за издевательство над человеком? Две тыщи в кармане, а бублика копеечного не укупишь!

Так Сенька на жизненное коварство разобиделся, что ногой топнул, картуз оземь шмякнул, и слезы сами собой потекли — да не в два ручья, как в присказке говорится, во все четыре.

Стоит у фонаря, ревёт — дурак-дураком.

Вдруг голос, детский:

— Глаша, Глаша, гляди — большой мальчик, а плачет!

С рынка шёл малый пацанёнок, в матроске. С ним румяная баба — нянька ему или кто, с корзинкой в руке. Видно, пошла за покупками на базар, и барлонок за ней увязался.

Баба говорит:

— Раз плачет, стало быть, горе у него. Кушать хочет.

И шлёт Сеньке в упавший картуз монетку — пятиалтынный.

Скорик, как на монетку эту поглядел, ещё пуще разревелся. Совсем обидно стало.

Вдруг звяк — ещё монетка, пятак медный. Старушка в платочке кинула. Перекрестила Сеньку, дальше пошла.

Он милостыньку подобрал, хотел сразу за пирогами-калачами дунуть, но образумился. Ну сунет в брюхо пару-тройку калачей, а дальше что? Вот бы рублика три-четыре насобирать, чтоб хоть пиджачишко прикупить. Может, тогда и “петрушу” разменять можно будет.

Сел на корточки, стал глаза кулаками тереть — уже не от сердца, а для жалости. И что вы думаете? Жалел плакальщика народ христианский. Часу Сенька не просидел — целую горку медяков набросали. Если в точности сказать, рупль с четвертаком.

Сидел себе, хныкал, рассуждал в философическом смысле: когда гроша за душой не было, и то не христорадничал, а тут на тебе. Вот она, богатейская планида. И в Евангелии про это же сказано, что люди, у которых богатство, они-то самые нищие и есть.

Вдруг Сеньку по кобчику хрюнули, больно. Обернулся, а сзади калека на костыле, и давай орать:

— Ну, волки! Ну, шакалы! На чужое-то! Моё место, испокон веку моё! Чайку попить не отайдёшь! Отдавай, чего насобирал, ворюга, не то наших кликну!

И костылём, костылём.

Подхватил Скорик картуз, чуть добычу не рассыпал. Отбежал от греха, не стал связываться. Нищие, они такие — и до смерти прибить могут. У них своё общество и свои законы.

Шёл по Воскресенской площади, соображал, как поумнее руль с четвертаком потратить.

И было Сеньке озарение.

Из “Большой Московской гостиницы”, где у входа всегда важный швейцар торчит, выскочил парнишка-рассыльный в курточке с золотыми буквами БМГ, в фуражке с золотой же кокардой. В кулаке у парнишки была зажата трёшница — не иначе, постоялец велел чего-нибудь купить.

Скорик рассыльного догнал, сторговал тужурку и фуражку на полчаса в наём. В задаток ссыпал всю мелочь, что на рынке наклянчил. Обещал, когда вернётся, ещё два раза постольку.

И бегом в “Русско-азиатский банк”.

Сунул в окошко пятисотенную, попросил скороговоркой — вроде некогда ему:

— Поменяйте на четыре “катеньки”, пятую сотню мелкими. Так постоялец заказал.

Кассир только уважительно головой покачал:

— Ишь, какое вам доверие, большемосковским.

— Так уж себя поставили, — с достоинством ответил Сенька.

Банковский служитель номер купюры по какой-то бумажке сверил — и выдал всё в точности, как было прошено.

Ну, а после, когда Скорик в Александровском пассаже приоделся по-чистому, да в парикмахерской “Паризье” на модный манер остригся, богатая жизнь малость легче пошла.

История вторая. Про жизнь в свете, дома и при дворе

Средства вполне дозволяли в той же “Большой Московской” поселиться, и Сенька уж было к самым дверям подошёл, но поглядел на электрические фонари, на ковры, на львиные морды по-над наличниками и заробел. Оно конечно, наряд у Сеньки теперь был барский и в новёхоньком чемодане лежало много дорогого барахла, ненадёваного, но ведь гостиничные швейцары с лакеями народ ушлый, враз под шевиотом и шёлком хитровскую дворняжку разглядят. Вон там у них за стойкой какой генерал в золотых еполетах сидит. Чего ему сказать-то? “Желаю нумер самый что ни на есть отличный”? А он скажет: “Куды прёшься, со свинячьим рылом в калашный ряд”? И как прилично подойти? Здороваться с ним надо либо как? А шапку сымать? Может, просто приподнять, как

господа друг дружке на улице делают? Потом ещё им, гостиничным, вроде на чай подают. Как этакому важному сунешь-то? И сколько? Ну как попрёт взашей, не посмотрит на парижскую причёску?

Мялся-мялся у дверей, но так и не насмелился.

Зато впал в задумчивость. Выходило, что богатство — штуковина непростая, тоже своей науки требует.

* * *

Жильё-то Сенька, конечно, сыскал — чай Москва, не Сибирь. Сел в Театральном проезде на лихача, спросил, где способнее обустроиться приезжему человеку, чтоб прилично было, ну и доставил его извозчик с ветерком в нумера мадам Борисенко на Трубной.

Комната была чудо какая замечательная, никогда ещё Скорик в таких не живывал. Большенная, с белыми занавесочками, кровать с блестящими шарами, на кровати перина пуховая. Утром обещали самовар с пышками, вечером, коли пожелаешь, ужин. Прислуга всю уборку делала, в колидоре тебе и рукомойня, и нужник — не такой, конечно, как у Смерти, но тоже чистый, хоть сиди газету читай. Одно слово, царские хоромы. Плата, правда, тоже немалая, тридцать пять целковых в месяц. По хитровскому, где за пятак noctуют, — сумасшедшая дороговизна, а если в кармане без малого две тыщи, ничего, можно.

Обустроился Скорик, на обновы полюбовался, в полированный шкаф их разложил-повесил и сел к окну, на площадь глядеть и думу думать — как дальше на свете проживать.

Известно: всяк человек чужой доле завидует, а от своей нос воротит. Вот Сенька всю жизнь о богатстве мечтал, хоть сердцем и знал, что никогда не будет у него никакого богатства. Однако Господь, Он всё видит, каждое моление слышит. Другое дело — каждое ли исполнит. На то у Него, Всевышнего, свои резоны, невнятные смертным человекам. Один хромой калика из тех, что по миру ходят, говорил как-то в чайной: самое тяжкое испытание у Господа, когда Он все твои желания поисполнит. Накося, мечтатель, подавись. Погляди, многого ль алкал, и чего, раб Божий, теперь алкать будешь?

Тож и с Сенькой вышло. Сказал ему Бог: “Хотел земных сокровищ, Сенька? Вот те сокровища. Ну и чего теперь?”

Без денег жить тухло, спору нет, но и с богатством тоже не чистый мёд.

Ладно, нажрался Сенька от пуза, пирожных одних в кондитерской восемь штук засобачил (брюхо после них так и крутит), приоделся, красивым жильём обзавёлся, а дальше-то что? Какие у вас, Семён Трифоныч, будут дальнейшие мечтания?

Однако в философской печальности, вызванной не иначе как теми же пирожными, Скорик пребывал не очень долго, потому что мечтания обрисовались сами собой, числом два: земное и небесное.

Земное было про то, как из большого богатства ещё большее сделать. Раз Скориком нарекли, не спи, шевели мозгой.

Дураку понятно: если весь серебряный хвост, что в подземелье лежит, наружу выволочь, его кроме как на вес не купят. Где столько нумизматов взять, по одному на каждый прут?

Ладно, прикинем, сколько это — если на вес. Прутов этих там... Черт их знает. Штук пятьсот, не меньше. В каждом по пять фунтов серебра, так? Это будет две с половиной тыщи фунтов, так? Ашот Ашотыч говорил, золотник серебра нынче по 24 копейки. В фунте 96 золотников. Две с половиной тыщи помножить на 96 золотников да на 24 копейки — это будет...

Закряхтел, сел на бумажке столбиком умножать, как в коммерческом когда-то учили. Да недолго учили-то, и позабылось с отвычки — так и не сложилась цифирь.

Попробовал по-другому, проще. Самшитов говорил, что чистого серебра в пруте на 115 рублей. За пятьсот прутов это... тыщ пятьдесят, что ли, получается. Или пятьсот?

Погоди, погоди, остудил себя Скорик. Ашот Ашотыч за прут по четыреста рублей дал и, надо думать, себе не в убыток. Нумизматам своим он, может, по тыще перепродаст.

Раз эти палки почерневшие в такой цене, хорошо бы самому поторговать, без Самшитова. Дело, конечно, непростое. Для начала много чего вызнать да уразуметь придётся. Перво-наперво про настоящую цену. Обслужить всех московских покупальщиков. Потом питерских. А там, может, и до заграничных добраться. Попридержать нужно прутья, втюхивать их дуракам этим, которые готовы дороже серебряного весу платить, по штучке. А уж потом, когда дурни досыта наедятся, можно прочий хвост на переплавку продать.

От таких купеческих мыслей Сенька весь вспотел. Сколько мозгов-то надо на этакую коммерцию! Впервые пожалел, что наукам не выучился. Барышей будущих, и тех толком не сочтёшь.

А значит что?

Правильно. Догонять нужно. Хамское обличье из себя повытравить, культурному разговору научиться, арифметике-чистописанию, а ещё хорошо бы по-иностранныму сколько-нисколько наблатыкаться, на случай если придётся в Европах торговать.

От мыслей дух перехватило.

И это ещё только земное мечтание, не главное. От второго, небесного, у Сеньки вовсе голова закружилась.

То есть, оно, если вдуматься, тоже было земное, может, даже поземней первого, но грело не голову, где мозги, а сердце, где душа. Хотя животу и прочим частям Сенькиной натуры от этого мечтания тоже сделалось жарко.

Это раньше он был огрызок, щенок и Смерти не пара, а теперь он, если не сплоховать, может, первым московским богачом станет. И тогда, мечталось Скорику, он все эти огромадные тыщи ей под ноги кинет, спасёт её от Князя с Упырём, от марафетной хвори вылечит и увезёт далеко-далеко — в Тверь (говорят, хороший город) или ещё куда. А то вовсе в Париж.

Это ничего, что она старше. У него тоже скоро на щеках из пуха усы-борода вырастут, и он в настоящий возраст войдёт. Ещё можно, как у Эраста Петровича, седины на висках подрисовать — а чего, авантажно.

Только когда они со Смертью венчаться поедут, надо подале от набережной, где можно в воду свалиться и потонуть. Бережёного Бог бережёт.

Вот уже Сенька и свадьбу представлял, и пир в ресторане “Эрмитаж”, а сам понимал: одними деньгами тут не обойтись. Были у Смерти кавалеры-полюбовники при больших тыщах, не в диковинку ей. И подарками её не улестишь. Нужно сначала из серого воробышки белым соколом воспарить, а потом уж можно и к этакой лебеди подлетать.

И опять поворачивало на воспитание и культурность, без которых соколом нипочём не станешь, хоть бы и при богатстве.

На площади — из окна видать — книжная лавка. Сенька сходил туда, купил умную книжку под названием “Жизнь в свете, дома и при дворе”: как себя поставить в приличном обществе, чтоб в тычки не погнали.

Стал читать — в испарину кинуло. Матушки-светы, каких премудростей там только не было! Как кому кланяться, как бабам, то есть дамам, ручку целовать, как говорить комплименты, как когда одеваться, как входить в комнату и как выходить. Это жизнь целую учись — всего не упомнишь!

“Нельзя являться с визитом раньше двух часов и позже пяти-шести, — шевелил губами и ерошил французскую куафюру Сенька. — До двух вы рискуете застать хозяев дома за домашними занятиями или за

туалетом; позже можно показаться навязывающимся на обед”.

Или ещё так: “*Приехав с визитом и не застав хозяев дома, благовоспитанный человек оставляет карточку, загнутую широко с левого бока кверху; при визите по случаю смерти или иного печального случая карточку загибают с правого бока вниз, слегка надорвав сгиб*”.

Ёлки-иголки!

Но страшней всего было читать про одёжу. Бедному хорошо: всего одна рубаха и портки — и нечего голову ломать. А богатому ужас что за морока. Когда надевать пиджак, когда сюртук, когда фрак; когда съывать перчатки, когда нет; чего должно быть в клеточку, чего в полосочку, а что может быть в цветочек. Да ещё и не все цвета у них, культурных, друг к другу подходят!

Трудней всего выходило со шляпами — Сенька для памяти даже стал записывать.

Стало быть, так. В конторе, магазине или гостинице шляпу снимают, только если хозяева и приказчики тоже с непокрытыми головами (эх, тогда, в “Большой Московской” бы знать). Выходя из гостей, шляпу надевать надо не на пороге, а за порогом. В омнибусе или экипаже шляпы не снимать вовсе, даже в присутствии дам. Когда пришёл с визитом, шляпу держишь в руке, а ежели ты во фраке, то цилиндр должен быть не простой, а с пружинкой. Когда сел, шляпу можно положить на стул, а если нет свободного стула, то на пол, но только, упаси Боже, не на стол.

Тут Скорику стало шляпу жалко — ведь на полу она испачкается. Посмотрел на красовавшееся посреди стола канотье (двенадцать с полтиной). Ага, на пол. Щас!

Утомившись учиться светскому обхождению, снова рассматривал обновы. Сюртучок верблюжьего камлота (девятнадцать девяносто), две жилеточки белого и серого пике (червонец пара), панталоны в черно-серую полоску (пятнадцать), брюки на штрипках (девять девяносто), штиблеты с пуговками (двенадцать) и ещё одни, лаковые (отвалил за них двадцать пять, но зато заглядение). Ещё зеркальце на серебряной ручке, помада в золочёной баночке — кок смазывать, чтоб не вис. Дольше всего любовался перламутровым перочинным ножиком. Восемь лезвий, шило, даже зубная ковырьлка и ногтевистка!

Насладившись, читал полезную книгу дальше.

К ужину Сенька вышел, как положено по этикету, в сюртуке, потому что “простой жакет за столом позволителен лишь в кругу своей семьи”.

В столовой прилично поклонился, сказал по-французски “Бон суар”, шляпу, так и быть, положил на пол, однако вниз все-таки постелил

прихваченную из комнаты салфетку.

Столующихся у вдовы Борисенко было с десяток. Они уставились во все глаза на благовоспитанного человека, некоторые поздоровались, прочие так покивали. В сюртуке не было ни одного, а толстый, кучерявый, что сидел рядом с Сенькой, вовсе ужинал в одной рубашке с подтяжками. Он оказался студент Межевого института, по имени Жорж, с чердака, где комнаты по двенадцати рублей.

Сеньку хозяйка представила мосье Скориковым, московским негоциантом, хотя он, когда сговаривался про комнату, назывался иначе — торговым человеком. “Негоциант”, конечно, звучало куда лучше.

Жорж этот сразу пристал: как это, мол, в таком юном возрасте и уже коммерцией занимаетесь, да что за коммерция, да про папеньку-маменьку. Когда сладкое подали (“десерт” называется) студент шёпотом три рубля занять попросил.

Три рубля ему за здорово живёшь Скорик, конечно, не дал и на вопросы отвечал туманно, однако из пройдошистого Жоржа, кажется, можно было извлечь пользу.

На одной книжке много не научишься. Учитель нужен, вот что.

Отвёл Жоржа в сторонку и стал врать: мол, купеческий сын, при тятеньке в лавке состоял, некогда учиться было. Теперь вот батька помер, всё своё богатство наследнику завещал, а что он, Семён Скориков, в жизни кроме прилавка видел? Нашёлся бы добрый человек, поучил уму-разуму, культурности, французскому языку и ещё всякому разному, так можно было бы за ту науку хорошие деньги заплатить.

Студент слушал внимательно, всё понимал с полуслова. Сразу столковались об уроках. Как Жорж услыхал, что Сенька будет за учение по рублю в час платить, сразу объявил: в институт ходить не станет и готов хоть весь день быть в его, Семёна Трифоныча, полном распоряжении.

Сговорились так: час в день правописанию и красивому почерку учиться; час французскому; час арифметике; в обед и в ужин хорошим манерам; вечером поведению в свете. Из-за оптового подряда Сенька себе скидку сторговал: четыре рубля в день за всё про всё. Оба остались довольны.

Начали прямо после ужина — со светского поведения. Поехали в балет. Фрак для Сеньки наняли за два рубля у соседа-музыканта.

В театре Скорик сидел смирно, не вертелся, хотя на сцену, где скакали мужики в тесных подштанниках, смотреть скоро наскучило. Потом, когда выбежали девки в прозрачных юбках, пошло поживей, но больно уж музыка была кислая. Если б Жорж не взял в раздевалке увеличительные

стекла (“бинокль” называются), совсем скучно бы было. А так Сенька разглядывал всё подряд. Сначала танцорок и ихние ляжки, потом кто вокруг залы в золочёных ящиках сидел, а после уж что придётся — например, бородавку на лысине у музыкантского начальника, который оркестру палочкой грозил, чтоб стройней играли. Когда все *аплодировали*, Сенька бинокль брал под мышку и тоже хлопал, ещё погромче прочих.

За семь рублей просиживать три часа в колючих воротничках — это мало кому понравится. Спросил у Жоржа: что, мол, богатые каждый вечер в театр потеть ходят? Тот успокоил: сказал, можно раз в неделю. Ну, это ещё ничего, повеселел Сенька. Вроде как по воскресеньям обедню стоять, кто Бога боится.

Из балета поехали в бордель (так по-культурному шалавник называется), учиться культурному обхождению с дамами.

Там Сенька сильно стеснялся ламп с шёлковыми абажурами и мягких кушеток на пружинном подпрыгне. Мамзель Лоретта, которую ему на колени усадили, была тётка дебелая, собой рыхлая, пахла сладкой пудрой. Сеньку называла “пусей” и “котиком”, потом повела в комнату и стала всякие штуки выделявать, про какие Сенька даже от Прохи не слыхивал.

Однако стыдно было, что свет горел, и вообще куда ей, Лореттке этой, кошке жирной, до Смерти.

Тьфу!

После ещё долго учился шампанское пить: кладёшь в него клубничину, даёшь ей малость пообыкнуться, размокнуть и губами вылавливаешь. Потом выдуваешь пузырчатое пойло до дна, и по новой.

* * *

Утром, конечно, головой маялся, хуже чем от казённого вина. Но это пока Жорж не заглянул.

Жорж посмотрел на страдания ученика, языком поцокал, сразу послал слугу за шампанским и паштетом. Позавтракали прямо у Сеньки на кровати: он лёжа, студент сидя. Паштет мазали на белые булки, вино пили из горлышка.

Полегчало.

Сейчас французским занимаемся, а в обед поедем укреплять знания во французский ресторан, сказал Жорж и облизнул толстые губы.

А ничего, расслабленно думал Сенька. Глаза боятся, а руки делают. Ко всему человек обвыкается. Можно, можно жить и в богачестве.

История третья. Про брата Ванечку

Про две большие мечты думать было приятно — воображать, как оно всё устроится с любовью и с бесчтным богатством. Однако и при нынешнем, пока ёшё не столь великому богатству сделалась доступна одна мечта, раньше казавшаяся несбыточной — появиться во всей красе перед братом Ванькой.

Тоже, конечно, без подготовки не нагрянешь: здрасьте, я ваш старший брат, барскую одежду напялил, а сам трущоба трущобой, ни слова покультурному. Вдруг забрезгует Ванятка неучем?

Однако для мальца все-таки можно было обойтись и малой наукой.

С первого же дня Сенька уговорился с Жоржем — пускай тот при разговоре поправляет неправильные слова. Чтоб студент не ленился, ему была объявлена награда: по пятаку за каждую поправку.

Ну, тот и рад стараться. Чуть не через слово: “Нет, Семён Трифоныч, так в культурном обществе не говорят: *колидор*, нужно *коридор*” — и крестик на особой бумажке чирк. После, на уроке арифметики, Скорик сам же эти крестики на 5 перемножил. Первого сентября 1900 года погорел на восемнадцать рублей семьдесят пять копеек — и это ёшё жадничал лишний раз слово сказать. Начнёт по-писаному: “А вот думается мне, что...” — и затыкается.

Закряхтел Скорик от такой суммы, потребовал с пятака на копейку перейти.

Второго сентября отмусолил, в смысле отсчитал, четыре рубля тридцать пять копеек.

Третьего сентября три двенадцать.

К чётвёртому сентября малость наблатыкался, то есть *немного* освоился, хватило рубля с гравенником, а пятого и вовсе обошёлся девяноста копейками.

Тут Сенька решил, что хватит с Ваньки, пора. Теперь он с *отменной лёгкостью* мог минут пять, а то и десять излагать свои мысли гладко, памятью-то Бог не обидел.

По светскому этикету полагалось сначала судье Кувшинникову по почте письмо отписать: так, мол, и так, желаю нанести Вашей милости визит на предмет посещения обожаемого братца Ванятки. Но терпежу не хватило.

С утра пораньше Сенька пошёл к дантисту золотой зуб вставлять, а Жоржа снарядил в Тёплые Станы, предупредить, что пополудни, если его милости будет благоугодно, пожалует и сам Семён Трифонович Скориков, состоятельный коммерсант — вроде как с родственным визитом. Жорж нарядился в студенческий мундир, выкупил форменную фуражку из ломбарда, укатил.

Сенька сильно нервничал (то есть тряс гузкой). Ну как судья скажет: на кой бес моему приёмному сыну такая собачья родня.

Но ничего, обошлось. Жорж вернулся важный, объявил: ожидают к трём. Стало быть, не к обеду, сообразил Сенька, но не обиделся, а наоборот обрадовался, потому что пока ещё плохо умел со столовыми ножами управляться и отличать мясные вилки от рыбных с салатными.

В книге было прописано: “При визите детям обязательно должно дарить конфеты в бонбоньерке”, и Скорик не пожидился, то есть не поспустился — купил на Мясницкой у Перлова самолучшую жестянку шоколаду, в виде горбатого конька из сказки.

Нанял лаковую пролётку за пятерик, но, поскольку от нервов выехал сильно раньше нужного, сначала шёл по улице пешком, коляска следом ехала.

Старался вышагивать, как в учебнике предписано:

“На улице легко отличить хорошо воспитанного, утончённого человека. Походка его всегда ровна и размеренна, шаг уверен. Он идёт прямо, не оглядываясь, и только изредка останавливается на мгновение перед магазинами, обыкновенно придерживается правой стороны дороги и не смотрит ни к верху, ни к низу, а прямо за несколько шагов перед собой”.

Прошёл так через Мясницкую, Лубянку, Театральный. А как шея от прямоглядения задубела, сел в пролётку.

До Коньковских яблоневых садов катили неспешно, а перед самыми Тёплыми Станами седок велел разогнаться, чтобы подъехать к судейскому дому лихо, при всей наглядности, с шиком.

И в дом вошёл в лучшем виде: сказал бон жур, умеренно поклонился.

Судья Кувшинников ответил: “Здравствуй, Семён Скориков”, пригласил в кресло.

Сенька сел скромно, учтиво. Как положено в начале визита, снял одну правую перчатку, шляпу на пол положил, без салфетки. И только потом, благополучно всё исполнив, рассмотрел судью как следует.

А постарел-таки Ипполит Иванович, вблизи видно было. Усы подковой стали совсем седые. Длинные, ниже ушей, волоса тоже побелели. А взор остался такой же, как прежде: чёрный, въедливый.

Про судью Кувшинникова покойный тятечка говорил, что умней его человека на всем свете не сыщешь, а потому, поглядев в строгие глаза Ипполита Иваныча, Сенька решил, что будет держать себя не по светскому этикету, а по настоящей учтивости, которой его обучила не книжка и не Жорж, а некая особа (про неё сказ впереди, не всё в одну кучу-то валить).

Особа эта говорила, что настоящая учтивость стоит не на вежливых словах, а на искреннем уважении: уважай всякого человека по всей силе возможности, пока этот человек тебе не показал, что твоего уважения не достоин.

Сенька долго думал про такое диковинное суждение и в конце концов прояснил себе так: лучше плохого человека улестить, чем хорошего обидеть, ведь так?

Вот и судье он не стал светские разговоры про приятно прохладную погоду говорить, а сказал со всей честностью, поклонившись:

— Спасибо, что брата моего, сироту, как родного воспитываете и ни в чем не притесняете. А ещё больше вам за это Иисус Христос благодарность сделает.

Судья тоже слегка поклонился, ответил, что не на чем, что ему с супругой от Вани на старости лет одно счастье и удовольствие. Мальчик он живой, сердцем нежный и при больших способностях.

Ладно. Помолчали.

Сенька ломал голову — как бы повернуть разговор в том смысле, что, мол, нельзя ли братца повидать. От напряжения шмыгнул носом, но тут же вспомнил, что “шумное втягивание носовой жидкости в обществе совершенно недопустимо” и скорей выхватил платок — сморкаться.

Судья вдруг сказал:

— Твой знакомый, что утром заезжал, назвал тебя “состоятельным коммерсантом”...

Скорик приосанился, да ненадолго, потому что дальше Ипполит Иванович заговорил вот как:

— С каких это барышей лаковая пролётка, фрак с цилиндром? Я ведь с опекуном твоим, Зотом Ларионовичем Пузыревым в переписке состою. Все эти годы раз в квартал перевожу по сто рублей на твоё содержание, отчёты получаю. Пузырев писал, что учиться в гимназии ты не пожелал, что нрава ты дикого и неблагодарного, якшаешься со всяkim отребьем, а в последнем письме сообщил, что ты вовсе стал вор и бандит.

От неожиданности Сенька вскочил и крикнул — глупо, конечно, лучше бы промолчать:

— Я вор? А он меня ловил?

— Поймают, Сеня, поздно будет.

— В гимназию я не схотел?! Сто рублей ему на меня полагалось?!

Сенька задохнулся. Ну и подлец же дяденька Зот Ларионыч! Мало ему было витрину расколотить, надо было весь дом его поганый запалить!

— Так откуда богатство-то? — спросил судья. — Я должен это знать, прежде чем допущу тебя к Ване. Может, фрак твой из крови скроен и слезами сшит.

— Не из какой не из крови. Клад я нашёл, старинный, — пробурчал Сенька, сам понимая — кто ж в такое поверит.

Прокатился с шиком, угостил братика конфектами, как же. Прав был тятка: умный человек судья.

Однако Кувшинников оказался ещё того умней. Не почмокал недоверчиво губами, головой не покачал. Спросил спокойно:

— Что за клад? Откуда?

— Откуда-откуда, из хитровских подвалов, — хмуро ответил Сенька. — Пруты там были серебряные, с клеймом. Пять штук. Больших денег стоят.

— Что за клеймо?

— Почём мне знать. Две буквы: “Я” и “Д”.

Судья долго смотрел на Скорика, молчал. Потом поднялся.

— Пойдём-ка в библиотеку.

Это была такая комната, вся сверху донизу заставленная книгами. Если все книжки, какие Сенька в жизни видел, вместе сложить, и то, пожалуй, меньше бы вышло.

Кувшинников на лесенку влез, достал с полки толстый том. Там же, наверху, принял листать.

— Эге, — сказал.

Потом:

— Так-так.

Взглянул на Сеньку поверх очков и спрашивает:

— Стало быть, “ЯД”? А где ты нашёл клад? Часом не в Серебряниках?

— Не. На Хитровке, вот вам крест, — забожился Скорик.

Ипполит Иванович с лесенки быстро слез, книгу на стол положил, а сам к картине подошёл, что висела на стене. Чудная была картина, похожая на рисунок разделки свиных туш, какой Сенька видел в немецкой мясной лавке.

— Гляди. Это карта Москвы. Вот Хитровка, а вот Серебряники, переулок и набережная. От Хитровки рукой подать.

Сенька подошёл, посмотрел. На всякий случай сказал: “Оно конечно”.

А судья на него и не глядит, сам себе бормочет:

— Ну разумеется! Там в семнадцатом столетии располагалась Серебряническая слобода, где при Яузском денежном дворе жили мастера-серебряники. Как твои прутья выглядят? Вот так?

Потащил Скорика к столу, где книга. Там, на картинке, Сенька увидел прут — точь-в-точь такой же, какие ювелиру продал. И крупно, на торце, буквы “МД”.

— “МД” — это “Монетный двор”, — объяснил Кувшинников. — Его ещё называли Новым Монетным или Английским. В старину на Руси своего серебра было мало, поэтому закупали европейские монеты, иоахимстальеры, ефимки. — Сенька на знакомое слово опять кивнул, но уже с толком. — Талеры переплавляли в такие вот серебряные пруты, потом из них волокли проволоку, резали её на кусочки, плющили и чеканили копейки, так называемые “чешуйки”. Копеек сохранилось много, талеров и того больше, а заготовочных серебряных прутов, разумеется, не осталось вовсе — ведь они все в работу шли.

— А этот как же? — показал Скорик на картинку.

— Молодец, — похвалил судья. — Соображаешь. Правильно, Скориков. Всего один прут только до нашего времени и дошёл, отлитый на Новом Монетном.

Сенька задумался.

— Чего ж они, серебряники эти, заготовки побросали, денег из них не начеканили?

Кувшинников развёл руками:

— Загадка. — Глаза у него теперь были не въедливые, сощуренные, а блестящие и широкие, будто судья сильно чему-то удивился или обрадовался. — Хотя не такая уж и загадка, если немного порассуждать. Воровства в семнадцатом веке было много, ещё больше, чем сейчас. Вот, тут в энциклопедии написано... — Он повёл пальцем по строчкам. — “За так называемое “угорание” серебра мастеров нещадно били кнутом, иным вырывали ноздри, однако от дела не отставляли, ибо серебряников не хватало”. Видно, мало били, если кто-то тайник из “угоревшего” серебра устроил. А может, не мастеров нужно было драть — дьяков.

Дальше судья стал про себя читать. Вдруг присвистнул. Сеньке удивительно стало: такой человек, а свистит.

— Сеня, ты за сколько свои прутья продал?

Скорик врать не стал. Кувшинников сам богатый, завидовать не будет.

— По четыре катеньки.

— А тут написано, что этот прут пятьдесят лет назад на аукционе в Лондоне был приобретён коллекционером-нумизматом за 700 фунтов стерлингов. Это семь тысяч рублей, а по нынешним деньгам, пожалуй, и поболе.

У Сеньки рот сам собой разинулся. Ай да Ашот Ашотыч, ай да змей!

— Видишь, Скориков, если б ты свой клад казне отдал...

— Да с какой радости казне-то? — вскинулся Сенька, ещё не оправившись от ювелирова вероломства.

— Так ведь серебро у казны было украдено. Хоть и двести лет назад, но государство-то все то же, Российское. За передачу властям клада, согласно закону, нашедшему положена третья стоимости. Выходит, ты за свои пять прутьев получил бы не две тысячи, а во много раз больше. К тому же был бы честный человек, родине помощник.

Сенька хотел было сказать, что дело поправимое, да вовремя прикусил язык. Тут надо было сначала крепко думать, а потом уж болтать. Кувшинников-то остёр, враз всё выпытает.

И без того судья на Скорика хитро смотрел, со значением.

— Ладно, — говорит. — Ты подумай, куда прутья нести, если вдруг ещё найдёшь: барыге своему или в казну. Надумаешь по закону, я тебе подскажу, как и куда. В газетах про твой патриотизм напишут.

— Про что?

— Про то, что ты не только своё брюхо, но и родину любишь, вот про что.

Насчёт родины Сенька как-то не очень уверен был. Где она, его родина? Сухаревка, что ли, или Хитровка? За что их, вшивых, любить?

А Кувшинников опять удивил. Вздохнул:

— Так, значит, врал мне Зот про гимназию-то? И про остальное, поди, тоже... Ладно, за это он мне ответит.

И вдруг запечалился, сивую голову повесил.

— Ты, — говорит, — прости меня, Сеня, что я от своей совести ста рублями откупался. Мне бы хоть раз самому съездить да проверить, как ты там проживаешь. Хотел ведь я, когда твой отец умер, вас обоих к себе взять, да Пузырёв намертво вцепился — родной племянник, мол, сестрина кровь. А ему, выходит, только деньги нужны были.

Здесь у Сеньки мысли от огромных тыщ совсем в другую сторону развернуло: как бы оно у него всё сложилось, если б после родительской смерти не к Зот Ларионычу, а к судье Кувшинникову попасть?

Да чего там, что попусту убиваться.
Спросил хмуро:
— Не пустите с Ванькой повидаться?
Судья не сразу ответил.
— Что ж, говорил ты со мной честно, да и парень ты непропащий.
Повидайтесь. Почему не повидаться? У Вани как раз урок французского закончился. Иди в детскую. Горничная тебя проводит.

* * *

А про братишку Сенька волновался зря.
Тому когда сказали, что старший брат пришёл — выбежал навстречу и как прыгнет на шею.

— Ага! Это я, я ему письмо написал! Ты, Сеня, точь-в-точь такой, как я воображал! — И поправился. — Не воображал, а запомнил. Нисколько не изменился. Даже галстук тот же!

Вот врать здоров, оголец.

Дал ему Скорик бонбоньерку, ещё подарки: бинокль и перочинный ножик — тот самый, с ногтечисткой. Ванька про брата, конечно, сразу позабыл, принял лезвиями щёлкать, но это ничего, пацанёнок он и есть пацанёнок.

С судьёй Сенька попрощался за руку, обещался через пару деньков снова быть.

Обратно шёл пешком чуть не до самой Калужской, думу думал.

Семь тысяч за прут! Если цену не сбивать, можно на одном прутике целый год по-княжески жировать.

Помозговать надо было, очень сильно думалкой поворочать.

Как учила некая, один раз уже поминавшаяся особа: “Кто маро думар — много пракар”.

История четвёртая. Про японского человека Масу

Это в смысле: “Кто мало думал — много плакал”. Особа эта русскую букву “л” выговорить не умела, потому что в ихнем наречии такой буквы в заводе нет. Как-то живут, обходятся.

Стало быть, пора рассказать про второго Сенькиного учителя, не

нанятого, а самозваного.

Дело вышло так.

В тот самый день, когда Скорик после балета и борделя утром сначала болел, а после лечился шампанским и паштетом, был к нему нежданный гость.

Постучали в дверь — тихо так, прилично. Думал — хозяйка.

Открывает — а там вчерашний японец.

Сенька напугался — страх. Сейчас как пойдёт метелить: чего, мол, удрал, расчёта за покражу не получив?

Японец поздоровался и спрашивает:

— Тево дрозись?

Сенька ему честно: так, мол, и так, дрожу, потому что за жизнь свою опасаюсь. Не порешили бы вы меня, дяденька.

Тот удивился:

— Ты съто, Сенька-кун, смерчи боисься?

— Кто ж её не боится, — ответил на грозный вопрос Скорик и к окну попятился. Мысль возникла — не сигануть ли из окошка. Высоконочко было, а то беспременно прыгнул бы.

Японец давай дальше страшать — вроде ещё пуще удивился:

— А сево её бояться? Ты ведь нотью спать не боисься?

От такого нехорошего намёка Сенька уж и высоты страшиться перестал. Допятился до окна, створку отворил, как бы душно ему. Теперь, если убивать начнут, одним скачком можно было на подоконник взлететь.

— Так то спать, — сказал он. — Знаешь, что утром проснёшься.

— И посре смерчи проснесься. Бери хоросё дзир — хоросё и проснесься.

Тоже ещё поп выискался! Будет, басурман, крещёному человеку про рай и воскресенье проповедовать!

От близости окна Скорик чуток осмелел.

— Как вы меня сыскали-то? — спросил. — Слово, что ль, какое волшебное знаете?

— Дзнаю. “Рубрь” надзывается. Дар марьсику рубрь, он дза тобой победзяр.

— Какому мальчику? — опешил Сенька.

Маса показал рукой на аршин от пола:

— Маренькому. Сопривому. Но бегает быстро.

Японец оглядел комнату, одобрительно кивнул:

— Мородец, Сенька-кун, съто тут посерирся. От Асеурова переурка бризко.

Это он про Ащеулов переулок, где они с Эраст Петровичем квартируют, сообразил Сенька. В самом деле недалёко.

— Чего вам от меня надо? Ведь бусы-то я вернул, — сказал он жалобно.

— Господзин верер, — строго, даже торжественно пояснил Маса и вдруг вздохнул. — А есё ты, Сенька-кун, на меня походз. Я когда быр такой, как ты, тодзе быр маренъкий бандзит. Есри бы госпозина не встретир, вырос бы борьсёй бандзит. Он — мой учитель. А я буду твой учитель.

— Есть у меня уже учитель, — проворчал Скорик, перестав бояться, что станут до смерти убивать...

— Чему учит? — оживился Маса. (То есть на самом-то деле он спросил *тему утит*, но Сенька уже научился разбирать его чудной говор и с пониманием не затруднился.)

— Ну, там хорошим манерам...

Коротышка ужасно обрадовался. Это самое главное, говорит. И объяснил про настоящую учтивость, которая происходит от искреннего уважения ко всякому человеку.

В разгар объяснения над Сенькиной головой зажужжала муха. Он её, настырную, гнал-гнал, никак не отставала. А японец как подпрыгнет, махнул рукой — и поймал насекомую в кулак.

От такой его ревности Скорик взвизгнул, на корточки присел, да ещё голову руками прикрыл — думал, прибить хочет.

Маса посмотрел на скорчившегося Сеньку, спрашивает: ты что это?

— Напужался, что стукнете.

— Зачем?

Сенька ему со всхлипом:

— Сироту всякий обидеть может.

Японец наставительно поднял палец: нужно, говорит, уметь себя защищать. Особенно, если сирота.

— Как это — “уметь”?

Тот смеётся. А кто, мол, говорил, что ему учитель не нужен? Хочешь научу, как себя защищать?

Скорик вспомнил, как азиатец руками-ногами машет, и тоже так захотел.

— Неплохо бы, — говорит. — Да, чай, трудно этак ловко людей мордовать?

Маса подошёл к окну, выпустил пойманную муху на волю.

Нет, говорит, мордовать нетрудно. Трудно научиться Пути.

(Это Сенька потом понял, что он слово “Путь” как бы с большой буквы сказал, а тогда не смикитил.)

— А? — спросил. — Чему научиться?

Стал ему Маса про Путь объяснять. Что, мол, жизнь — это дорога от рождения к смерти и что дорогу эту нужно пройти правильно, не то дойти до дойдёшь, никуда не денешься, только потом не обессудь. Если будешь ползать по той дороге по-мушиному, быть тебе в следующем рождении мухой, как та, что жужжала. Будешь гадом в пыли пресмыкаться, гадом и народишься.

Сенька подумал, что это он для образности сказал, к слову. Не знал ещё, что Маса про мух и гадюк взаправду говорил, во всей натуральности.

— А как правильно идти по Пути? — спросил Скорик.

Оказалось, умучаешься, если по-правильному.

Перво-наперво, как проснёшься с утра, нужно говорить себе: “Сегодня меня ждёт смерть” — и не пугаться. И все время о ней, смерти, думать. Потому не знаешь ведь, когда твой путь закончится, и нужно завсегда наготове быть.

(Сенька зажмурил глаза, сказал заветные слова и нисколько не напугался, потому что увидел перед собой Смерть, ужас до чего собой прекрасную. Чего ж бояться, если она тебя ждёт?)

Но дальше хуже пошло.

Врать нельзя, без дела валяться нельзя, на перине пуховой спать нельзя (вообще нежить себя ни-ни), а надо себя всяко терзать, испытывать, закалять и в чёрном теле держать.

Послушал Сенька, послушал, и чего-то не захотелось ему этакую страсть выносить. И без того набедовался, наголодался, только-только к настоящей жизни принюхиваться стал.

— А попроще нельзя, без Пути? Чтоб только драться?

Маса от такого вопроса расстроился, головой покачал. Можно, говорит, но тигра тебе тогда не победить, только шакала.

— Ничего, с меня и шакала хватит, — заявил Скорик. — Тигра можно сторонкой обойти, ноги не отвалятся.

Японец ещё пуще закручинился. Ладно, говорит, ленивая душа, бес с тобой. Снимай курточку, будет тебе первый урок.

И стал учить, как правильно падать, если с размаху по морде бьют.

Сенька науку освоил быстро: исправно падал, через голову перекувыркивался и на ноги вставал, а сам всё ждал, когда же Маса спрашивать станет, откуда у хитровского голодранца богатство.

Нет, не стал.

Однако перед тем, как уйти, сказал:

— Господин спрашивает, не хочешь ли ты, Сенька-кун, ему что-нибудь рассказать? Нет? Тогда саёнара.

Это по-ихнему “пакеда”.

* * *

И повадился в нумера ходить, дня не пропускал.

Спустится Сенька к завтраку — а Маса уже сидит у самовара, весь красный от выпитого чаю, и хозяйка ему варенья подкладывает. Строгая мадам Борисенко от него вся размякала, румянилась. И чем только он её взял?

Потом начинался урок японской гимнастики. Честно сказать, Маса больше языком трепал, чем настоящему делу учил. Видно, задумал-таки, хитрый азиат, Скорика на свой Путь уволовочь.

К примеру, обучал он Сеньку с крыши сарая вниз сигать. Сенька наверх-то залез, а прыгнуть не может, боязно. Это ж две сажени! Ноги переломаешь.

Маса рядом стоит, поучает. Это тебе, говорит, страх мешает. Ты гони его, он человеку без надобности. Только препятствует голове и телу своё дело делать. Ты ведь знаешь, как прыгать, я тебе показал и объяснил. Так не бойся, голова и тело всё сами исполнят, если страх мешать не будет.

Легко сказать!

— Вы чего, сенсей, вовсе ничего на свете не боитесь? — Это его так называть нужно было, “сенсей”. “Учитель”, значит. — Я думал, таких людей не бывает, кто совсем страха не знает.

Редко, говорит, но бывают. Господин, например, ничего не боится. А я одной вещи очень даже боюсь.

Сеньке от этих слов полегче стало.

— Чего? Мертвяков?

Нет, говорит. Боюсь, что господин или какой-нибудь хороший человек мне доверится, а я не оправдаю, подведу. Из-за своей глупости или невластных мне обстоятельств. Ужас, говорит, как этого страшусь. Глупость — ладно, она с годами проходит. А вот над обстоятельствами один Буцу властен.

— Кто властен? — спросил Скорик.

Маса пальцем наверх показал:

— Буцу.

— А-а, Иисус Христос.

Японец кивнул. Поэтому, говорит, я Ему каждый день молюсь. Вот так.

Зажмурил глазёнки, ладоши сложил и загнусавил чего-то. Сам же после и перевёл: “На Буцу уповаю, но и сам сделаю всё, что могу”. Такая у них японская молитва.

Сенька фыркнул:

— Тоже мне японская. На Бога надейся, а сам не плошай.

* * *

Потом ещё однажды заговорили о божественном.

Мух у Сеньки в комнате много развелось. Видно, на крошки налетали — очень уж он лют был пирожные со сдобами трескать.

Маса мух не любил. Ловил их, как кот лапой, но чтобы раздавить или прихлопнуть — ни в жизнь. Всегда к окошку поднесёт, выпустит.

Скорик раз спросил:

— Чего вы, сенсей, с ними церемонии разводите? Шлёпнули бы, и дело с концом.

Тот в ответ: никого не нужно убивать, если можно не убивать.

— Даже муух?

Какая разница, говорит. Душа она и есть душа. Сейчас это муха, а если будет себя в своей мушиной жизни правильно вести, то в следующем рождении, может, человеком станет. К примеру, таким, как ты.

Сенька обиделся:

— Чего это, как я? Может, как вы?

Маса сказал на это, а если будешь хамить учителю, то сам после смерти станешь мухой. Ну-ка, говорит, уворачивайся. И как врежет Сеньке по роже — попробуй-ка, увернись. Только в ушах зазвенело.

Так вот и обучался японской премудрости.

И всякий раз в конце диковинный учитель спрашивал одно и то же: не желаешь ли, мол, чего господину передать.

Сенька глазами хлопал, отмалчивался. Не мог в толк взять, о чём спрос. Про клад? Или про что другое?

Маса, впрочем, никакой докуки не делал. Подождёт с полминутки, кивнёт, скажет своё “саёнара” и идёт себе восвояси.

* * *

Дни летели быстро. Урок гимнастики, урок грамматики, урок арифметики, урок французского, закрепление пройденного во французском ресторане, потом променад по магазинам, снова урок — изящных манер, с Жоржем, а там уж пора ужинать и на практикум. “Практикумом” Жорж называл вояжи в оперетку, танц-зал, бордель или какое другое светское место.

По утрам Сенька дрых допоздна, а встанешь, умоешься — уже и Маса тут как тут. И снова-здраво, чисто белка в колесе.

Пару раз, заместо практикума, заглядывал на Хитровку к Ташке — после темна и, конечно, не в сюртуке-фраке, а в прежней одежде. Как говорил Жорж, *апашем*.

Делал это так.

Нанимал на Трубе степенного, трезвого извозчика и непременно чтобы с номером, ехал на нем до Лубянки. Переодевался прямо в коляске, спустив пониже кожух.

На Лубянке, уже преобразовавшись из негоцианта в апаша, оставлял ваньку дожидаться. Плохо ли — сиди себе, спи, по целковому за час. Только уговор: с козел сходить ни-ни, не то вмиг одежду с сиденья попрут.

Упрямая Ташка денег, какие Сенька давал, не брала. И от своих шалавских занятий отходить не желала, потому что гордая. Деньги, говорила, от мужчины кто берет — не за работу, а просто так? Либо маруха, либо супруга. В марухи я к тебе идти не могу, как мы есть с тобой товарищи. В супруги тоже не согласная, из-за французки (не то чтоб Сенька её жениться звал — это уж Ташка сама себе напридумывала). Сама сколько требуется заработка. А не хватит, вот тогда ты мне поможешь, как товарищ.

Однако от Сенькиных рассказов про его новую светскую жизнь заиграла в Ташке амбиция или, иначе сказать, честолюбие. Захотелось ей тоже карьеру произвестить — из уличной мамзельки в “гимназистки” подняться, тем более и возраст был подходящий.

“Гимназистки” улицу не утюжат, клиентов им сводня поставляет. Работа против уличной лахудры не в пример легче и денежней.

Тут первое — платье гимназическое купить, с пелериной, но на это у Ташки отложено было.

Сводня знакомая тоже имелась. Баба честная, надёжная, за клиентов всего треть себе берет. А клиентов, которые гимназисток ценят, полным-полно. Люди всё солидные, в возрасте, при деньгах.

Одна только была трудность, такая же, как у Сеньки: культурыности не хватало, бонтонно разговор повести. Ведь клиент, он верить должен, что к

нему настоящую гимназистку привели, а не мамзельку переодетую.

Потому Ташка тоже стала французские слова и всякие изящные выражения учить. Сочинила себе жизненную историю, стала Сеньке рассказывать. Пока ёщё не твёрдо все слова помнила, подглядывала по бумажке. Вроде как она гимназистка четвёртого класса, инспектор её совратил, цветок невинности сорвал, всяким кунштюкам обучил, и вот теперь она тайком от маман и папан зарабатывает себе женским местом на конфеты и пирожные.

Скорик историю послушал и как человек со светским опытом предложил кое-что подправить. Особенно же советовал в рассказ материщу не вставлять.

Ташка такому совету удивилась — она, хитровская порода, разницы между приличными и похабными выражениями понимать не умела. Тогда он ей все матюгальные слова на листочек написал, чтобы запомнила. Ташка обхватила голову руками, стала повторять: ..., ..., ..., ... Сенькины уши, приобыкшиеся к культурному, или ёщё лучше сказать, цивилизованныму разговору, от этого прямо вяли.

А ёщё Ташка с прошлой Сенькиной дачи купила себе щенка пуделя. Был он маленький, беленький, шебутной и нескованно нюхастый. Сеньку со второго раза уже узнал, обрадовался, запрыгал. Все Ташкины цветы различал и на каждый тявкал по-особенному. Имя ему было Помпоний, попросту Помпошка.

Когда Скорик к Ташке во второй раз заглянул — рассказать, как с братишкой повидался, и новый зуб показать (ну и ёщё одно дело было, денежное), товарка на него накинулась:

— Чего припёрся? Ты что, не видал, у меня на окне красный мак? Забыл, что это значит? Я ж тебя учила! Опасность, вот что! Не ходи ты на Хитровку, Князь тебя ищет!

Сенька и сам про это знал, да как было не прийти? Из-за светской учёбы и особенно Жоржевых практикумов от двух тысяч у него уже едва четверть оставалась. В неделю полторы тысячи спустил, вот какой с ним приключился дезастр. Срочно требовалось упрочить финансовый статут.

Слазил в подземелье, упрочил.

Хотел взять два прута, но передумал — хватит и одного. Нечего попусту шикователь, денежка счёт любит. Пора жить по правильному принципу.

Ювелир Ашот Ашотыч Сеньке как родному обрадовался. Сторожить лавку доверил попугаю, повёл гостя за шторку, коньяком-бисквитом угостили.

Скорик бисквит сжевал, коньячку тоже отхлебнул, самым культурным манером, и только после предъявил ювелиру прут, но в руки не дал. Потребовал не четыреста рублей — тысячу. Согласится или нет?

Дал Самшитов тысячу, слова не сказал!

Стало быть, правда в книге судьи Кувшинникова написана, про настоящую-то цену.

Ювелир все подливал коньяку. Думал, напьётся хитровский недоумок, сболтнёт лишнее. Спросил, будут ли ещё прутья и когда.

Сенька ему хитро:

— По тысяче пруты закончились, один только и был. Вы меня, господин Самшитов, с заказчиком сведите, тогда, может, ещё появятся.

Поморгал Ашот Ашотыч чернильными глазами, посопел, однако понял — были дураки, да все вышли. А моя комиссия, спрашивает.

— Как положено — двадцать процентов.

Тот заволновался. Двадцать мало, говорит. Настоящих клиентов только я знаю, без меня вам на них не выйти. Надо тридцать процентов дать.

Поторговались, сошлись на двадцати пяти.

Оставил Скорик ювелиру адрес, куда в случае чего весточку послать, и пошёл, очень собой довольный.

Самшитов вслед:

— Так я могу надеяться, господин Скориков?

И попугай Левончик, хрипло:

— Господин Скориков! Господин Скориков!

* * *

Дошёл до извозчика, переоделся в приличный вид, но в пролёtkе не поехал, отправился домой пешком. Не шиковать — значит не шиковать. Лишний полтинник, конечно, трата не грандиозная, однако раз по принципу, значит, по принципу.

На углу Цветного бульвара обернулся — так, померещилось что-то.

Глядь — под фонарём фигура знакомая. Проха! От Хитровки следил, что ли?

Скорик к нему, ворюге, бросился, ухватил за грудки.

— Отдавай котлы, паскуда!

Сам-то уж почти неделю с новыми котлами ходил, золотыми, но то не Прохина печаль. Утырил у своего — отвечай.

— Красно нарядился, Скорик, — процедил Проха и высвободился

рывком. — А по харе, гнида, не хошь?

И руку в карман, а там, Сенька знал, свинчатка или чего похуже.

Тут свист, топот. Городовой несётся — защищать приличного юношу от шпаны.

Проха дёрнул вверх по Звонарному, в темноту.

То-то, пролетарий штопаный. Тут тебе не Хитровка, а чистый квартал. Ишь чего удумал — “по харе”.

Как Сенька стал любовником Смерти

Жадней всего из преподанных Масой уроков Сенька внимал самой главной из наук — как покорять женские сердца.

По этой части японец оказался дока и в смысле побалакать, и в смысле покобелиться. Нет, лучше будет так сказать: как в теории, так и в практике.

Сенька долго удивлялся, как это мадам Борисенко от кривоногового, щелеглазого млеет, такую симпатию ему оказывает. Раз вышел завтракать раньше положенного, когда другие постояльцы ещё не спустились — ух ты! Хозяйка у Масы на коленях сидит, толстую щеку ему нацеловывает, а он только жмурился. Увидела Скорика, ойкнула, раскраснелась, да из комнаты вон, будто девчонка какая. А самой-то, наверно, лет тридцать, если не больше.

Не выдержал, спросил — в тот же день, во время рекреации после утреннего мордобоя. Как, мол, вам, Маса-сенсей, такое от женщин счастье? Научите сироту, явите такую милость.

Ну, японец и прочёл целую лекцию, навроде той, куда Жорж однажды Сеньку в институт водил. Только говорил понятней, чем профессор, хоть сам и иностранный человек.

Если коротко пересказать, премудрость выходила такая.

Чтобы отворить женское сердце, нужно три ключа, учил Маса. Уверенность в себе, загадочность и подход. Первые два — это просто, потому что зависят только от тебя самого. Третье — труднее, потому что тут нужно понимать, какая перед тобой женщина. Это называется знание души, а по-научному психология.

Женщины, объяснил Маса, не все одинаковые. Делятся на две породы.

— Только на две? — поразился Сенька, который слушал очень внимательно и жалел лишь об одном — под рукой не было бумажки записать.

Только две, важно повторил сенсей. Те, которым в мужчине нужен папа, и те, которым нужен сын. Главное — правильно определить, женщина какой породы перед тобой, а это с непривычки непросто, потому что женщины любят притворяться. Зато если определил, всё остальное — пустяки. С женщиной из первой породы нужно быть папой: про жизнь её не расспрашивать и вообще поменьше разговаривать, являть собой отеческую строгость; с женщиной второй породы нужно делать печальные глаза, вздыхать и больше смотреть на небо, чтобы она поняла: без мамы ты

совсем пропадёшь.

Если же тебе от женщины не нужно души, а хватит одного лишь тела, продолжил далее учитель, тогда проще. Сенька торопливо воскликнул:

— Хватит-хватит!

В этом случае, пожал плечами Маса, слова вообще не нужны. Громко дыши, делай глазами вот так, на умные вопросы не отвечай. Душу свою не показывай. Иначе нечестно получится — тебе ведь от женщины души не нужно. Ты для неё должен быть не человек, а дзверуська.

— Кто? — не сразу понял Скорик. — А, зверушка.

Маса с удовольствием повторил звучное слово. Да, сказал, зверушка. Которая подбежит, понюхает под хвостом и сразу сверху залезает. От женщин все хотят, чтобы они стеснялись и целомудрие изображали, женщины от этого устают и скучают. А зверушку чего стесняться? Она ведь зверушка.

Долго ёщё сенсей про всякое такое поучал, и Сенька, хоть не записывал, но запомнил науку слово в слово.

А на следующий день как раз и подходящий практикум подвернулся.

Жорж позвал ехать в Сокольники на пикник (это когда едут в лес, а там на траве сидят и едят руками, по-простому). Сказал, позовёт с собой двух курсисток. За одной он давно ударяет, а вторая, сказал, в самый раз для тебя будет (они уж к тому времени на брудершафт выпили, на “ты” перешли, чтоб проще). Современная барышня, говорит, без предрассудков.

Сенька спрашивает, шалава, что ли?

— Не совсем, — уклончиво ответил Жорж. — Сам увидишь.

Сели в шарабан, поехали. Скоро Сеньке стало ясно: надул его студент. У самого-то девка пухленькая, разбитная, всё хохочет, а товарищу подсунул какую-то тарань сушёную, в очках, с поджатыми губами. Видно, нарочно подгадал, чтоб мымра эта не мешала ему за ейной подружкой ухлёстывать.

Пока ехали, очкастая тарабанила про непонятное: Ницше там, фигицше, Маркс-шмаркс.

Скорик не слушал, думал про своё. По Масиной науке выходило, что, если подъехать по-умному, с психологией, то любую бабу уделать можно, даже такую фрю. Как он там учил? Простые, говорил, любят галантность и мудрёные слова, а с образованными, наоборот, надо попроще и погрубее.

Попробовать что ли — за ради проверки?

Ну и попробовал.

Она спрашивает:

— Что вы, Семён, думаете о теории социальной эволюции?

А он — молчок, только усмехается.

Она занервничала, глазами захлопала. Вы, говорит, наверное, сторонник насильтственного преобразования общественных институтов? А он голову слегка наклонил и угол губы дюйма на полтора в сторону — вот и весь ответ.

В парке, когда Жорж свою хохотушку повёл на лодке катать (Сенькина-то не захотела, сказала, что у ней от воды головокружение), пришло время действовать.

От Скориковой загадочности барышня вовсе в раж впала — тараторит, тараторит, остановиться не может. Посреди длиннющей речи про каких-то Прудона и Бакунина он наклонился вперёд, обнял очкастую за костлявые плечи и крепко-крепко поцеловал в губы. Она только пискнула. Руками упёрлась в грудь — Сенька уж хотел отпустить, ведь не насильник какой. Был в полной готовности и по харе получить. С такими ручонками, чай, скулу не свернёт.

Упереться-то она упёрлась, однако не отпихнула. Сенька удивился, давай дальше целовать, а руками начал ей ребра щупать да пуговки сзади на платье расстёгивать: может, опомнится?

Курсистка забормотала:

— Вы что, Семён, вы что... А правду Жорж говорит, что вы... Ах, что вы делаете!.. Что вы пролетарий?

Сенька для большей зверообразности тихонько рыкнул и совсем обнаглел, руку под платье запустил, где расстёгнуто. Там у барышни сверху была голая спина, с торчащими позвонками, а ниже шёлковое бельё.

— Сумасшедший, — сказала курсистка, задыхаясь. Очки у неё сползли на сторону, глаза полузакрылись.

Сенька ещё с минуту руками по ней там-сям повозил, чтоб окончательно удостовериться в правильности Масиной теории, и отодвинулся. Больно костица, да и не для баловства затевалось, а для научного опыта, или, выражаясь культурно, эксперимента.

Когда из Сокольников обратно ехали, учёная девица рта не раскрывала — всё на Сеньку пялилась, будто ждала чего, а он про неё и думать забыл, такое в нем происходило потрясение.

Вот она, сила учения! Наука всё преодолеть может!

* * *

Назавтра ни свет ни заря поджидал Масу у входа.

Дождался, увлёк к себе в комнату, даже не дал чаю попить.

Попросил Христом-Богом: обучите, сенсей, как мне одну обожаемую особу сердечно завоевать.

Маса ничего, никакой насмешки над Сенькиной эмоцией не сделал. Велел подробно разобъяснить, что за особа. Скорик всё, что про Смерть знал, рассказал, а под конец дрожащим голосом спросил:

— Что, дядя Маса, никак невозможнo мне такую лебедь стрелой Амура сразить?

Учитель руки на животе сложил, почмокал губами. Отчего же, говорит, невозможно? Для настоящего кавалера всё возможно. И дальше сказал непонятное: “Смерчь-сан — женсина руны”. Оказалось, “женщина Луны”. Бывают, говорит, женщины Солнца и женщины Луны, такими уж на свет рождаются. Я, говорит, больше женщин Солнца люблю, но это дело вкуса. А к женщинам Луны, как твоя Смерть-сан, нужно, говорит, вот как подступать — и разъяснил Сеньке всё в доскональности, дай ему Господь доброго здоровьичка.

* * *

Вечером того же дня Сенька отправился к Смерти — искать своего счастья.

Поехал не как раньше собирался: при белом галстуке, с букетом хризантем, а снарядился по всей Масиной науке.

Надел старую рубашку, некогда Смертью заштопанную, да ещё и подмышку нарочно порвал. Купил на толчке стоптанные штиблетишки. На портки, совсем целые, пришил сверху заплату.

Поглядел на себя в зеркало — чуть сам не прослезился. Пожалел только, что накануне зуб вставил — щербатым вышло бы ещё жалостней. Но рассудил, что, если рот не разевать, золото сильно сверкать не будет.

Однако всё чистое было, стираное, и сам в баню сходил. Маса наказал: “Бедненько, но тистенько, грядзных кавареров они не рюбят”.

Слез с извозчика на углу Солянки, поднялся вверх по Яузскому бульвару. Постучал — громко, но сердчишко все равно шумней колотилось.

Смерть открыла опять без спросу, как прежде.

— А, — сказала. — Стриж прилетел. Давно тебя не видно было, заходи.

Сеньке показалось — рада, и на душе сразу немножко растиснулось.

Памятуя о зубе, рта не раскрывал, да сенсей и не велел без крайней нужды языком болтать. Полагалось глядеть чисто, доверчиво и мигать

почаще — и только.

Зашли в горницу, сели на диван, рядышком (это Сеньке тоже показалось добрым знаком).

Причёску ему на Неглинном сделали особенную, “мон-анж” называется: вроде растрёп растрёпом и прядка на лоб свисает, но пушисто, трогательно.

— Думала я про тебя, — сказала Смерть. — Жив ли? Не оголодал ли? Ты долго у меня не сиди. Неровен час кто Князю донесёт. Он, зверь, на тебя ярится.

Тут в самый раз было заготовленное сказать. Сенька на неё из-под льняной прядки посмотрел, вздохнул.

— Я с тобой попрощаться пришёл. Всё одно не сносить мне головы, найдут они меня и порежут. Пускай режут, нет моей мочи в ихних душегубствах участвовать. Противоречит это моим принципам.

Смерть только удивилась:

— Ты где это слов таких понабрался?

Ай, неправильно сказал. Не умничать надо, свою учёность показывать, а на жалость бить.

— Оголодал я, Смертушка, меж людей скитаться. — Скорик ресницами помигал — ну как слеза выкатит? — Воровать совестюсь, христарадничать зазорно. Ночи нынче холодные стали, осень уже. Дозволь обогреться, хлебца кусочек покушать и пойду я себе дальше.

Разжалобил самого себя — аж всхлипнул.

Вот это было правильно. У Смерти тоже глаза мокрым блеснули.

По голове его погладила, бросилась стол накрывать.

Сенька даром что сытый был (перед выходом пуляочки с артишоками навернул), но ситный с колбасой мял усердно и молоком хлюпал. Смерть сидела, подперев рукой щеку. Вздыхала.

— Чистый-то какой, — умилилась. — И рубашка свежая. Постирали кто?

— Кто мне постирает? Сам обхожусь, — лучисто поглядел на неё Сенька. — С вечера в речке рубаху с портами простиру, к утру высохнет. Зябко, конечно, голому, но надо себя блюсти. Ветшает только рубаха-то. Оно бы ничего, да вышивки твоей жалко. — Погладил ладонью нитяной цветок, закручинился. — Вишь, рубаха под мышкой лопнула.

Смерть, как тому и следовало, говорит:

— Снимай, зашью.

Снял.

Мамзель Лоретта, которая из практикума, говорила: плечики у вас,

кавалер, красивые, чисто сахарные, и кожица такая нежная, прямо съела бы. Вот Сенька свои сахарные плечи и развернул, а руками себя посиротлиней за бока обхватил.

Смерть иголкой мельтешит, а сама на Сенькину белизну поглядывает.

— Один только миг в моей злосчастной жизни и был, во всей судьбе моей горемычной, — тихо, проникновенно сказал Скорик. — Когда ты меня, сироту, поцеловала...

— Неужто? — изумилась Смерть, даже шить перестала. — Такое это для тебя счастье?

— И словами не обсказать, какое...

Она отложила рубаху.

— Господи, — говорит, — да давай я тебя ещё поцелую — не жалко.

Он зарозовелся весь (это уж естественным манером получилось).

— Ах, тогда и помереть не страшно...

Но руки пока держал при себе и глазами мигал не дерзко, а робко.

Смерть подошла к нему, наклонилась. Глаза ласковые, влажные. Погладила по шее, по плечу, и нежно так, по-доброму приложилась к Сенькиным губам.

Тут его будто в печку, в самое пламя, кинуло. Позабыл он про всю сенсеееву науку, рванулся вверх, навстречу Смерти, обнял её что было сил и давай целовать, а сам от горячности только вдыхает мятный, пьяный аромат её волос — ах, ах — и выдохнуть не может, жалко.

И случилось тут что-то, ей-богу случилось! Ненадолго, может, на несколько секундочек всего, налилось вдруг тело Смерти таким же ответным жаром, и поцелуй её из мягкого, материнского стал жадным, требовательным, твёрдым, а руки заметались по Сенькиной спине.

Но кончились невозможные секундочки — она расцепила Скориковы объятья, отшатнулась.

— Нет, — говорит, — нет. Ну тебя, чертёнок, не соблазняй. Чего нельзя, того нельзя.

Головой затряслася, будто отгоняла какую химеру (это так говорят, когда привидится небывальщина), ладонью себе по глазам провела — и стала всегдашая спокойная. Помотрела на Сеньку с лукавой улыбкой.

— Ух, змей, от горшка два вершка, а хитрющий. Наплачутся от тебя девушки.

А Скорик из печки-то ещё не вылез, не понял ещё, что всему конец, и сунулся к Смерти снова обнять. Она не отстранилась, но и не шевельнулась — это все равно было, как статую какую обнимать.

Вдруг сзади голос, с дрожанием:

— Ах вот ты с кем, сука!
Сенька обернулся и закоченел.

На пороге стоял Князь — рожа перекошена, глазищи сверкают. Ну да, дверь-то с улицы не заперта, вот и вошёл, а им не слыхать было.

— Кого в любовники взяла, паскуда! Кутёнка! Глистеныша! В надсмешку, что ли?!

Шагнул к помертвевшему Сеньке, схватил за шею, вверх рванул — пришлось на цыпки привстать.

— Убью, — шипит. — Башку сверну.

И ясно было — сейчас свернёт. Хорошо ещё, что недолго мучиться. А то начал бы, как тому барышнику, уши резать и в рот совать или, того хуже, глаза бы повыколол.

Сенька отвернулся, чтоб Князевой рожи не видать — и без того ужасно было. Решил, лучше в последний миг на Смерть посмотреть, пока душа из плоти не отлетела.

И увидал чудо-чудное, диво-дивное: как берет Смерть со стола крынку с недопитым молоком и с размаху бьёт ею фартового по макушке.

Князь удивился, Сеньку выпустил и на пол сел. За голову держится, меж пальцев кровь с молоком течёт.

Смерть крикнула:

— Что встал? Беги!

И рубаху недозашитую сует.

А Сенька не побежал. Кто-то другой, как бы второй Сенька, изнутри его, сказал:

— Айда со мной. Убьёт он тебя.

— Не убьёт, — ответила она, и так спокойно, что Сенька сразу поверил.

Князь морду повернул, глаза мутные, бешеные. Рванулся встать, покачнулся, ухватился за стол — не совсем ещё вошёл в разум, ноги плохо держали. Однако прохрипел:

— Москву переверну, а найду. Под землёй не спрячешься. Зубами жилы вытяну!

Так страшен был, что Скорик в голос заорал. Дунул со всех ног, с крыльца кубарем слетел и заметался: куда бежать-то, куда?

А туда, подсказал ему второй, внутренний Сенька, оказавшийся поумней и покрепче первого. Туда, куда Князь сказал: под землю. Как бы не пришлось из Москвы эмиграцию делать. Князь теперь и вправду не угомонится, пока сироту не изведёт.

Ну а коли так, нужно запастись деньгами.

* * *

Наведался в заветный подвал снова. Взял много, целых пять прутов. Решил, что торговаться с ювелиром не станет, отдаст по тысяче. Пускай радуется Ашот Ашотыч своей фортуне.

Только не довелось Самшитову попользоваться Сенькиной щедростью.

Когда Скорик вышел на Маросейку, то увидал перед ювелирной лавкой двух городовых, а внутри — через стеклянную витрину было видно — толпились синемундирные.

Вот те на. Доторговался Ашот Ашотыч казённым серебришком. Не иначе донёс на него кто-нибудь. А может, судья Кувшинников ещё востреялся, чем с виду. Разузнал, у кого из нумизматов появились яузские прутки, да расспросил, через кого приобретены — вот и вся недолга.

Это, положим, ничего, не так страшно. Адреса своего Сенька судье не оставлял. Где клад, кроме него самого тоже никто не знает.

Ищите, псы, ветра в поле.

Ай нет! Армяшке-то про нумера мадам Борисенко было сказано. Выдаст носатый, обязательно выдаст!

Не стал Сенька времени терять, светиться на нехорошем месте. Побежал извозчика брать.

Надо было из нумеров съезжать, пока не сцепали.

В экзистенции обрисовалась тенденция к ухудшению жизненных кондиций, или, попросту сказать, дела были хреновей некуда: и Князь на хвосте, и полиция, и прутья продать некому, однако Сенька сейчас пребывал в таком кураже, что всё ему казалось трын-трава.

Лошадка цокала копытами и помахивала хвостом, встречный ветер дотрепывал причёску “мон-анж”, и жизнь, несмотря ни на что, была замечательная, Сенька качался на сиденье пролётки совершенно счастливый.

Пускай недолго, считанные миги, но он был-таки любовником Смерти, почти что самым настоящим!

Как у Сеньки развязался язык

В тот же вечер Скорик поменял квартиру. Хотел с Жоржем попрощаться, да того носило где-то. Так и уехал по-английски, как последняя свинья. К извозчику его провожала одна мадам Борисенко, перенёсшая часть сердечной расположности к Масе и на его ученика. Со страхом спросила:

— А Масаил Мицуевич теперь что же, заходить не будут?

— Завтра с утра непременно появятся, — пообещал Сенька, ещё не решивший, будет ли извещать японца о смене местожительства. — Передайте, Семён Скориков благодарил за заботу и желал здравствовать.

Чтоб быть от Князя подальше, заехал к черту на кулички, аж за Пресню. Остановился в гостинице для железнодорожных служащих. Хорошее место: никто никого не знает, ночку человек переночевал и поехал себе дальше.

Заодно уж и имя поменял, для пущей конспирации, чтоб совсем концы в воду. Думал сначала называться как-нибудь обыкновенно, а после решил: уж менять, так на что-нибудь звучное, красивое, в тон новой жизни. Записался в книге постояльцев Аполлоном Секандровичем Шопенгауэром, коммивояжёром.

Ночью снилось всякое разное. То жаркое, сладострастное — про Смерть, то жуткое — как в окно Князь лезет с ножом в зубах, а он, Сенька, в одеяле запутался и из кровати вылезти не может.

Это ночью, а на рассвете Скорик проснулся от громкого стука в дверь.

Сел, за сердце схватился. Думал — Князь с Очком его сыскали. Хотел по трубе водосточной тикать в чем был, то есть считай вовсе без ничего, но из коридора донёсся голос Масы:

— Сенька-кун, дзиво отворяй!

Уф! Прямо не сказать, какое Сеньке от этого было облегчение. Даже не задумался, как японец его так быстро на новом месте нашёл.

Отодвинул засов, и в комнату быстро вошёл Маса, а за ним (вот это да) Эраст Петрович, собственной персоной. Оба хмурые, строгие.

Маса у стенки встал, а его господин взял Сеньку за плечи, повернул лицом к окну (свет был ещё ранний, сумеречный) и деловито сказал:

— Ну, Аполлон Секандрович, хватит д-дурака валять. Нет у меня больше времени возиться с вашей загадочной личностью. Рассказывайте всё, что знаете: и про убийство Синюхиных, и про убийство Самшитовых.

Этому нужно положить конец!

— Сам... Самшитовых?! — поперхнулся Скорик. — А я д-думал...

Его тоже в заикание повело — заразился, что ли?

— Одевайтесь, — приказал Эраст Петрович. — Едем.

И больше пока ничего объяснять не стал, вышел в коридор.

Натягивая брюки и рубашку, Сенька спросил сенсэя: — Как вы меня нашли-то?

— Номер проретки, — ответил тот коротко, и Сенька понял: мадам Борисенко запомнила номер извозчика, а тот рассказал, куда отвёз седока.

Вот тебе и конспирация, вот тебе и концы в воду.

— А куда едем?

— Смотреть место преступления.

О Господи, что за охота! Но перечить Сенька не решился. Эти силком, за шиворот поволокут — знаем, кушали.

Всю дорогу до Марсейки Сенька сильно нервничал, и чем дальше, тем больше. Так, выходит, не заарестовали Ашот Ашотыча? Порешили? Эраст Петрович сказал “Самшитовы” — это значит, супружницу тоже? Кто, грабители? А причём тут он, Сенька Скориков?

Полицейских перед лавкой не было, но на двери висела верёвка с печатью, а внутри горел свет. На улице пока было пусто, магазины ещё не открылись, а то бы обязательно народ столпился.

В дом вошли со двора, через чёрный ход. Там поджидал чиновник в синем мундире — тихий, неприметный, в очках.

— Как вы долго, — укорил он Эраста Петровича. — Я же просил... Протелефонировал вам в полночь, а сейчас половина шестого. Я рисую.

— Извините, Сергей Никифорович. Понадобилось разыскать важного свидетеля.

Хоть Сеньку и назвали “важным”, но не больно ему это понравилось. Чего это “свидетель”-то?

— Рассказывайте, — попросил Эраст Петрович чиновника. — Что удалось установить при первичном осмотре?

— Пожалуйте сюда, — поманил очкастый Сергей Никифорович. Прошли в комнаты. — Здесь, в задней части лавки, у ювелира было что-то вроде конторы. Жилые покой наверху. Однако туда преступник не поднимался, всё произошло здесь. — Он заглянул в блокнот. — Врач полагает, что Самшитову Нину Акоповну, сорока девяти лет, убили первой, ударив тяжёлым предметом в висок. Тело лежало вот здесь.

На полу у двери была нарисована мелом человечья фигура, не очень похоже, а сбоку темнело пятно. Кровь, догадался Сенька и содрогнулся.

— Самшитова Ашота Ашотовича, пятидесяти двух лет, преступник связал, усадил вот в это кресло. Как видите, всюду кровь: на изголовье, на подлокотниках, на полу. Причём и венозная, и артериальная, разной пульсационной упругости... Простите, Эраст Петрович, я невнятно пересказываю, плохо владею медицинской терминологией, — смутился чиновник. — Вы мне когда ещё пеняли, чтобы подучился, да новое начальство не требовало, вот руки-то и не дошли...

— Неважно, — перебил его Эраст Петрович. — Я понял: Самшитова перед смертью пытали. Резали ножом?

— Вероятно. Или же тыкали колющим предметом.

— Г-глаза?

— Что “глаза”?

— Глаза у трупов выколоты?

— А, вы про хитровские убийства... — Сергей Никифорович покачал головой. — Нет, глаза не выколоты, и вообще картина преступления несколько иная. Посему это расследование решено выделить в особое производство, отличное от дела о Хитровском Слепителе.

— Хитровский Слепитель? — поморщился Эраст Петрович. — Что за г-глупое название! Я думал, его употребляют только газетчики.

— Это пристав Третьего Мясницкого участка полковник Солнцев придумал. Репортёры так и ухватились, хотя, конечно, с грамматической точки зрения...

— Ладно, черт с ней, с грамматикой, — сказал Эраст Петрович, пройдясь по комнате. — Пройдём на второй этаж?

— Незачем. Совершенно очевидно, что убийца туда не поднимался.

— Убийца? Не убийцы? Установлено, что преступник б-был один?

— Видимо, так. Соседи показали, что Самшитов никогда не обслуживал и даже не пускал в лавку более одного посетителя, сразу запирал дверь. Очень боялся ограбления, ведь Хитровка близко.

— Следы г-грабежа?

— Никаких. Даже в лавке ничего не взято, хотя там в стеклянной витрине лежали кое-какие безделушки — гразда, невеликой ценности. Я же говорю: всё произошло в этой комнате.

Эраст Петрович покачал головой, вышел в лавку. Чиновник и Маса за ним. Сенька тоже, чтоб не оставаться одному в забрызганной кровью комнате.

— А это что? — показал Эраст Петрович на птичью клетку.

В ней, откинув хохластую башку, валялся попугай Левончик.

Сергей Никифорович пожал плечами:

— Попугай — птицы нервные, чувствительные к шуму. А тут, поди, криков и стонов было... Сердчишко не выдержало. Или, может, не покормили его вовремя.

— Дверца открыта. Да и... Э-э, гляди-ка, Маса. — Эраст Петрович взял трупик в руку, передал японцу.

Тот поцокал языком:

— Баську свернури. Убийство.

— Да, жалко эксперта не освидетельствовал, — хмыкнул полицейский — видно, решил, что азиат шутит, но Сенька-то знал: для сенселя душа она и есть душа, хоть человеческая, хоть птичья.

— Как понизился профессионализм московского сыска, — печально молвил Эраст Петрович. — Десять лет назад подобная небрежность была бы невообразима.

— И не говорите, — ещё горше вздохнул Сергей Никифорович. — Сейчас не то что при вас. Верите ли, никакого удовольствия от работы. Одной результативности требуют, а доказательность никого не заботит. О торжестве справедливости и вовсе говорить нечего. У начальства другие заботы. Между прочим, — понизил он голос, — я не стал по телефону... Ваше пребывание в Москве не составляет тайны. Я по случайности видел на столе у полцмейстера секретное предписание установить ваше местопребывание и организовать негласную слежку. Кто-то вас видел, узнал и донёс.

Эраст Петрович этому известию нисколько не расстроился, а даже, кажется, был польщён:

— Немудрено, меня в Москве, знают многие. И, видно, не забывают. Благодарю вас, Субботин. Я знаю, как вы рисковали, и ценю. П-прощайте.

Он пожал очкастому руку, а тот сконфуженно пробормотал:

— Ерунда. Вы бы все же поосторожней... Кто их знает, что у них на уме. Его высочество злопамятен.

У кого “у них” и что за “высочество”, Сенька не понял.

* * *

Из Самшитовского двора вышли переулком в Лубянский проезд, оттуда повернули к скверу.

У первой же скамейки Эраст Петрович жестом пригласил: присядем.

Сели. Сенька посерёдке, эти двое по бокам. Чисто арестант под конвоем.

— Ну-с, господин Шопенгауэр, — повернулся к нему Эраст Петрович. — Поговорим?

— А чего я-то? — пробурчал Скорик, предвидя нехорошее. — Я знать ничего не знаю.

— Дедукция доказывает обратное.

— Кто-кто? — обрадовался Сенька. — Я Дедукции вашей в глаза не видывал. Врёт она всё, стерва!

Эраст Петрович дёрнул углом рта.

— Эта дама, Скориков (давайте я уж лучше буду вас так называть), никогда не врёт. Помните серебряную копейку семнадцатого столетия, которую я нашёл в кармане убитого Синюхина? Разумеется, помните — вы тогда ещё подчёркнуто ею не заинтересовались. Откуда у нищего к-каляки этакая нумизматическая диковина? Это раз. Идём далее. На месте убийства вы, Скориков, старательно отворачивались, а то и зажмуривались, хотя, по Масиным наблюдениям, отсутствием любопытства не страдаете. Изумления и ужаса, естественных при подобном зрелище, тоже не проявляли. Согласитесь, странно. Это два. Далее. В тот день у вас в кармане, как и у Синюхина, позвякивало серебро, и довольно звонко. Судя по звуку, монеты были мелкие, каких в наши времена не чеканят. А в руке вы несли палку из чистого серебра, что совсем уж необычно. Откуда серебряные россыпи у вас, хитровского г-гавроша? Это три.

— Обзываешься, да? На “гэ” сироту ругаете? — набычился Сенька. — Грех вам. А ещё приличный господин.

Маса двинул его локтем в бок:

— Когда господзин говорит “это радз, это два, это три”, помаркивай. Дедукцию спугнёсь.

Скорик по сторонам оглянулся — никакой дамы вокруг не было. Кого спугивать-то? Однако на всякий случай язык прикусил. Это сенсей пока легонько локотком пихнул, а там может и посеръёзней шарахнуть.

Эраст Петрович продолжил, будто его и не перебивали:

— Хоть я и не собирался расследовать это преступление, потому что занят совсем д-другим делом, но ваше поведение меня заинтриговало, и я поручил Масе присмотреть за вами. Однако новое жестокое убийство, о котором мне нынче ночью сообщил мой давний сослуживец, изменило мои намерения. Я должен вмешаться в эту историю, потому что власти явно не в силах найти убийцу. Следствие даже не видит, что эти преступления — звенья одной цепи. Почему я так считаю, хотите вы спросить? — Ничего такого Сенька спросить не хотел, однако спорить со строгим человеком не стал. Пускай говорит. — Дело даже не в том, что от Маросейки до

Хитровки, где убили Синюхиных, пять минут хода. В обоих этих злодеяниях налицо две п-принципиально сходные черты, встречающиеся слишком редко для того, чтобы их можно было счесть случайным совпадением. Убийца явно преследует некую грандиозную цель, ради которой не отвлекается на мелочи вроде цепочек и медальончиков из витрины ювелирной лавки. Это раз. А ещё впечатляет дьявольская осторожность, понуждающая преступника не оставлять никаких свидетелей, ни единого живого существа, даже такого безобидного, как трехлетний младенец или п-птица. Это два. Ну, а теперь о вас, Скориков. Я совершенно уверен, что вы многое знаете и можете мне помочь.

Сенька, настроившийся дальше слушать про душегуба, от такой неожиданной концовки вздрогнул, поёжился под пристальным взглядом голубых глаз, крикнул:

— Ну завалили ювелира этого, а я при чем?!

Маса снова двинул его локтем, уже сильней.

— Про сопривого марьтиську забыр? Который на тебе рубъ заработар? Он видер, как ты в равку серебряные парки носир.

Понял Скорик: не отпереться, потому перешёл с базарного крику на хныканье:

— Чего надо-то, спрашивайте толком... А то пужают, ребры локтем бьют...

— Б-бросьте прибедняться, — сказал Эраст Петрович. — Маса характеризует вас самым лестным образом. Говорит, что вы нежестокосердны, что у вас пытливый ум, и — самая ценная человеческая черта, что вы стремитесь к самоусовершенствованию. Раньше, до этого последнего преступления, Маса просто спрашивал вас, не надумали ли вы поделиться с нами вашей тайной. Он был уверен, что рано или поздно заслужит ваше доверие и вы захотите облегчить перед ним д-душу. Теперь же ждать некогда. Я требую от вас — уже безо всякой деликатности — ответа на два вопроса. Первый: чего ищет убийца? И второй: что вам известно об этом человеке?

Маса закивал головой давай, мол, не трусь, говори.

Ну, Сенька всё и рассказал — как на духу. И про колоду, и про Очка, волчину мокрушного, и про Смерть, и про то, что Князь его, Сеньку, из-за ревности извести хочет.

Ну, то есть, не совсем, конечно, все. Про клад уклончиво помянул — мол, вроде есть такой, а правда ли, нет ли, то ему, Скорику, неведомо. Ну так ведь и на духу тоже не совсем уж всю правду говорят, верно?

— Значит, по-вашему, Скориков, выходит, что Синюхина этот самый

Князь с валетом истребили, желая выпытать тайну клада? — спросил Эраст Петрович, дослушав не очень складный Сенькин рассказ. — А к антиквару Князь наведался, чтобы узнать ваш адрес?

— Само собой. Проха ему донёс, крысёнок. Видел он меня подле лавки, я же говорил! Потому и не пограблено ничего, что Князю мелкие цацки — тьфу. Ему до меня добраться нужно.

— А вы уверены, что Князь вас ищет из одной лишь ревности? — Эраст Петрович наморщил гладкий лоб, будто не совсем что-то понимая. — Может, вы ему из-за к-клада нужны?

У Сеньки внутри все так и заныло: догадался, обо всем догадался хитроумный барин! Вот сейчас пристанет: говори, где серебряный хворост спрятан.

Чтоб потянуть время, Скорик затараторил:

— Ужас как ревнует! Лучше бы к Очку своему ревновал! Тот тоже к Смерти шастает. Он ей — марафет, а она ему — известно чего. Но не от шалавства это. Что с неё взять, марафетчицы над собой невластные. Хворь это у них такая...

— В Приязье в старину, кажется, был монетный двор, где серебряную монету чеканили, — задумчиво произнёс Эраст Петрович, когда Скорик запнулся — воздуху набрать. — Ладно, про клад мне сейчас неинтересно. Скажите-ка лучше, Скориков, не можете ли вы меня познакомить с этой интригующей особой, которая свела с ума весь фартовый б-бомонд? Говорите, её зовут Смерть? Какое декадентское имя.

У Сеньки от сердца отлегло.

— Познакомить можно. А что со мной-то будет, а? Не выдадите меня Князю?

Как Сенька видел собачью свадьбу

Не выдал Эраст Петрович, справедливый человек, сироту на произвол судьбы. Мало того — велел собирать вещички и увёз к себе на квартиру, в тот самый Ащеулов переулок, где Сеньке на свою беду (а может, и не на беду, а совсем наоборот — как знать?) взбрело в голову стырить узелок у “китаёзы”.

Квартира была диковинная, не как у обыкновенных людей.

В одной комнате вовсе никакой мебели не было, на полу полосатые матрасы и боле ничего. Там хозяин с Масой рэнсю делают, японскую гимнастику. Посмотреть — ужас что такое. Молотят друг дружку руками-ногами, как только до смерти не убьют. Маса стал и Сеньку звать — вместе метелиться, но тот напугался, на кухню убежал.

Кухня тоже интересная, в ней начальник Маса. Плиты нет вовсе, бочки с капустой-огурцами тоже. Зато в углу большой железный шкаф под названием рефрижератор. В нем всегда холодно, как в леднике, и на полках лежит сырья рыба. Они, квартирные жильцы, её кусками режут, коричневым уксусом кропят и прямо так трескают с рисом. Сеньке на завтрак тоже давали, но он не опоганился, одного рису пожевал немножко. И чаю пить не стал, потому что он был невзаправдошный — жёлтый какой-то и совсем несладкий.

Спать Сеньке определили в комнате у сенсея, а там и кроватей-то нет, одни подстилки на полу, будто в Кулаковской ночлежке. Ладно, рассудил Скорик, лучше спать на полу, чем в сырой земле с пером в боку. Потерпим.

Чудней всего был хозяйский кабинет. Одно название, а так больше на механическую мастерскую смахивало. Там на полке книжки, по большей части технические, на чужестранных языках; стол завален листами бумаги с непонятными рисунками (называется “чертежи” — видно оттого, что в них черт ногу сломит); у стен — всякие железки, пружины, резиновые обода и много чего другого. Это потому что Эраст Петрович инженер, выучился в самой Америке. У него и фамилия нерусская: господин Неймлес. Сеньке очень хотелось расспросить, для какой надобности потребны все эти штуковины, но тогда, в первый день Ащеуловской жизни, не до того было.

Спали допоздна, после этакой-то ночи. Как пробудились — господин Неймлес с Масой давай по матрасам прыгать, да кричать, да колошматить

один другого, потом, значит, сырьтины своей покушали, и повёз Сенька Эраста Петровича знакомиться со Смертью.

По дороге меж ними вышел спор про то, какая она, — Смерть, — хорошая или плохая.

Эраст Петрович говорил, плохая.

— Судя по тому, что вы мне рассказали, Скориков, эта женщина упивается своей способностью манипулировать людьми, да не просто людьми, а самыми жестокими, безжалостными преступниками. Она осведомлена об их злодействах, безбедно существует на награбленные деньги, однако сама вроде как ни в чем не повинна. Мне знакома эта порода, она встречается во всех странах и во всех слоях общества. Так называемые инфернальные женщины абсолютно безнравственны, они играют человеческими жизнями и судьбами, только эта игра и приносит им удовлетворение. Неужто вы не видите, что она и с вами поиграла, как кошка с мышкой?

И так он сердито это говорил, на себя совсем непохоже, будто от тех инфернальных женщин ужасно настрадался, прямо всю жизнь они ему перепахали.

Только Смерть никакая не инфернальная и не безнравственная, а несчастная. Ничего она не упивается, а просто потеряла себя, найти не может. Так Сенька ему и сказал. Даже не сказал — в голос выкрикнул.

Эраст Петрович вздохнул, улыбнулся, но печально, без насмешки.

— Ладно, — говорит, — Скориков. Я не хотел задеть ваши чувства, только, боюсь, вас ждёт болезненное разочарование. Что, она, действительно, так уж хороша, эта хитровская К-Кармен?

Кто такая Кармен, Сенька знал, ходили с Жоржем в Большой театр на неё смотреть. Испанка эта была толстая, крикастая, всё ножищами топала и рукой в жирный бок упиралась, будто крючит её. Вроде умный человек Эраст Петрович, всё при нём, а ничего в женщинах не понимает. У слуги бы своего поучился, что ли.

— Да Кармен ваша против Смерти жаба болотная, — сказал Скорик и ещё сплюнул для убедительности.

На повороте с Покровского бульвара на Яузский Сенька привстал в пролётке и тут же обратно нырнул, вжался в сиденье.

— Вон ейный дом, — шепнул. — Только нельзя к ней сейчас. Трутся там двое, видите? Звать Дубина и Клюв, оба из Упырёвой колоды. Увидят меня — беда.

Эраст Петрович наклонился, тронул извозчика за плечо:

— Проезжайте за угол, остановите на Солянке. — И Сеньке. —

Кажется, происходит что-то интересное? Вот бы п-посмотреть.

Когда упырёвских проехали, Скорик снова распрямился.

— Посмотреть — это навряд ли, а подслушать можно.

И повёл Эраста Петровича к потребному дому дворами. Бочка, какую Сенька к окну ещё вон когда подкатил, так и стояла, никуда не делась.

— Всунетесь? — показал Скорик на приоткрытую фортуку ватер-клозета.

Господин Неймлес прямо с места, без разбежки, впрыгнул на бочку, потом подпрыгнул ещё раз, подтянулся на руках и легко, словно бы играючи, ввинтился в малый квадратик — только каблуки мелькнули. Сенька тоже полез, не так ловко, но все же через небольшое время оказался в нужнике и он.

— Странный способ проникать к д-даме, — прошептал Эраст Петрович, помогая Скорику спуститься. — Что за дверью?

— Горница, — выдохнул Сенька. — В смысле, гостиная. Можно тихонько щёлочку приоткрыть, но только совсем чуть-чуть.

— Хм. Я вижу, сей способ наблюдения вами уже з-запатентован.

На этом разговоры закончились.

Эраст Петрович чуточку, на волосок, шевельнул дверь и припал глазом к щёлке. Скорик потыркался и так, и этак (тоже ведь интересно), и в конце концов приспособился: сел на корточки, прижался к бедру господина Неймлеса, лбом к косяку. Короче, занял место в партере.

Увидал такое, что засомневался в зрении — не врёт ли?

Посреди комнаты стояли в обнимку Смерть с Упырём, и этот слизень сальноволосый гладил её по плечу!

Сенька не то всхлипнул, не то шмыгнул носом — сам толком не понял — и был немедленно шлётнут господином Неймлесом по затылку.

— Кралечка моя, — промурлыкал Упырь жирным голосом. — Утешила, усластила. Я, конечно, не Князь, самоцветов тебе дарить не в возможности, но платочек шёлковый принесу, индейский. Красоты неописуемой!

— Марухе своей отдан, — сказала Смерть, отодвигаясь.

Он оскалился:

— Ревнуешь? А Манька моя неревнивая. Я вот у тебя, а она за углом на стрёме стоит.

— Вот и дай ей, за утружение. А мне твои подарки ни к чему. Не этим ты мне дорог.

— А чем? — ещё пуще заулыбался Упырь (Сенька скривился — зубы-то жёлтые, гнилые). — Вроде Князь ухарь ухарем, только я-то, выходит,

лучше?

Она коротко, неприятно хохотнула.

— По мне лучше тебя никого нет.

Этот на неё уставился, глаза прищурил.

— Не пойму я тебя... Хотя баб понимать — понималки не хватит.

Схватил её за плечи и давай целовать. Сенька от горя лбом об деревяшку стукнулся — громко. Эраст Петрович его снова но маковке щёлкнул, да поздно.

Упырь рывком развернулся, револьвер выхватил.

— Кто там у тебя?!

— Экий ты дёрбаный, а ещё деловой. — Смерть брезгливо вытирала губы рукавом. — Сквозняк по дому гуляет, двери хлопают.

Тут свист. И близко — из прихожей, что ли?

Чей-то голос просипел (не иначе Клюв, у него нос проваленный):

— Манька шумнула — пристав с Подколокольного идёт. С цветами. Не сюда ли?

— По Хитровке, один? — удивился Упырь. — Без псов? Ишь, отчаянный.

— Будочник с ним.

Упыря из щели как ветром сдуло. Крикнул — верно, уже из сеней:

— Ладно, зазноба, после договорим. Князьку, лосю рогатому, от меня поклонец!

Хлопнула дверь, тихо стало.

Смерть налила из графину коричневой воды (Сенька знал — это ямайский ром), отпила, но не слотнула, а прополоскала рот и обратно в стакан выплюнула. Потом достала из кармана бумажку, развернула, поднесла к носу. И только когда вдохнула белый порошок, малость отаяла, завздыхала.

Ну а у Скорика марафета не было, поэтому он сидел весь окоченевший, словно льдом его сковало. Стало быть, честный юноша, с сахарными плечами и причёской “мон-анж” ей нехорош, с ним нельзя. А с этим липкогубым, выходит, можно?

Сенька шевельнулся — и снова инженеровы пальцы предостерегающе забарабанили по его макушке: тихо сиди, не время ещё себя показывать.

Что же это, Господи? Выходит, верно про неё, безнравственную лахудру, Эраст Петрович говорил...

Но это было ещё только начало Сенькиных потрясений.

Минута прошла или, может, две — постучали в дверь.

Смерть качнулась, запахнула на груди шаль. Звонко крикнула:

— Открыто!

Раздался звон шпор, и бравый офицерский голос сказал:

— Мадемуазель Морт, вот и я. Обещал, что ровно в пять явлюсь за ответом, и как человек чести слово сдержал. Решайтесь: вот букет фиалок, а вот предписание о нашем аресте. Выбирайте сами.

При чем тут фиалки, Скорик не понял, а пристав Солнцев — голос был его — дальше заговорил так:

— Как я уже говорил, имеющиеся в моем распоряжении агентурные сведения достоверно подтверждают, что вы состоите в преступной связи с бандитом и убийцей Дроном Веселовым по кличке Князь.

— И чего зря казённые деньги переводить, агентам платить? Про меня с Князем и так все знают, — небрежно, даже скучливо ответила Смерть.

— То “знают”, а то неопровергимые, задокументированные свидетельские показания, плюс к тому фотографические снимки, осуществлённые скрытно, по самой новейшей методе. Это, фрейляйн Тодт, сразу две статьи Уложения о наказаниях. Шесть лет ссылки. А хороший обвинитель пришпилил ещё пособничество в разбое и убийстве. Тогда это каторга, семь лет-с. Что с вами, девицей простого звания, будут вытворять охранники и все, кому не лень, о том и помыслить страшно. Жалко вашей красоты. Выйдете на поселение совершенной рuinой.

Вот в щёлке показался и сам полковник — молодцеватый, с блестящим пробором. В одной руке и вправду держал пармские фиалки (на цветочном языке “лукавство”), в другой какую-то бумагу.

— Ну, и чего вы хотите? — спросила Смерть, подбоченясь, отчего в самом деле стала похожа на оперную испанку. — Чтобы я вам любовника своего выдала?

— На кой черт мне твой Князь! — вскричал пристав. — Когда придёт время, я и так его возьму! Ты отлично знаешь, что мне от тебя нужно. Раньше умолял, а теперь требую. Или будешь моей, или пойдёшь на каторгу! Слово офицера!

У Эраста Петровича на ноге — Сенька почувствовал щекой — дрогнула стальная мышца, да и у самого Скорика сжалась кулаки. Вот ведь гнида какая этот пристав!

А Смерть только рассмеялась:

— Галантный кавалер, вы всех барышень так уговариваете?

— Никого и никогда. — Голос Солнцева задрожал от страсти. — Сами за мной бегают. Но ты... ты свела меня с ума! Что тебе этот уголовник? Не сегодня так завтра будет валяться в канаве, продырявленный полицейскими пулями. А я дам тебе всё: полное содержание, защиту от прежних дружков,

достойное положение. Жениться на тебе я не могу — лгать не стану, да ты все равно не поверила бы. Однако любовь и брак — материи разные. Когда мне придёт время жениться, невесту я подберу не по красоте, но моё сердце все равно будет принадлежать тебе. О, у меня великие планы! Будь моей, и я вознесу тебя на небывалые высоты! Настанет день, когда ты станешь некоронованной царицей Москвы, а может быть, и того больше! Ну?

Она молчала. Смотрела на него, склонив голову, словно видела перед собой нечто любопытное.

— Скажи-ка ещё что-нибудь, — попросила Смерть. — Не решусь никак.

— Ах так! — Пристав швырнул букет на пол. — В любви и на войне все средства хороши. Я тебя мало что в тюрьму засажу, так ещё богадельню эту сиротскую, что ты подкармливаешь, разгоню к чёртовой матери. На ворованные деньги существует, новых воров растит! Так и знай, моё слово — сталь!

— Вот теперь хорошо, — улыбнулась чему-то Смерть. — Вот теперь убедительно. Согласная я. Говори, Иннокентий Романыч, свои условия.

Полковник от такой нежданной податливости, кажется, опешил, назад попятился, и его снова стало не видно.

Однако оправился быстро. Скрипнули сапоги, к букету протянулась рука в белой перчатке, подняла.

— Не понимаю я вас, сеньора Морте, но passons, неважно. Только учтите: я человек гордый и дурачить себя не позволю. Вздумаете финтить... — Кулак сжал фиалки так, что переломались стебельки. — Ясно?

— Ясно, ясно. Ты о деле говори.

— Хорошо-с. — Солнцев снова показался в щели. Хотел вручить букет, однако заметил, что цветки безжизненно обвисли и бросил их на стол. — Пока не взял Князя, жить будешь здесь же. Приходить буду тайно, по ночам. И чтоб была ласкова! Я в любви холодности не признаю!

Перчатки снял, тоже швырнул на стол и протянул к ней руки.

— А не побоишься ко мне ходить? — спросила Смерть. — Не страшно?

Руки у пристава опустились.

— Ничего. Буду брать с собой Будочника. Не посмеет Князь при нем сунуться.

— Я не про Князя, — тихо молвила она, придинувшись. — Со Смертью играть не боязно? Слыхал, что с моими любовниками бывает?

Он хохотнул:

— Чушь. Выдумки для невежественных болванов.

Она тоже засмеялась, но так, что у Сеньки по коже побежали мураши.

— Да вы, Иннокентий Романыч, матерьялист. Это хорошо, я матерьялистов люблю. Ну что ж, идёмте в спальню, коли вы такой смелый. Приголублю вас, как умею.

Сенька аж застонал от этих её слов — про себя, конечно, тихо, но от этого стон ещё больнее вышел. Правильно Жорж про баб говорил: “Все они, мон шер, в сущности, подстилки. Кто понапористей, под того и ложатся”.

Думал, пристав от её слов так и кинется в спальню, однако тот звякнул часами и вздохнул:

— Пылаю от страсти, но утолить пламень сейчас не могу, к половине седьмого зван на доклад к полицмейстеру. Загляну поздно вечером. Смотри же: без фокусов.

Потрепал, наглый псина, Смерть по щеке, да и зазвякал шпорами к выходу.

Она же, оставшись одна, вынула платок, поднесла к лицу, будто хотела его вытереть, но не стала. Села к столу, опустила голову на скрещённые руки. Если б заплакала, Сенька все бы ей простил, но она не плакала — плечи не дрожали и всхлипов было не слыхать. Просто так сидела.

Скорик запрокинул башку, уныло поглядел на господина Неймлеса. Ваша правда, Эраст Петрович. Дурак я последний.

А тот задумчиво покачал головой, шевельнул губами, и Сенька не столько услыхал, сколько догадался:

— Интересная особа...

Потом Эраст Петрович вдруг подмигнул Сеньке — не вешай, мол, носа — и слегка рукой подвинул. Видно, пришло время ему в дело вступать.

Но тут снова раздались шаги — не чёткие, как у пристава, а тяжёлые, с приволоком.

— Так что извиняемся, — прогудел густой бас.

Будочник! Сенька схватил господина Неймлеса за колено: стойте, нельзя!

— Их высокоблагородие перчаточки забыли. Меня послали, сами не пожелали.

Смерть подняла голову. Нет, никаких слез на лице у ней не было, только глаза горели ярче всегдашнего.

— Ещё бы, — усмехнулась она. — Иннокентий Романыч так важно уходили. А за перчатками возвращаться — весь эффект испортить. Берите,

Иван Федотыч.

Взяла со стола перчатки, бросила. Но Будочник ушёл не сразу.

— Эх, девка-девка, чего ты только над собойтворишь? Дал тебе Господь этакую красотищу, а ты её в грязи валяешь, над Божьим даром измываешься. Мой-то павлин от тебя вышел, сияет, как сапог начищенный. Значит, и ему ты не отказалася. А ведь дрянь человечишко, не павлин даже — курёнок мокрый. И Князь, хахаль твой, — прыщик гнойный. Надавить — лопнет. Разве такого тебе надо? У тебя в голове ночь, в душе туман. Тебе нужен человек ясный, крепкий, при огромадном богатстве, к какому прильнуть можно, дух перевести, ногами на землю встать.

Смерть удивлённо подняла брови:

— Что это вы, Иван Федотыч? Сводником стали на старости лет? Кого же, интересно знать, вы мне сватаете? Что это за богач такой?

Тут откуда-то, из сеней что ли, донеслось сердитое:

— Будников, бездельник, ты что там застрял?

И договаривал Будочник скороговоркой:

— Я тебе, дуре несчастной, одного добра желаю. Есть у меня на примете один человек, кто тебе будет и крепость, и защита, и спасение. После зайду, потолкуем.

Протопали сапожищи, хлопнула дверь.

Снова Смерть осталась в гостиной одна, но к столу больше садиться не стала. Отошла в дальний угол комнаты, где висело треснутое зеркало, встала перед ним и принялась себя разглядывать. Покачивала головой и вроде бы даже приговаривала что-то, но слов было не слышно.

— М-да, Семён Скориков, — шепнул господин Неймлес. — Это, простите за вульгаризм, просто какая-то собачья свадьба. Ну-те-с, и я присоединюсь, попытаю счастья. Держу пари, что моё появление будет ещё эффектней, чем уход полковника Солнцева. — А вы лезьте обратно, вам тут делать нечего. Марш-марш в окошко. — И жестом показал.

Сенька перечить не стал. Наступил на фарфоровую вазу (называется “унитаз”, в борделе такие же; ещё другая ваза бывает, для женского полоскания, называемая “биде”), сделал вид, что тянется к фортуке, но когда Эраст Петрович постучал в дверь и шагнул в комнату, Скорик тут же кубарем слетел вниз. Так сказать, вернулся на обсервационную позицию.

Как Сенька разочаровался в людях

Эраст Петрович не спеша вышел на середину гостиной, приподнял головной убор (сегодня он был в клетчатом кепи с загнутыми наверх ушами):

— Не пугайтесь, сударыня. Я не сделаю вам д-дурного.

Смерть не обернулась, смотрела на незваного гостя в треснутое зеркало. Помотала головой, провела по поверхности рукой. Оглянулась через плечо. Лицо у ней было удивлённое.

Он слегка поклонился.

— Нет, я не видение и не г-галлюцинация.

— Тогда пошёл к черту, — бросила она и снова повернулась к зеркалу. — Ишь, наглец. Слово скажу — тебя на части порвут, кто ты ни будь.

Эраст Петрович подошёл ближе.

— Я вижу, вы нисколько не испугались. Поистине вы редкая женщина.

— Ах, вот что дверь-то скрипела, — сказала она как бы сама себе. — А я думала, сквозняк. Ты кто такой? Откуда взялся? Из поганой трубы, что ли, выскоцил?

На это он ответил строго:

— Для вас, мадемузель, я — посланец судьбы. А судьба “выскакивает” откуда ей заблагорассудится, подчас из очень странных мест.

Вот когда она к нему, наконец, развернулась всем телом. И посмотрела уже не с презрением, а недоуменно и даже, почудилось Скорику, с некоей надеждой. Повторила:

— Посланец судьбы?

— Что, не похож?

Она двинулась ему навстречу, снизу вверх посмотрела в его лицо.

— Не знаю... Может, и похож.

Сенька закряхтел —ально плохо они стояли: высокий господин Неймлес совсем её загородил, да и самого было видать только со спины.

— Отлично, — сказал он. — Тогда буду говорить поэтично, как и подобает посланнику судьбы. Сударыня, над той частью Москвы, где мы с вами сейчас находимся, сгустилось облако зла. Оно то и дело проливается на землю кровавым д-дождём. Эту железную тучу не уносит ветром, её будто удерживает здесь некий магнит. И я подозреваю, что этот магнит — вы.

— Я?! — смятенно воскликнула Смерть и шагнула в сторону. Вот теперь её было видно хорошо. Лицо у ней сделалось растерянное, совсем не такое, как обычно.

Эраст Петрович тоже переместился, будто желал быть от неё на расстоянии.

— Чудесная скатерть, — произнёс он. — Никогда не видел такого удивительного узора. Кто это вышивал? Вы? Если так, то у вас настоящий т-талант.

— Не про то говорите, — перебила его она. — С чего вы взяли, что кровь из-за меня льётся?

— А с того, госпожа Смерть, что вы сосредоточили вокруг себя самых опасных преступников г-города. Убийцу и грабителя Князя, который вас содержит. Выродка по прозвищу Очко, который снабжает вас кокаином. Вымогателя и п-подонка Упыря, который вам тоже зачем-то нужен. К чему вам эта кунсткамера, эта коллекция монстров?

Она долго молчала. Сенька уж думал, вовсе отвечать не станет. Но ответила-таки:

— Стало быть, нужно.

— Кто вы? — сердито воскликнул господин Неймлес. — Алчная накопительница богатств? Честолюбица, которой нравится воображать себя королевой з-злодеев? Человеконенавистница? Душевнобольная?

— Я — Смерть, — тихо и торжественно молвила она.

Он пробормотал, еле слышно:

— Ещё одна? Не много ли на один город?

— Про что это вы?

Тогда он подошёл к ней близко и заговорил резко, с напором:

— Что вам известно об убийстве Синюхиных и Самшитовых? В этих преступлениях имеются признаки какого-то сатанинского идолопоклонства: то выкалывание глаз, то истребление всего живого, вплоть до попугая в клетке. Настоящий пир смерти.

Она передёрнула плечами.

— Ничего про это не знаю. Вы кто, полицейский? — Посмотрела ему в глаза. — Нет, в полиции таких не бывает. Он качнул головой — не то досадливо, не то смущённо.

— П-прошу простить, забыл представиться. Эраст Петрович Неймлес, инженер.

— Инженер? Так что вам за дело до убийств?

— Есть два феномена, которые никогда не оставляют меня равнодушным. Безнаказанность злодейства и т-тайна. Первый поднимает в

моей душе гнев, который не даёт мне спокойно дышать до тех пор, пока не восстановится справедливость. А второй лишает сна и покоя. В этой истории налицо оба явления: и чудовищное злодеяние, и тайна — вы. Я должен эту тайну разгадать.

Она насмешливо улыбнулась:

— И как же вы будете меня разгадывать? На манер прочих разгадывальщиков?

— Это уж как получится, — ответил он, помолчав. — Однако вы правы, ужасный сквозняк.

Развернулся, пошёл прямо на Сеньку, прикрыл дверь, да ещё стулом с той стороны подпёр. Теперь Скорику стало не видно и почти не слышно, что там у них в гостиной делается.

А он и не желал дальше слушать. Полез в окошко печальный. Можно сказать, с разбитым сердцем.

Настигло Сеньку полное разочарование в людях. Вот Эраст Петрович этот: вроде серьёзный мужчина, собой важный, а такой же кобель, как прочие. А гонору-то, гонору. Кому верить на свете, кого уважать?

Сейчас господин Неймлес её, само собой, в два счета разгадает. Такую лярву только ленивый не разгадывал, терзал себя Сенька. Ох, женщины! Дешёвки, предательницы. Одна только верная и есть — Ташка. Хоть и мамзелька, но честная. Или это у неё от малолетства? Наверно, подрастёт, тоже, как все они, станет.

Как Сенька перетянул дроссель

От разочарования и печали Скорик шёл, куда несли ноги, глядел не вокруг, а внутрь собственной натуры. Ноги же, глупые, по привычке вынесли его на Хитровскую площадь, где Сеньке мозолиться по нынешним временам было незачем. Увидят, Князю свистанут, и анье, Семён Трифоныч, наказывайте долго жить.

Когда спохватился, стало страшно. Поднял воротник пиджака, нахлобучил на глаза шляпу-канотье и быстренько-быстренько к Трехсвятскому, откуда до безопасных мест уже рукой подать.

Вдруг навстречу Ташка, легка на помине. Не одна, с клиентом. По виду приказчик. Пьяный, рожа красная, Ташку за плечо облапил, еле ноги переставляет.

Вот дура гордая! Охота ей за паршивый трехрублевик себя трепать. И не объяснишь ведь, что зазорно и срам — не понимает. Ещё бы, с младенчества на Хитровке. И мамка её шалава была, и бабка.

Хотел Скорик подойти, поздороваться. И она тоже его увидела, но не кивнула, не улыбнулась. Сделала круглые, страшные глаза и в волоса себе тычет. А там цветок торчал, видно, нарочно на такой случай заготовленный, красный мак, на языке растений — опасность.

Кому опасность-то, ей или ему, Сеньке?

Все же подошёл, открыл рот спросить, а Ташка зашипела:

— Вали отсюда, дурак. Он тебя ищет.

— Да кто?

Приказчик помешал. Ногой топнул, давай грозиться.

— Ты што? — орёт. — Ты кто? Моя мамзелька! Харю сворочу!

Ташка его кулаком в бок двинула, шепнула:

— Ночью... Ночью приходи, такое расскажу... — И поволокла своего кавалера дальше.

Очень это её шипение Скорику не понравилось. Не такая Ташка, чтоб попусту пугать. Видно, случилось что-то. Надо зайти.

Собирался дождаться ночи на бульваре, но пришла идея поумней.

Раз уж всё одно оказался здесь, на Хитровке, не наведаться ли в подземелье, ещё серебрецом подправиться? Те пять прутов были припрятаны в чемодане, замотанные в кальсоны. Хорошо бы ещё штук несколько. Кто знает, какой дальше фатум сложится. Не пришлось бы срочным порядком покидать родные Палестины.

* * *

Взял ещё четыре прута. Всего, значит, теперь получилось девять. Как ни посмотри, целый капитал. Ашот Ашотыча, царствие ему, страдальцу, небесное, боле нет, но, надо надеяться, рано или поздно същется вместо него другой посредник. Грех, конечно, так рассуждать, но мёртвым своё, а живым своё.

Выбравшись из лаза в погреб с кирпичными стояками (культурно сказать — колоннами), Сенька задвинул на место камни, палки взял по две в каждую руку и пошёл тёмным подвалом к выходу на Подколокольный.

Оставалось повернуть по коридору два раза, когда случилось страшное.

Скорику по загривку вдарило тяжёлым — да так, что он полетел носом наземь, даже взвизгнуть не успел. Ещё не понял толком, что за напасть на него обрушилась, как сверху придавило к полу: кто-то наступил ему на спину кованым сапогом.

Скорик забарахтался, хватая ртом воздух. Из левой руки вылетели прутья, малиново зазвенели по каменным плитам.

— А-а-а!!! — заорал бедный Сенька, а чьи-то стальные пальцы ухватили его за волосья, рванули голову назад — захрустели позвонки.

Не от храбрости, а от одного лишь звериного ужаса Сенька махнул прутьями, что были зажаты в правой руке, назад и вверх. Куда-то попал и ударил ещё раз, что было силы. Опять попал. Что-то там утробно, помедвежьи рыкнуло, лапища, вцепившаяся Скорику в волосы, разжалась, да и сапог со спины сдвинулся.

Сенька волчком откатился вбок, поднялся на четвереньки, потом на ноги и, подывая, понёсся в темноту. Налетел на стену, шарахнулся в другую сторону.

По ступенькам вспорхнул на ночную улицу и бежал до самой Лубянки. Там упал на колени подле бортика бассейна, окунул рожу в воду, немножко остудился и только тогда заметил, что и из правой руки прутья выронил.

Бес с ними. Главное — живой.

* * *

— Где вас носило, Скориков? — спросил господин Неймлес, открыв дверь в квартиру. И тут же взял Сеньку за руку, подвёл к лампе. — Кто это

vas? Что случилось?

Это он увидал шишку на лбу и распухший нос, которым Скорик въехал в каменный пол.

— Князь меня убить хотел, — хмуро ответил Сенька. — Мало шею не сломал.

И рассказал, как было дело. Куда лазил и что прутья нёс, конечно, говорить не стал. Мол, заглянул по одному делу в Ерошенковский подвал, там и приключился такой кошмарный прецедент.

— Инцидент, — механически поправил Эраст Петрович. Лоб у него сложился продольной складкой. — Вы хорошо разглядели Князя?

— А чего мне на него глядеть. — Скорик уныло изучал свою личность в зеркале. Ну и нос — чисто картоха печёная. — Кому ещё надо меня мочить? Рвань ерохинская на кого не попадя не кидается, посмотрят сначала, что за человек. А этот без упреждения бил, всерьёз. Или Князь, или из колоды кто. Только не Очко — тот бы чикаться не стал, сразу ножиком кинул или шпагу в глаз воткнул. А где Маса-сенсей?

— На свидании. — Господин Неймлес взял Сеньку за подбородок, повертел и так, и этак — любовался. — Компресс нужно. А здесь меркурохромом. Вот так не больно?

— Больно! — заорал Скорик, потому что Эраст Петрович крепко взял его пальцами за нос.

— Ничего, до свадьбы заживёт. П-перелома нет.

Был господин Неймлес в длинном шёлковом халате, на волосах тонкая сеточка — крепить куафюру. У Сеньки тоже такая была, “гард-фасон” называется.

Как у него со Смертью-то устроилось, подумал Скорик, глядя исподлобья на гладкую рожу инженера. Да уж известно как. Этакий рысак своего не упустит.

— Ну вот что, герр Шопенгауэр, — объявил Эраст Петрович, кончив мазать Сенькину рожу пахучей дрянью. — Отныне от меня и Масы ни шагу. П-поняли?

— Чего не понять.

— Отлично. Тогда ложитесь и — в объятья Морфея.

Лечь-то Сенька лёг, а с Морфеем у него долго не ладилось. То зубы начнут дробь выстукивать, то в дрожь кинет, никак не согреешься. Ещё бы. Погибель совсем рядом прошла, задела душу своим ледяным крылом.

Вспомнил: к Ташке-то не зашёл. А ведь она сказать что-то хотела, предупредить. Надо бы к ней наведаться, но при одной мысли о том, чтоб снова на Хитровку идти, дрожь заколотила ещё пуще.

Утро вечера мудреней. Может, завтра всё не так страшно покажется.
С тем и уснул.

* * *

Но назавтра все равно сильно боялся. И послезавтра тоже. Долго боялся, целую неделю. Утром или днём ещё ничего: вот сегодня, думал, как стемнеет, непременно отправлюсь, а к вечеру на душе что-то делалось тоскливо, и не шли ноги на Хитровку, хоть ты что.

Однако не то чтобы Сенька в эти дни только боялся и больше ничего другого не делал. Дел-то было полно, да таких, что обо всем на свете позабудешь.

Началось с того, что Эраст Петрович предложил:

— Хочешь посмотреть на мой “Ковёр-самолёт”?

Как раз перед тем между ними разговор состоялся. Сенька Христом-Богом попросил на “вы” его не обзывать и “Скориковым” тоже, а то обидно.

— Обидно? — удивился господин Неймлес. — Что на “вы” называют? Но ведь вы, кажется, считаете себя взрослым. Меж взрослыми людьми обращение на “ты” возможно лишь на основе взаимности, я же перейти с вами на “ты” пока не г-готов.

— Да я вам ни в жисть не смогу “ты” сказать! — перепугался Скорик. — Мне и без надобности. Масе-то вон “ты” говорите, делаете ему отличие. А я вам уж и не человек.

— Видите ли, Скориков… То есть, простите, господин Скориков, — совсем уж взъелся на Сеньку инженер, — Масе я говорю “ты”, а он мне “вы”, потому что в Японии господин и слуга могут разговаривать только так и не иначе. В японском этикете речевые нюансы очень строго регламентированы. Там существует с десяток разных уровней обращения на “ты” и “вы”, для всякого рода отношений свой. Обратиться к слуге не так, как принято — нелепость и даже грамматическая ошибка.

— А у нас простым людям одна только интеллигенция выкает, хочет своё презрение показать. За это её народ и не любит.

Еле уговорил. И то, чтоб по-свойски “Сенькой” назвать — так нет. Заместо “Скорикова” стал звать “Сеней”, будто барчука в коротких штанишках. Приходилось терпеть.

Когда Скорик на “Ковёр-самолёт” глазами захлопал (готов был от Эраста Петровича всяких чудес ожидать, даже волшебных), тот улыбнулся:

— Не сказочный, конечно. Так я назвал мототрипед, самоходный экипаж моей собственной к-конструкции. Идём, посмотришь.

Во дворе, в каретном сарае, стояла коляска вроде пролётки на рессорном ходу, но только суженная к носу и не на четырех колёсах, а на трех: переднее невысокое, бокастое, два задних большие. Там, где на пролётке положено быть передку, — щиток с цифирью, торчком — колёсико на железной палке, ещё какие-то рычажки, загогулины. Сиденье было хромовой кожи, можно троих усадить. Инженер показал:

— Справа, где руль, место шофера. Слева — ассистента. Шофэр — это такой кучер, только управляет он не лошадью, а м-мотором. Ассистент же — его помощник. Иногда бывает нужно вдвоём на руль налечь, или рычаг придержать, или просто флагжком помахать, чтоб с дороги сторонились.

Сенька не сразу допёр, что эта колымага сама по себе ездит, без коня. В железной коробке, что располагалась под сиденьем, по словам Эраста Петровича (скорее всего, брехня) пряталась сила, как в десяти лошадях, и оттого этот самый мототрипед якобы мог бегать по дороге быстрей любого лихача.

— Скоро на конной тяге вообще никто ездить не захочет, — рассказывал господин Неймлес. — Только на таких вот авто с двигателем внутреннего сгорания. А лошадей освободят от тяжкого труда и в благодарность за то, что столько т-тысячелетий верно служили человечеству, отправят вольно пастись в луга. Ну, может, самых красивых и резвых оставят для скачек и романтических поездок при луне, а всем прочим выйдет отставка и пенсия.

Ну, пенсия — это навряд ли, подумал Скорик. Коли лошади станут не нужны, забьют их к лешему на шкуры и мясо, за здорово живёшь кормить не станут. Но спорить с инженером не стал, интересно было послушать дальше.

— Видишь ли, Сеня, идея вседорожного м-мототрипеда была темой моего прошлогоднего дипломного проекта в Технологическом институте...

— Вы чего, только-только из студентов, что ли? — удивился Скорик. На вид Эрасту Петровичу было сильно много лет. Может, тридцать пять или даже больше — вон у него уж и виски поседели.

— Нет, я прошёл курс инженера-механика экстерном, в Бостоне. И вот теперь пришло время претворить мою идею в жизнь, опробовать её на практике.

— А вдруг не поедет? — спросил Сенька, любуясь сияющим медным фонарём на передке машины.

— Да нет, он отлично ездит, но этого м-мало. Я намерен установить на

моем мототрипеде рекорд: доехать от Москвы до Парижа. Старт назначен на 23 сентября, так что времени на подготовку немного, чуть больше двух недель. А дело трудное, почти невозможное. Недавно подобную попытку предпринял барон фон Либниц, но его авто не выдержало русских дорог, развалилось. А мой “Ковёр-самолёт” выдержит, потому что трехколесная конструкция проходимей, чем четырехколесная, я это д-докажу. И ешё вот, смотри.

Никогда Сенька не видел Эраста Петровича таким оживлённым. Глаза, обычно холодные, спокойные, так и сверкали, на щеках выступил румянец. Господина Неймлеса было прямо не узнать.

— Вместо новомодных пневматических шин, удобных для асфальтовой мостовой, но совершенно неприспособленных для нашего бездорожья, я сконструировал цельнолитые к-каучуковые со стальной проволокой.

Скорик потыкал чёрную шину. Трогать её, пупырчатую, упругую, было приятно.

— В основе конструкции — трипед мангеймского фабриканта Бенца “Патент-моторваген”, однако “Ковёр-самолёт” г-гораздо соверенней! У герра Бенца на его новом “Вело” двигатель мощностью всего три лошадиных силы и зубчатая передача крепится к задней оси, а у меня, гляди, она выведена на раму, и мотор объёмом почти в тысячу кубических сантиметров! Это позволяет разгоняться до тридцати вёрст в час. А по асфальту до т-тридцати пяти! Может быть, даже сорока! Ты только представь себе!

Возбуждение инженера передалось Сеньке, он понюхал сиденье, пахнущее кожей и керосином. Вкусно!

— А как на нем ехать, на этом “ковре”?

— Садись сюда. Вот так, — с удовольствием принял объяснить Эраст Петрович, а Сенька блаженно закачался на пружинящем сиденье. — Сейчас, сейчас ты поедешь. Это ни с чем не сравнимое наслаждение. Только осторожно, не т-торопись. Правую ногу ставь на педаль сцепления. Жми до отказа. Хорошо. Это регулятор зажигания. Поверни его. Слышишь? Это искра воспламенила топливную жидкость. Рычагами открываешь к-клапаны. Молодец. Теперь потяни ручной тормоз, чтобы освободить колёса. Включай передачу — вот этот рычаг. Теперь потихоньку отпускай ногу со сцепления и одновременно тяни д-дроссель, который...

Сенька взялся за железную палочку, именуемую звучным словом “дроссель”, дёрнул её к себе, и самоходная карета вдруг рванулась с места.

— А-а-а! — заорал Скорик от ужаса и восторга.

В животе ёкнуло, будто он нёсся на санках с ледяной горы. Трипед сам собой вылетел из сарайных ворот, навстречу ему проворно двинулась стена дома, и в следующий миг Сеньку кинуло грудью на рулевое колесо. Раздался лязг, звон разбитого стекла, и полет закончился.

Прямо перед Скориком были красные кирпичи, по ним ползла зелёная гусеница. В ушах звенело, болела грудь, но кости вроде были целы.

Сенька услышал приближающиеся сзади неторопливые шаги, увидел, что на одном циферблате стекло треснуло, а на другом вовсе вылетело, и вжал голову в плечи. Бейте, Эраст Петрович. Хоть до полусмерти — и того мне, дурню, мало будет.

— ... который регулирует поступление г-горючего, и потому тянуть его нужно очень плавно, — продолжил объяснение господин Неймлес, будто вовсе не прерывался. — Ты же, Сеня, дёрнул слишком резко.

Сенька, опустив голову, слез. Когда увидел сплющенный фонарь, ещё недавно такой нарядный и блестящий, аж всхлипнул. Вот беда так уж беда.

— Ничего, — утешил его инженер, присев на корточки. — П-поломки в автомобилизме — дело обычное. Сейчас все исправим. Будь любезен, Сеня, принеси ящик с инструментами. Ты мне п-поможешь? Вдвоём снимать дешборд совсем нетрудно. Если бы ты знал, как мне недостаёт помощника.

— А сенсей? — остановился Скорик, уже бросившийся было к сараю. — Неужто не помогает?

— Маса — консерватор и принципиальный враг п-прогресса, — со вздохом произнёс Эраст Петрович, натягивая кожаные перчатки.

Что правда, то правда. Из-за этого самого прогресса инженер с Масой чуть не каждый день собачились.

К примеру, прочёл Эраст Петрович утреннюю газету, где пропечатано про открытие железнодорожного сообщения в Забайкалье, и говорит: вот, мол, замечательная новость для жителей Сибири. Раньше они на путешествие от Иркутска до Читы целый месяц тратили, а теперь всего сутки. Это же им целый месяц подарили! Распоряжайся им как хочешь. Вот, говорит, в чем истинный смысл прогресса — экономия времени и ненужной траты сил.

А японец ему: не подарили месяц жизни, а отобрали. Раньше ваши иркутские жители без большого дела из дому не уезжали, а теперь начнут раскатывать по лицу земли. Добро б ещё вдумчиво, меряя землю шагами, карабкаясь на горы и переплывая реки. А то сядут на мягкое сиденье, носом засопят, вот и всё путешествие. Раньше, когда человек путешествовал, он понимал, что жизнь — это Путь, а теперь будет думать,

что жизнь — мягкое сиденье в вагоне. Прежде люди были крепкие, поджарые, а скоро все станут слабые и жирные. Жир — вот что такое этот ваш прогресс.

Господин Неймлес начал сердиться. Передёргиваешь, говорит. Жир? Пускай жир, прекрасно! Между прочим, жир — самое драгоценное, что есть в организме, запас энергии и сил на случай потрясений. Просто нужно, чтобы жир не скапливался в определённых частях общественного организма, а распределялся равномерно, для того и существует прогресс социальный, именуемый “общественной эволюцией”.

Маса не сдаётся. Жир, говорит, это телесное, а суть человека — душа. От прогресса же душа застает жиром.

Нет, возразил Эраст Петрович. Зачем пренебрегать телом? Оно и есть жизнь, а душа, если она вообще существует, принадлежит вечности, то есть смерти. Недаром по-славянски, жизнь называется “живот”. Между прочим, и вы, японцы, размещаете душу не где-нибудь, а именно в животе, “харе”.

Тут Сенька встярал. Спросил, так где у японцев душа — в брюхе или в харе? Интересно же!

Инженер Сенькиного вопроса сначала не понял, а когда понял, заругался и велел впредь харю называть не “харей”, не “мордой” и не “рожей”, а “лицом”. В крайнем случае, если захочется выразиться сильней, то можно “физиономией”.

Или ещё как-то заспорили Эраст Петрович и сенсей, меняются из-за прогресса ценности или нет.

Господин Неймлес говорил, что меняются — повышается их уровень, прежде всего потому что человек начинает дороже ценить себя, своё время и свои усилия, а Маса не соглашался. Мол, всё наоборот: теперь от отдельного человека и его усилий мало что зависит, и от этого ценности все падают. Когда прогресс за тебя половину дел выполняет, можно всю жизнь прожить, так и не проснувшись душой, ничего толком в истинных ценностях не поняв.

Скорик слушал, но на чью сторону встать, определиться не мог. С одной стороны, вроде прав Эраст Петрович. Вон сколько в Москве прогрессу: и трамвай скоро запустят электрический, и фонарей ярких понаставили, и синематограф, ценности же с каждым днём все выше и выше. Яйца на рынке раньше стоили две копейки десяток, а теперь три. Извозчики от Сухаревки до Замоскворечья полтинник брали, а ныне меньше семидесяти-восьмидесяти копеек к ним и не суйся. Или те же папиросы взять.

Но и не сказать, чтоб ценности только росли. От прогресса тоже своя

польза есть. Одно дело — башмак вручную сработанный, другое — фабричный. Первый, конечно, дороже выходит, оттого их и не стало почти.

* * *

Однако скоро Сеньке стало ясно, что в ценностях Эраст Петрович вовсе ничего не смыслит.

Обкатывали они “Ковёр-самолёт” на Мытной улице. Поворачивают на скорости за угол — Эраст Петрович руль крутит, Сенька в клаксон дудит — а там стадо коров. Что им, дурам, клаксон? Ну и врезались в заднюю, со всего разгона.

Она мумукнуть не успела — и с копыт. Лежит, сердешная, замертво.

Сеньке, правда, не корову было жалко, а передок. Фонарь новый только-только поставили, заместо прежнего, о кирпичную стену расколоченного. Между прочим, пятьдесят рублей фонарик, не шутки.

Пока охал, стёклышки собирали, инженер пастуху за корову — сколько б вы думали? — сто рублей отсчитал! Виданое ли дело! Это за бурёнку, которой в базарный день цена тридцатка!

И это ещё что. Как только пастух, бесстыжая харя, то есть бесстыжее лицо, катеньку в картуз прибрал, корова встала и пошла себе. Хоть бы что ей — идёт, выменем трясёт.

Скорик, конечно, пастуха за рукав: вертай деньги.

А Эраст Петрович:

— Во-первых, не “вертай”, а “пожалуйста, верните”. Ну а, во-вторых, не нужно. Пусть это будет плата за моральный урон.

Это кому моральный урон, спрашивается? Корове?

У этого инцидента были важные последствия, а от важных последствий проистекли эпохальные результаты.

Последствия произвёл Сенька, результаты — Эраст Петрович.

В тот же день Скорик нарисовал на бумаге железную скобу — спереди перед фарой крепить, чтобы коров, коз или собак сшибать без вреда для имущества. А после ужина учинил господину Неймлесу и японцу допрос, почём они что покупают и кому сколько денег платят. Слушал — диву давался. Эраст Петрович, даром что американский инженер, в самых простых делах был дурак дураком. За все платил втридорога, сколько запросят, торговаться и не думал. Квартиру в Ащеуловом снял за три сотни! Сенсей тоже хорош. Кроме своего Пути и баб всё ему до Макаркиных именин. Ещё камердинер называется.

Скорик поучил немножко их, малахольных, уму-разуму, чего сколько стоит — они, знатоки ценностей, уши и развесили.

Инженер на Сеньку посмотрел, головой уважительно покачал. Тут-то и обрисовались те самые результаты.

— Удивительный ты юноша, Сеня, — торжественно сказал Эраст Петрович. — Сколько в тебе т-талантов. Твоя идея шокогасящей скобы для авто превосходна. Следовало бы запатентовать этот аксессуар и назвать в твою честь — допустим, “гаситель Скорикова”. Или “антишокер”, или “бампер”, от английского *bumper*. Ты прирождённый изобретатель. Это раз. Поражают и твои экономические способности. Если ты согласишься стать моим к-казначеем, я с удовольствием доверю тебе распоряжаться всеми своими тратами. Ты настоящий финансист. Это два. А ещё меня поражает твоя техническая сметливость. Ты так ловко продуваешь карбюратор, так быстро заменяешь колесо! Вот что, Семён Скориков: предлагаю тебе занять должность механика вплоть до моего убытия в Париж. И это т-три. Не торопись с ответом, подумай.

Удача, она известно, россыпью ходит. То ничего-ничего, пасмурное чёрное небо и ни звёздочки, хоть вой. Зато если уж вызвездит — так во весь купол.

Кто был Сенька Скорик самое малое время назад? Никто, жучишка навозный. А теперь всё ему: и любовник Смерти (да-да, было, не приснилось), и богач, и изобретатель, и казначей, и механик. Вот какая выпала карьера — позавидней, чем у Князя в колоде шестерничать.

* * *

Дел у Сеньки теперь было невпроворот. Про то, что к Ташке надо бы, а боязно, думал только вечером, перед сном. Днём некогда было.

Трипред начищать-отлаживать надо?

По магазинам-лавкам за покупками надо?

За уборщиком, дворником, кухаркой (нанял одну старушку готовить человечью еду, не всё сырое-то жрать) следить надо?

Сенсей от Сенькиной распорядительности вовсе обленился. То на коленках битый час сидит, жмурится (это у японцев вроде молитвы — собственную душу наблюдать, которая у них в животе сидит). То с Эрастом Петровичем где-то пропадает. То у него свидание. А то вдруг затеет Сеньку японскому мордобою учить.

И тогда изволь все занятия побоку. Бегай с ним, оглашенным, чуть не

телешом по двору, лазай по водостоку, руками-ногами маши.

Оно, может, дело и нужное, для здоровья полезное, или там от лихих людей оборониться, но, во-первых, некогда же, а во-вторых, кости потом болят, не разогнёшься.

Вот на Хитровке дедок один был, раньше служил санитаром в психическом доме. Про тамошних жильцов и ихние причуды рассказывал — заслушаешься. Так Сенька по временам тоже себя навроде такого санитара чувствовал. Будто с сумасшедшими проживаешь. По виду люди как люди, при всей разумности, а иной раз поглядишь: ну чисто Канатчикова дача.

Взять, к примеру, самого господина Неймлеса, Эраста Петровича. Вроде не японец, нормальный человек, а повадка не нашенская. Когда у себя в кабинете над чертежами колдует или бумаги пишет, это понятно, но как-то раз Сенька ему через плечо заглянул, полюбопытствовать, что это он там вырисовывает, и ахнул: инженер писал не ручкой, а деревянной кисточкой, какой клей мажут, и выводил не буквы, а некие диковинные закорюки непостижимого вида и значения.

Или начнёт расхаживать по комнате, пощёлкивая зелёными чётками, и может долго этак флантировать.

А то ещё сядет перед стенкой и давай пялиться в одну точку. Сенька раз попытался рассмотреть, что там, на этой стенке. Ничего не увидел, то есть вообще ничего, даже клопа или какой букашки, а когда хотел спросить, чем это вы, Эраст Петрович, там интересуетесь, случившийся рядом Маса ухватил Сеньку за шиворот самым возмутительным манером, выволок из кабинета и сказал: “Когда господзин созерцает, трогать нерьзя”. А чего там созерцать-то, когда нет ничего?

Кроме хлопот с подготовкой “Ковра-самолёта” к мотопробегу были у господина Неймлеса и ещё какие-то таинственные дела, в которые Скорика не посвящали. Чуть не каждый вечер в девятом часу Эраст Петрович исчезал и возвращался поздно, а бывало, что пропадал где-то до самого утра. Сенька от этого мучился нехорошими видениями. Один раз достал из тюка, где бельё для прачки, инженерову нижнюю рубашку и стал нюхать — не пахнет ли Смертью (тот мятный, дурманный запах ни с чем не спутаешь). Вроде не пахло.

Бывало, что хозяина и днём нет, а по какой причине-надобности абсентирует, неизвестно.

Как-то раз, когда Эраст Петрович перед выходом расправлял воротнички и причёсывался перед зеркалом дольше обычного, случился у Скорика невозможный припадок ревности. Не сдержал себя, выскользнул

из дому, будто бы за покупками, а сам на улице пристроился за инженером и проследил, куда идёт, не на свидание ли с одной безнравственной особой.

Оказалось, что на свидание, но, слава богу, не с тем, про кого думано.

Господин Неймлес вошёл в кафе “Риволи”, сел за столик и принялся читать газеты — через стеклянную витрину Скорику было всё видно. Через несколько времени Сенька заметил, что Эрастом Петровичем интересуется не он один. Неподалёку, подле модного магазина, стояла какая-то барышня, смотрела туда же, куда Скорик. Сначала он услышал тихий звон и всё никак не мог понять, откуда это. Потом заметил, что у девицы к манжетам пришиты маленькие колокольчики, а на шее ожерелье в виде змеи, совсем как живой. Ясное дело — декадентка, на Москве таких в последнее время много развелось.

Сначала Сенька подумал, ждёт кого-то барышня, ну и загляделась на красавца-брюнета, обыкновенное дело. Но потом она головой тряхнула, улицу перешла и шасть в кафе.

Эраст Петрович газету отложил, поднялся ей навстречу, усадил. Перекинулись они парой-тройкой слов, и начал инженер барышне читать из газеты вслух.

Ну не полуумный?

Дальше Сенька смотреть не стал, потому что успокоился. Чего изводиться, если господин Неймлес такой безглазый. Видел саму Смерть, разговаривал с нею, в очи её мерцающие глядел, а ухлёстывает за какой-то щипаной кошкой.

Нет, непонятный он был Сенькиному разумению субъект.

Вот хоть переезд взять.

Дня за два перед тем, как Скорик наблюдал randevu в “Риволи”, вдруг ни с того ни с сего затеялись переезжать из Ащеурова переулка — господин Неймлес велел. Перебрались за Сухаревку, в Спасские казармы, на офицерскую квартиру. Зачем, с какой такой нужды, никто Сеньке не разъяснил. Только-только обживаться стали: он полочек в кабинете наприбивал, полотёров нанял паркет до блеска наваксить, опять же полтуши телячей мяснику заказаны — и на тебе. А за комнаты на два месяца вперёд проплачено — шестьсот рублей псу под хвост?

Собрались как на пожар, вещи кое-как в две пролётки покидали и съехали.

Новая квартира была тоже ничего себе, с отдельным входом, только вот трипед не сразу пристроить удалось. Сенька два дня швейцара Михеича обхаживал, четыре самовара чаю с ним выдул, шесть рублей денег дал и потом ещё трёшницу с полтинником — только тогда получил ключи от

конюшни (лошадей-то там все равно не было, потому что полк уехал Китай завоёвывать).

Пока Скорик швейцара уговаривал, Маса-сенсей швейцарову жену уговорил, это у него много быстрей вышло. Так что, в общем, обустроились неплохо, грех жаловаться: крыша над головой есть, “Ковёр-самолёт” в тепле-сухости, от Михеича почтение, от его супруги Федоры Никитишны что ни день пирожки с компотами.

В последний день покойной жизни, перед тем как всё снова кувырком пошло, Сенька принимал на новом местожительстве гостей, брата Ванюшку и судью Кувшинникова. Как съехали из Ащеурова, сразу послал с городской почтой письмо: мол, проживаю теперь по такому-то адресу, почту за счастье видеть у себя дорогого братца Иван Трифоновича, примите и проч. Ипполит Иванович ответил письмом же: благодарю, вскорости непременно будем.

И сдержал слово, пожаловал.

Сначала смотрел вокруг подозрительно — не шалман ли какой. Когда в прихожую высунулся Маса в одних белых подштанниках для рэнсю, судья нахмурился и Ваньке руку на плечо положил. Малолеток тоже уставился на восточного человека во все глаза, а когда Маса хлопнул себя ладошами по животу и поклонился, Ванятка испуганно ойкнул.

Дело было плохо. Судья уже назад подался, к двери (он на всякий случай и извозчика не отпустил), но тут на счастье из кабинета вышел Эраст Петрович, и при одном взгляде на солидного человека в бархатной домашней куртке, с книжкой в руке, Кувшинников сразу рассторожился. Ясно было, что этакий барин на воровской хазе жить не станет.

Познакомились самым что ни на есть приличным манером. Эраст Петрович назвал Сеньку своим помощником, пригласил судью в кабинет курить кубинские сигары. О чём они там толковали, Скорику осталось неведомо, потому что он повёл Ваньку в конюшню, аппарат показывать, а после катал братца по двору. Сам переключал рычаги и орудовал коварным дросселием, руль крутил тоже сам, а Ванька только гудел в клаксон и орал от восторга.

Долго так гоняли, сожгли полведра керосина, но ничего, не жалко. Потом вышел судья, Ванятку домой везти. Попрощался с Сенькой за руку, почему-то ободряюще подмигнул.

Уехали.

А вечером, перед тем как укладываться, Скорик подошёл к зеркалу — посмотреть, не прибавилось ли волос на бороде, и обнаружил на щеках четыре новых волоска, три справа и один слева. Всего их теперь выходило

тридцать семь, и это не считая усяных.

По привычке подумал про Ташку и прислушался к себе — вот сейчас сердце ёкнет.

Не ёкнуло.

Велел себе вспомнить про Князя, про то, как улепётывал из подвала.

Ну Князь, ну улепётывал. Всю жизнь что ль теперь трястись?

Больше недели и помыслить боялся о том, чтоб сунуться на Хитровку, а сейчас вдруг почувствовал: пора, можно.

Как Сенька плакал

В Хохловский пробрался дворами — с Покровки, через Колпачный. Ночь была хорошая — безлунная, с мелким дождиком, с туманцем. В пяти шагах ни хрена не разглядишь. А Скорик ещё, чтоб меньше отсвечивать, надел под чёрную тужурку чёрную же рубаху, даже рожу, в смысле лицо, сажей намазал. Когда из подворотни в переулок вынырнул, аккурат к костерку, где согревались вином двое хитрованцев, те на чёрного человека охнули, закрестились. Кричать, однако, не стали — не в той уже были кондиции. А может, подумали, примерещилось.

Сенька башкой, то есть головой, вправо-влево покрутил, провёл реког-но-сци-ровку. Ничего подозрительного не приметил. В домах тускло светились окошки, где-то пели, из “Каторги” доносился матерный лай. Хитровка как Хитровка. Даже стыдно сделалось, что столько дней гузкой тряс, а выражаясь интеллигентно, малодушничал.

Больше осторожничать не стал, повернулся прямо во двор, к Ташкиной двери. Под мышкой нёс свёрток с гостинцами: Ташке новую гимназическую форму с белым передником для её новой карьеры, щенку Помпошке теннисный мячик, чахоточной мамке бутыль “Двойной крепкой” (пусть уж упьётся наконец до смерти, помрёт счастливая и дочерь от себя освободит).

В единственном окошке торчали цветы, света не было. Это хорошо. Если бы у Ташки клиент был, то у кровати на тумбочке горела бы керосиновая лампа под красным абажуром, и занавеска от этого тоже была бы красная. Значит, не суйся никто, работает девка. А раз темно, значит, отработала своё, спать легли.

Сенька постучал пальцем в стекло, позвал:

— Таш, это я, Скорик...

Тихо.

Тогда шумнул ещё, погромче, но не так чтоб во весь голос — все же опасался чужих ушей.

Дрыхли. Даже пудленок, и тот помалкивал, не унюхал гостя. Видно, набегался за день.

Скорик зачесал в затылке. Чего делать-то? Не переключать же трансмиссию на задний ход?

Вдруг видит — а дверь-то чуть-чуть приоткрыта.

Так обрадовался, что даже не спросил себя, отчего это у Ташки среди

ночи засов не задвинут. Будто не на Хитровке живёт.

Шмыгнул внутрь, дверь запер, позвал:

— Таш, проснись! Это я!

Все равно тишина.

Ушли что ли? Куда это среди ночи?

Тут его как пронзило.

Съехали! Случилось у Ташки что-то, вот и покинула квартеру. (Сенька теперь знал, что правильней говорить “квартира”, но это когда настоящее жильё, с гардинами и мебелями, а у Ташки-то самая что ни на есть квартера.)

Но не могло того быть, чтоб она съехала, а товарищу никакой весточки не оставила.

Сенька нащупал в темноте лампу, полез в карман за спичками. Зажёг.

И увидел, что никуда Ташка не уехала.

Она лежала, прикрученная к кровати. Пол-лица залеплено аптекарским пластырем, застывшие глаза яростно смотрят в потолок, а рубашонка вся порвана и в бурых пятнах.

Кинулся развязывать, а Ташка твёрдая, холодная. Будто телячья туша в мяснициком погребе.

Сел он на пол, прижался лбом к жёсткому Ташкиному боку и заплакал. Не то чтоб даже от горя или с перепугу, а просто заплакал и всё — душа захотела. И не думал ни о чём. Всхлипывал, вытирая ладонью слезы, рукавом сопли, иногда и подвывал.

Плакал пока плакалось — долго. И это ещё ничего было, а вот когда все слезы вылились, тут стало Сеньке худо.

Он поднял голову и увидел совсем близко Ташкину руку, прижатую верёвкой к кроватной раме. Пальцы на руке торчали не как у живых, а во все стороны, словно сучки на ветке, и от этого Скорику сделалось совсем невмоготу. Он пополз задом, подальше от раскоряченных пальцев, ткнулся каблуком в мягкое, обернулся.

У стены, на своей всегдашней подстилке, лежала Ташкина мамка. Глаза у неё были закрыты, а рот, наоборот, разинут, и на подбородке запеклась кровь.

Некстати подумалось: по-другому он её никогда и не видал — только на этой вот драной подстилке. Правда, раньше она всё валялась пьяная, а теперь мёртвая. На рванье жила, на рванье и померла.

Но это уже как бы и не Скорик, а некто другой за него подумал. Этот самый другой, который и раньше, бывало, себя показывал, плакать не хотел. Он шепнул: “Не по-божески выйдет, если зверюга, который над

Ташкой такое учинил, останется на свете жить. Ну, жди, гад кровавый, будет тебе за это от нас с Эраст Петровичем полная справедливость”.

Вот как сказал второй Сенька, дождавшись, пока первый Сенька отплачется. Правильно сказал.

Уже выходя, Скорик заметил у самой двери вроде как малый моток белой шерсти. Наклонился, увидел мёртвого кутёнка Помпония, и здесь оказалось, что у первого Сеньки далеко не все слезы вытекли, много ещё оставалось. Хватило на всю дорогу до Спасских казарм.

* * *

— Та же картина, что у Синюхиных и Самшитовых, — хмуро сказал господин Неймлес, закрывая Ташкино лицо белым платком. — Маса, твоё мнение относительно п-последовательности событий?

Сенсей показал на дверь:

— Выбир дверь одним ударом. Восёр. Быстро. На него прыгнура собатька. Убири её ногой, вот так. — Маса топнул, словно впечатав каблук в пол. — Потом сягнур сюда. — Японец в два больших шага приблизился к недвижной мамке. — Она спара. Он ударири её в висок. Сразу убири. Потом схватир девотьку, привязар к кровати, стар мутить.

— Что стал? — болезненно скривившись, спросил Скорик.

— Мучить, пытать, — перевёл Эраст Петрович. — Как прежде истязал Синюхина и Самшитова. Видишь, какие у неё п-пальцы. Это убийца выламывал их один за другим. А волосы?

Сенька тускло поинтересовался:

— Что волосы?

Инженер сдвинул платок. Голос у Эраста Петровича был бесстрастный, словно прихваченный морозцем.

— Вот здесь, на т-темени, кровь. И здесь. И здесь. А на полу клочья. Некоторые с лоскутами кожи. Это он выдирал ей волосы.

— Зачем? Что она ему сделала?

Стыдно это было, нехорошо, что разговор у них выходил такой деревянный, будто о чужом человеке, но господин Неймлес всем видом показывал: сейчас работаем, участвует только мозг, сентименты после. А у Сеньки все одно плакать мочи больше не было, и все чувства из него вытекли вместе со слезами.

— Может, подцепила сумасшедшего клиента? — спросил он, натянув платок обратно, чтобы снова не раскиселиться. — Это на Хитровке бывает.

Приведёт мамзелька такого: с виду человек как человек, а сам изверг.

Инженер кивнул, как бы одобряя Сенькины дедуктивные усилия.

— Версия клиента-садиста могла бы считаться основной, если бы не сходство этого преступления с двумя предыдущими. Истребление всего живого. Это раз. Применение пыток. Это два. Тот же район. Это три. Кроме того... — Он бестрепетной рукой заголил Ташке ноги, нагнулся и потянул из кармана лупу. Скорик поскорей отвернулся, стал кашлять, чтоб протолкнуть из горла ком. — М-да, никаких следов насилия или полового н-надругательства. Как чувствственный объект жертва убийцу не интересовала. Взглянем на губы...

Маса подошёл, а Сенька смотреть не стал.

Легонько затрещало — это Эраст Петрович, надо думать, оттирал у Ташки со рта пластырь.

— Так и есть. Пластырь несколько раз отлепляли и прилепляли. Мучитель вновь и вновь спрашивал о чем-то, а девочка ему не отвечала.

Это навряд ли, подумал Скорик, чтоб Ташка такому ироду ничего не отвечала. Ещё как, поди, отвечала, самыми что ни на есть громкими словами. Только тут, в Хохловском, ори не ори, ругайся не ругайся, никто не придёт, не выручит.

— А вот это интересно. Маса, посмотри на её з-зубы.

— Мородец, — сказал сенсей и одобрительно поцокал языком. — За парец его цапнура.

— Эх, жаль нет лаборатории, — вздохнул инженер. — Взять бы частицу крови преступника на анализ. Да в московской полиции, вероятно, не слыхали о методике Ландштейнера... Но все же нужно каким-то образом привлечь внимание следователя к этой д-детали...

Они с Масой склонились над Ташкой, а Сенька, чтоб без дела не торчать, прошёлся по комнате. В окошке были выставлены три белых нарцисса. На языке цветов это что-то значило. “Я тебя люблю”? Или, может, “чтоб вы все, гады, провалились”? Теперь уж никто не переведёт...

— Эх, — сказал Сенька вслух, больше самому себе, в укор. — Мне бы пораньше прийти, до темна. Больно осторожничал, вот и припозднился.

Эраст Петрович мельком оглянулся.

— До темна? Убийство совершено по меньшей мере третьего дня, а скорее всего т-трое суток назад. Так что ты, Сеня, припозднился сильнее, чем тебе кажется.

И то верно. Вон и нарциссы на окошке совсем подвяли.

А что не заметил никто, так ведь это Хитровка. Если помрёт кто, то так и будет лежать, пока соседи тухлятину не унохают.

— Если это не полоумный, то чего он от Ташки-то хотел? — спросил Скорик, глядя на мёртвые цветы. — Чего с неё взять?

— Не “чего”, а “кого”, — ответил инженер, как бы даже удивившись вопросу. — Тебя, Сеня. Ты очень нужен этому настырному господину. Зачем — сам знаешь.

— Беда! — всплеснул руками Сенька. — Я Ташке про вас и господина Масу рассказывал. Что вы в Ащеуловом переулке живёте, тоже говорил! Если он, душегуб этот, такой настырный, то непременно вызнает, куда мы съехали! Ломовиков найдёт, что вещи перевозили, поспрошает… Ведь три дня уже прошло! Бежать надо!

— Не “поспрашает”, а “расспросит”, — строго сказал инженер, стягивая тонкие каучуковые перчатки. — А бежать мы никуда не будем. По двум причинам. Мы твоего д-доброжелателя не боимся, пускай приходит — нам же проще. Это раз. И потом, ты скверного мнения о мадемуазель Ташке. Она тебя не выдала, ничего палачу не сказала. Это два.

— Почём вы знаете, что не выдала?

— Не забывай: я имел честь быть знакомым с этой незаурядной особой. Она была тебе настоящим т-товарищем. Ну а кроме того, если б она заговорила, то пластырь с её рта был бы снят. Раз не снят, значит, она до самого конца так и не заговорила.

И здесь время, отведённое на дедукцию, видимо, закончилось, потому что лицо господина Неймлеса из сосредоточенного и деловитого стало безмерно печальным.

— Жалко девочку, — сказал Эраст Петрович и положил Сеньке руку на плечо.

Плечо немедленно затряслось — само по себе, и ничего поделать с этим было нельзя.

А Маса подобрал с пола щенка, бережно пристроил на подоконник, поближе к нарциссам.

— И сенка тодзе дзярко. Он быр храбрый. В средусей дзизни родится самураем.

Но несентиментальный инженер велел положить Помпония обратно на пол — “дабы не замутнять для следователя, и без того не слишком т-толкового, картину преступления”.

Как Сенька дедуктировал

Сенька и Маса сидели в кабинете, тихонько. Смотрели, как Эраст Петрович, потряхивая чётками, прохаживается по комнате. Скорик уже знал: нужно помалкивать, терпеливо ждать, чего будет.

Один раз инженер остановился посреди комнаты, спрятал зелёные камешки в карман и быстро хлопнул в ладоши, три раза подряд, будто вдруг безмерно чему-то обрадовался.

Но сенсей приложил палец к губам: сиди помалкивай, не всё ещё.

Однако вскоре после этого господин Неймлес топтать ковёр перестал, сел в кресло и заговорил — раздумчиво, будто бы сам с собой:

— Итак. Совершено три жестоких убийства: первое и третье на Хитровке, второе в пяти минутах ходьбы от Хитровки, но тоже на территории, подведомственной Третьему Мясницкому участку городской полиции. В общей сложности преступник лишил жизни восемь человек — двоих мужчин, трёх женщин, трёх детей — и ещё почему-то попугая и собаку. Каждый раз одну из жертв перед смертью жестоко истязали, выведывая некие п-потребные убийце сведения. Ни улик, ни свидетелей нет. Таковы вкратце условия стоящей перед нами задачи. Что требуется — понятно. Найти выродка и передать в руки правосудия.

— А если не поручиться дзивьем, тогда передать его правосудию в виде турупа, — быстро добавил Маса.

— Если при задержании преступник окажет с-сопротивление, тогда, исчерпав доволеные законом меры самообороны, — здесь инженер поднял палец и со значением посмотрел на своего камердинера, — возможно, не удастся избежать упомянутого тобой исхода.

— Найти бы его, паскуду, и башку оторвать, — вставил своё слово Сенька.

— Не б-башку, а голову. Но как бы там ни было, сначала нужно его найти. — Эраст Петрович обвёл взглядом участников совещания. — Есть ли вопросы, прежде чем мы перейдём к дедуктированию и п-практическим мерам?

Сенька не знал, чего спрашивать, а японец, почесав жёсткий ёжик волос, задумчиво протянул:

— Са-а. Господзин, а потому “убийца”, не “убийцы”?

Эраст Петрович кивнул, признавая правомочность вопроса.

— Ты весьма убедительно изобразил, как д-действовал преступник в

Хохловском переулке. Зачем ему был нужен сообщник?

— Это не аргумент, — отрезал Маса.

— Согласен. Я должен был спросить: зачем ему понадобился бы сообщник именно в этом случае, если прежде убийца отличноправлялся и сам? На Сеню в подвале напал один человек. Это раз. — Господин Неймлес снова вынул чётки, щёлкнул бусиной. — В ювелирной лавке тоже действовал одиночка, что установлено полицией. Это два. — Щёлкнула вторая бусина. — Наконец, в Ерошенковской ночлежке преступник опять-таки отлично обошёлся без чьей-либо помощи. Как ты помнишь из рассказа Сени, Синюхин говорил о преступнике “он”. Так, Семён?

— Так, — припомнил Скорик. — Синюхин ещё “зверюгой” его обозвал.

Немножко стыдно стало, что не всю правду тогда Эрасту Петровичу открыл — про клад-то смолчал.

Инженер словно подслушал это Сенькино угрывание.

— Ну а теперь, если у вас больше вопросов нет, переходим к главному — составим план розыскных мероприятий. И ключевое слово здесь — клад.

Скорик вздрогнул, заморгал глазами, зато сенсей нисколько не удивился, ещё и головой покивал:

— Да-да, крад.

— Поведение п-преступника, все его чудовищные деяния перестают казаться бесмысленными, если нанизать их на эту нить. — Господин Неймлес сосредоточенно посмотрел на чётки. — Логическая последовательность здесь выстраивается следующая. Каляка из ерохинских подвалов нашёл старинный клад. (Бусиной — щёлк.) Об этом узнал будущий убийца. (Второй раз — щёлк.) Он попытался вытрясти из Синюхина эту тайну, но не сумел. (Третий раз — щёлк.) Зато перед смертью каляка открыл секрет клада нашему Сене. (Четвёртый раз — щёлк.) Здесь Скорик поёжился и, судя по разогревшимся щекам, даже покраснел, но Эраст Петрович на него не смотрел — говорил так, будто и без Сеньки всё знает.) Д-далее. Убийца каким-то непонятным образом выяснил, что Сене известно местонахождение сокровища. (Пятый раз — щёлк.) То есть, нам непонятно, каким образом преступник об этом узнал, но зато понятно, откуда. След, по которому господин к-кладоискатель вышел на Сеню, вёл от ювелирной лавки. (Шестой раз — щёлк.) Полагаю, что Самшитов рассказал убийце и про тебя, и про то, где тебя можно найти — подтверждением тому является некий визит в нумера мадам Борисенко. (Седьмой раз — щёлк.)

Скорик замигал — какой такой визит? Инженер и японец переглянулись, и Эраст Петрович сказал:

— Да, Сеня, да. Тебя спасло только то, что ты в тот же вечер переехал, не оставив адреса, а ещё через несколько часов мы забрали тебя к себе. На следующий день мадам Борисенко сообщила Масе, что ночью у тебя в комнате кто-то был. Вскрыл дверь, ничего не тронул и ушёл. Мы не стали тебе об этом говорить, потому что ты и без того был изрядно напуган.

Сенька подпёр кулаком подбородок — вроде как в задумчивости, а на самом деле, чтоб не стучали зубы. Матушка Пресвятая Богородица, лежать бы и ему прикрученным к кровати, как Ташка, если б остался тогда ночевать, решил бы, что утром вечера мудренее.

— С твоим исчезновением убийца на несколько дней потерял след. Но потом ты появился на Хитровке, и это сразу стало известно преступнику — не знаю, случайно или неслучайно. Откуда-то он узнал, что ты вошёл в Ерошенковскую ночлежку, и устроил засаду недалеко от выхода. Твоя неосторожность чуть не стоила тебе жизни. (Восьмой раз — щёлк.)

— Ништо, меня голыми руками не возьмёшь, — бодрясь, сказал Скорик. — Хотел он меня жизни лишить, да я скользкий, вывернулся, ещё палкой его огrel. Будет помнить.

— Если бы он хотел тебя убить, то убил бы. Сразу, — охолонил его инженер. — Он отлично умеет это делать — хоть ножом, хоть голыми руками. Нет, Сеня, ты был нужен ему живой. Он заставил бы тебя раскрыть местонахождение клада, а уже потом убил бы.

От этих слов Сенька снова подбородок подпёр, только уже не одним кулаком, а двумя.

— Потеряв твой след после убийства ювелира, убийца решил з-зайти с другой стороны. На Хитровке многие знали о твоей дружбе с мадемуазель Ташкой. Знал об этом и твой п-поклонник. (Девятый раз — щёлк.) Сначала он, видимо, пытался у неё что-то выведать, не прибегая к крайним мерам. Об этом она и шепнула тебе на ходу — хотела предупредить об опасности. Очевидно, преступник наведывался к ней и после неудачного нападения в подвале. Недаром Ташка выставила на окно нарциссы. Если я правильно помню, на языке цветов три белых нарцисса — это сигнал “беги-беги-беги”.

А ведь верно, вспомнил Скорик. Ташка же когда-то рассказывала и про белые нарциссы, и про то, что один сигнал, будучи повторенным, удваивает или утраивает силу послания, навроде восклицательного знака.

— В конце концов, — инженер посмотрел на чётки, но щёлкать

больше не стал, — злодей решил взяться за девочку всерьёз.

— А она меня не выдала... — Сенька не сдержался, всхлипнул. — Да пропади он пропадом, этот клад! Лучше б Ташка сказала ему, что я обещался к ней прийти — может, он бы тогда её не тронул. А я бы всё отдал, пускай он, падаль, подавится своим серебром! Это Князь, да? Или Очко? — смахнув рукавом слезы, спросил он. — Вы ведь, наверно, уже раздедуктировали?

— Нет, — разочаровал Сеньку господин Неймлес. — У меня недостаточно д-данных. Покойный каляка был слишком привержен к питию и, кажется, не умел держать язык за зубами. Раз о найденном кладе прослышили в шайке Князя, значит, могли знать и другие.

Потом наступило молчание. Скорик изо всех сил боролся с чувствительностью организма: с зубами, чтоб не клацали, с коленками, чтоб не дрожали, и со слезами, чтоб не текли. Эраст Петрович по своей дурацкой привычке ни с того ни с сего принял марать бумагу. Обмакнул кисточку в тушечницу, намалевал на листке какую-то мудрёную загогулину. Маса внимательно следил за кисточкой. Покачал головой:

— Нехорошо.

— Сам вижу, — пробормотал инженер и закалякал снова, только быстрей. — А так?

— Ручше.

Нет, прямо малолетки какие-то, ей-богу! Тут такие дела, а они!

— Что вы хренью маетесь? — не выдержал Сенька. — Делать-то чего будем?

— Не “хренью маетесь”, а “занимаетесь ерундой”. Это раз. — Эраст Петрович склонил голову, любуясь своими караулями. — Я не занимаюсь ерундой, а концентрирую мысль при помощи каллиграфии. Это два. Безупречно написанный иероглиф “справедливость” помог мне перейти от дедукции к п-проекции. Это три.

Скорик подумал и спросил:

— А?

Господин Неймлес вздохнул:

— Если ты чего-то недопонял или не расслышал, нужно говорить: “Простите, что?” Проекция в данном случае означает вывод аналитических умопостроений в п-практическую фазу. Итак. Благодаря твёрдости мадемузель Ташки убийца остался ни с чем. Где и как тебя искать, ему неизвестно. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо.

— Чего ж плохого-то? — удивился Сенька.

— Преступник (предлагаю пока дать ему имя Кладоискатель) не

может действовать, а стало быть, никак себя не проявит и ничем себя не выдаст. — Эраст Петрович оценивающе посмотрел на Скорика. — Можно, конечно, половить на живца, то есть нарочно подставить ему тебя, но слишком уж этот господин б-брутален. Ловля может выйти рискованной.

С этим Сенька спорить не стал. Видел он, как на живца-то ловят — на уклейку там или ещё на какую малую рыбёшку: сначала щука наживку зацепает, в хребте зубьями увязнет, и только потом уж её, хапугу, вытягивают ответ держать.

— А без живца его ловить как-нибудь можно? — осторожно поинтересовался он.

— Модульно, — сказал сенсей. — Не на дзивца, а на мертвца. Да, господзин? Я угадар?

Эраст Петрович нахмурился:

— Да, угадал. Но сколько раз тебе говорить: не пытайся каламбурить. Для этого ты ещё недостаточно овладел русским языком.

Сенька наморщил лоб. Выходило, что он один тут дурак, а остальные все умные.

— Какого ещё мертвца?

— Маса имеет в виду даму по имени Смерть, — объяснил инженер. — Каким-то пока непонятным нам образом все хитровские з-злодеяния, произошедшие за последний месяц, связаны с этой особой. Равно как и все основные действующие лица: и Князь, и Очко, и прочие корифеи делового мира, и не в меру шустрой пристав, да и главная мишень Кладоискателя тоже.

Это про меня, догадался Скорик.

— Вы хотите его через Смерть поймать? Думаете, она заодно с этим гадом? — недоверчиво спросил он.

— Нет, не д-думаю. Более того, она согласилась мне помочь.

Вот это новость! Выходит, когда разочаровавшийся в людях Сенька через форточку вылез, они о чем-то там меж собой уговорились? Верней, он её уговорил, растрявил себе душу Скорик. И не удержался, с небрежным видом спросил:

— Что, уделали её? Чай, нетрудно было.

Голос, иуда, дрогнул.

Инженер же легонько щёлкнул Сеньку по лбу.

— Подобных вопросов, Сеня, не задают, и уж во всяком случае на них не отвечают. Это раз. О женщинах вообще в п-подобном тоне не говорят. Это два. Но поскольку мы все, и в том числе она, будем делать одно общее дело, во избежание д-двусмысленностей отвечу: я эту барышню не

“уделал” и даже не пытался. Это три.

Верить или нет? Может, попросить, чтоб побожился?

Скорик испытующе посмотрел на господина Неймлеса и решил, что такой врать не станет. Сразу будто камень с души свалился.

— А чем Смерть может нам помочь? — перешёл он на деловитый тон. — Если б чего про Кладоискателя этого знала, то, верно, сказала бы. Она зверства всякие не одобряет.

Маса значительно покряхтел — мол, готовьтесь, сейчас объявлю важное. Сенька к японцу повернулся, а тот произнёс такое, что не поймёшь — не разберёшь:

— *Тайфу-но мэ.*

Но инженер понял.

— Именно. Очень точная м-метафора. Око тайфуна. Знаешь, Сеня, что это такое? — Дождавшись, пока Скорик помотает головой, стал объяснять. — Тайфун — это страшный ураган, который несётся по морям и землям, сея разрушение и ужас. Но в самом центре этого вихря сохраняется очаг безмятежного покоя. Внутри тайфунова ока царит мир, но без этого статичного центра не было бы и свирепого смерча. Смерть не преступница, она никого не убивает — просто сидит у окна и вышивает на полотне причудливые узоры. Но самые беспощадные злодеи миллионного города роятся вокруг неё, как пчелы вокруг матки.

— Тодзе хорошее сравнение, — похвалил Маса. — Но моё все-таки ручше.

— Во всяком с-случае, романтичней. В эти дни я несколько раз наведывался в дом на Яузский бульвар и имел возможность узнать хозяйку ближе.

Ах, вот как? Сенька снова набычился. Ну вы, Эраст Петрович, и ловкач, всюду поспеваете. “Узнать ближе” — это как?

— Во время нашей последней встречи, — продолжил господин Неймлес, очевидно, не замечая Сенькиных страданий, — она сказала, что чувствует за собой слежку, хоть и не понимает, кто именно за ней следит. Выходя на бульвар, я тоже уловил боковым зрением тень, спрятавшуюся за угол дома. Это обнадёживает. Мадемуазель Смерть теперь — наш единственный шанс. Господин Кладоискатель, убив Ташку, собственными руками оборвал ниточку, ведущую к тебе. Теперь, когда он остался у разбитого к-корыта...

— А? В смысле, простите, что? Какого корыта? — спросил Скорик, слушавший с напряжённым вниманием. Эраст Петрович ни с того ни с сего засердился:

— Я велел тебе купить сборник Пушкина и прочесть хотя бы сказки!

— Я купил, — обиделся Сенька. — Там много было Пушкиных. Я вот этого выбрал.

И в доказательство достал из кармана книжку, третьего дня купленную на развале. Книжка была интересная, даже с картинками.

— “Запретный Пушкин. Стихи и поэмы, ранее ходившие в списках”, — прочитал заглавие инженер, нахмурился и стал перелистывать страницы.

— И сказки прочёл, — ещё больше оскорбился на такое недоверие Скорик. — Про архангела и Деву Марию, потом про царя Никиту и его сорок дочерей. Не верите? Хотите перескажу?

— Не надо, — быстро сказал Эраст Петрович, захлопывая книжку. — Ну и негодяй.

— Пушкин? — удивился Сенька.

— Да не Пушкин, а издатель. Нельзя печатать то, что автором для печати не предназначалось. Так можно далеко зайти. Помяните моё слово: скоро господа издатели дойдут до того, что начнут печатать интимную п-переписку! — Инженер сердито швырнул томик на стол. — Кстати, именно о переписке я намеревался с тобой, Сеня, говорить. Раз за Смертью следят, появляться у неё больше нельзя. Установить постоянное наблюдение за домом тоже вряд ли удастся — чужого человека сразу заметят. Значит, будем сообщаться д-дистанционно.

— Как это — дистанционно?

— Ну, эпистолярно.

— В засаде, что ли сядем, с пистолетами? — Идея Сеньке понравилась. — И мне пистолет дадите?

Эраст Петрович озадаченно уставился на него.

— При чем здесь п-пистолет? Мы будем переписываться. Я госпожу Смерть навещать больше не могу. Маса тоже — слишком приметен. Сеньке Скорику там появляться тоже ни к чему. Верно?

— Да уж.

— Остаётся писать друг другу письма. Мы с ней условились так. Каждый день она будет ходить в церковь святого Николая, к обедне. Ты сядешь на паперти, переодетый нищим. Вместе с милостыней мадемуазель Смерть будет передавать тебе записки. Я почти уверен, что Кладоискатель себя проявит. Он наверняка слышал о том, как ты наставил Князю рога.

— Кто, я?! — ужаснулся Сенька.

— Ну да. Вся Хитровка про это говорит. Даже в агентурную сводку попало, мне знакомый чиновник из сыскной полиции показывал.

“Объявленный в розыск бандит Дрон Веселов (прозвище “Князь”) грозится найти и убить любовника своей подруги, несовершеннолетнего Скорика, местонахождение и подлинное имя которого неизвестны”. Так что, Сеня, для всех ты — любовник Смерти.

Как Сенька читал чужие письма

В кабинете у Эраста Петровича имелось большое зеркало. То есть сначала-то там никакого зеркала не было, это инженер распорядился пристроить на письменном столе трюмо, перед которым расставил всякие баночки, скляночки, коробочки — ни дать ни взять парикмахерский салон. Кстати сказать, там ещё и парики были, самой разной волосатости и окраски. Когда Сенька спросил, мол, это вам зачем, господин Неймлес ответил загадочно: у нас, говорит, начинается сезон маскарадов.

Скорик подумал, шутит. Однако ему же первому и выпало в ряженого сыграть.

Наутро после дедукции-проекции Эраст Петрович усадил Сеньку перед зеркалом и давай над сиротой измываться. Сначала голову какой-то дрянью намазал, отчего пропала вся куафюра, за которую три рубляплачено. Волосья от нехорошой мази из приятно-золотистых стали спутанными, липкими, сосудистыми и мышиного цвета.

Маса, наблюдавший за измывательством, довольно поцокал, говорит:

— Воськи надо.

— Без тебя з-знаю, — ответил сосредоточенный инженер, залез щепотью в некую коробочку и втёр Сеньке в затылок какие-то не то зёрнышки, не то катышки.

— Чего это?

— Сушёные вши. Нищему без этой ф-фауны никак. Не беспокойся, потом промоем керосином.

У Скорика челюсть отвисла. Коварный господин Неймлес этим воспользовался и покрасил золотую фиксую в гнилой цвет, а потом засунул в разинутый рот какую-то дулю в марле, пристроил между десной и щекой. От этого всю рожу, то есть лицо, у Сеньки перекосило набок. А Эраст Петрович уже натирал страдальцу лоб, нос и шею маслом, от которого кожа стала землистая, пористая.

— Уси, — подсказал сенсей.

— Не слишком будет? — усомнился инженер, однако пошуровал палочкой у Сеньки в ушах.

— Щекотно!

— Пожалуй, с гноящимися ушами и в самом деле лучше, — задумчиво сказал Эраст Петрович. — Перейдём к г-гардеробу.

Достал из шкафа такое рваньё, какого Сенька отродясь не нашивал,

даже в худшие времена проживания у дядьки Зот Ларионыча.

Посмотрел Скорик на себя в тройное зеркало, повертелся и так, и этак. Ничего не скажешь, нищий вышел на славу. И, главное, кто из знакомых увидит — нипочём не узнает. Тревожило только одно.

— У них, у нищих, все места промеж собой расписаны, — стал он объяснять Эрасту Петровичу. — Надо с ихним старшиной договариваться. Коли просто так на паперть заявиться, прогонят, да ещё накостыляют.

— Будут гнать, пожуй вот это. — Инженер дал ему гладкий шарик. — Это обычное детское мыло, с клубничным вкусом. Фокус простой, но эффективный, у одного знаменитого афермачера позаимствовал. Только, как пена изо рта пойдёт, не забывай закатывать г-глаза.

* * *

Поначалу Скорик все же опасался. Пришёл к Николе-Чудотворцу что на Подкопае, сел на паперти с самого краешку, глаза на всякий случай сразу под самый лоб укатил. Бабка-кликуша и дед-безнос, что промышляли по соседству, заворчали: вали, мол, отсель, знать тебя не знаем, и так подают плохо, вот придёт Будочник, он тебе ужо пропишет, и ещё всякое.

Когда же явился Будочник и нищие стали ему на новенького ябедничать, Сенька погнал из губ пену, затряс плечами, да ещё захныкал тоненько. Будочник посмотрел-посмотрел и говорит: вы что, стервы, не видите — он взаправду припадошный. Не трожьте его, пускай кормится, не буду за него с вас мзду брать. Вот он какой, Будочник — справедливый. Потому и прожил на Хитровке двадцать лет.

Нищие от Скорика и отстали. Он малость отмяк, глаза из-подо лба обратно скатил, начал по сторонам зыркать. Подавали и правда немного, всё больше копейки и грошики. Раз мимо Михейка Филин прошёл. Сенька от скуки (а ещё чтоб проверить, хорош ли маскарад) ухватил его за полу, заныл: дай, дай денежку убогому. Филин денежки не дал, ещё и обругал матерно, но узнать не узнал. Тут Скорик совсем успокоился.

Когда зазвонили к обедне и бабы потянулись в церковь, из-за угла Подколокольного вышла Смерть. Одета была невидно — в белом платке, сером платье, но всё равно в переулке будто солнце из-за туч выглянуло.

Оглядела попрошаек, на Сеньке взглядом не задержалась. Вошла в двери.

Эге, забеспокоился он. Не перестарался ли Эраст Петрович? Как Смерть поймёт, кому записку передавать?

И когда молельщики после службы стали выходить, Сенька нарочно загнусавил с заиканием — чтоб Смерть сообразила, на кого намёк:

— Люди д-добрьые! Не сердитесь на с-сироту убогого, что п-побираюся! П-поможите кто чем м-может! А сам я не из этих м-местов, з-знать тута никого не з-знаю! Д-дайте хлебца к-кусок да денег ч-чуток!

Она пригляделась к Сеньке, прыснула. Значит, догадалась. Каждому из нищих дала в руку по монетке. И Скорику тоже пятак сунула, а с ним свёрнутую в квадратик бумажку.

Пошла себе, прикрывая рот концами платка — вот как Сенькин вид её распотешил.

Ну, а он, едва с Хитровки уковылял, сразу сел у афишной тумбы на корточки, развернул листок, стал читать. Почерк у Смерти был ровный, для чтения лёгкий, хоть буковки совсем махонькие.

“Здравствуйте Эраст Петрович. Что вы велели я всё исполнила. Лепесток как обещала на грудь повесила и он сразу приметил.

[Что за лепесток, почесал затылок Сенька. И кто это “он”? Ладно. Может, после прояснится?]

Скривился весь говорит чудная ты. Дрянь какую повесила а моё дарёное не носишь. Стал допытываться не подарил ли кто. Я как условлено говорю Сенька Скорик. Он в крик. Пащенок говорит. Доберусь раздеру в клочья.

[Так это ж она про Князя! Мятый листок так и заходил у Сеньки в руках. Что она делает-то? Зачем наговаривает? Совсем погубить хочет! Не знаю никакого лепестка! Не то что не дарил — в глаза не видывал! Дальше глазами по строчкам быстрей побежал.]

Тяжко с ним. По всё время нетрезвый хмурый и грозится. Ревнует меня очень. Хорошо хоть только к Скорику.

[Да уж куда лучше, жалобно скривился Сенька.]

А узнал бы про прочих то-то крови бы полилось. Я к нему заходила и так и этак. Отпирается. Говорит ведать не ведаю кто такую беспардонщину творит самому знать желательно. Вызнаю тебе скажу коли интересуешься. А правду ли говорит

или врёт не скажу потому что он теперь стал не такой как прежде. Будто не человек а хищный зверь. Клыки по всё время ощерены. А ещё хочу вам сказать про наш прошлый разговор что за безнравие вы меня Эраст Петрович не корите. Что у человека на роду написано в том он не волен а волен только это свыше написанное повернуть на злое или на доброе. И не говорите со мной так больше и про это не пишите потому что незачем.

Смерть”

Про что про “это” не писать и не говорить? Не иначе как про её непотребное распутство с Селезнем и прочими гадами.

Сложил Сенька записку обратно как было, квадратиком, понёс Эрасту Петровичу. Очень хотелось порасспросить хитроумного господина Неймлеса, зачем это он удумал Князя против сироты ещё больше растравлять, для какой такой надобности? И что за лепесток такой, якобы им, Сенькой, Смерти дарёный?

Однако спросить — только себя выдать, что в письмо нос совал.

Всё равно открылось.

Инженер только глянул на бумажку и сразу укоризненно покачал головой:

— Нехорошо, Сеня. Зачем прочёл? Разве к тебе писано?

— Ничего я не читал, — попробовал упираться Скорик. — Больно надо.

— Ну как же. — Эраст Петрович провёл пальцем по сгибам. — Развёрнуто и снова свёрнуто. А это что присохло? Никак вошь? Вряд ли это с-собственность мадемуазель Смерти.

От такого разве что утаишь?

* * *

Назавтра Скорик тоже получил от господина Неймлеса письмо, но не просто листочком — в конверте.

— Раз ты такой любопытный, — объявил инженер, — я своё послание з-заклеиваю. Языком отлизать не пытайся. Это патентованный американский клей, схватывает насмерть.

Долго мазал крошечный конвертик кисточкой, потом жал сверху пресс-папьеём.

Сенька только диву давался. Вот уж воистину — на всякого мудреца.

Едва выйдя за порог, конвертик разорвал и выкинул. Такие, десятикопеечные, для амурных записок, в каждой канцелярской лавке продаются. Купить новый, переложить туда письмо, да и заклеить безо всякого хитрого клея, вот и вся недолга. Кому-куда да конверте ведь всё равно не написано...

Читать или не читать — о том Скорик и не думал. Конечно, прочесть! Как-никак его, Сенькина, судьба решается.

Записка была на папиросной бумаге, а почерк у Эраста Петровича оказался красивый, с изящными завитушками.

“Здравствуйте, милая С.

Позвольте называть Вас так — терпеть не могу Ваше прозвище, а настоящее имя Вы назвать не хотите. Постите, но я не могу поверить, что Вы его забыли. Впрочем, как Вам будет угодно. Перехожу к делу.

С первым понятно. Теперь проделайте то же со вторым, только подводите его к нужной теме неявно. Насколько я могу судить, этот субъект помудреней Князя. Достаточно, чтобы он просто увидел известный предмет. А вот если сам спросит, тогда скажете, как условлено, про СС.

[Что за “СС” такой? Сенька потёр перепачканный копотью лоб, отчего из волос просыпалась пара сушёных вшей. Ай, это же “Сенька Скорик”, вот это кто! Что же у них, интригантов, про него условлено?]

Постите, что возвращаюсь к неприятной для Вас теме, но мне мучительна мысль о том, что Вы подвергаете себя осквернению и мукам — да-да, я уверен, что для Вас это страшная мука — во имя недоступных моему пониманию и наверняка ложных идей. Зачем вы казните себя так жестоко,топите своё тело в грязи? Оно ни в чем перед вами не виновато. Вам не за что его ненавидеть. Тело человека — это храм, а храм нужно содержать в чистоте. Кто-то скажет на это: подумаешь — храм. Дом как дом: камень да строительный раствор, лишь бы душу не запачкать, а что тело, Бог ведь не в плоти, а в душе живёт. Но в осквернённом, грязном храме никогда не свершится Божественное таинство. И про то что у человека всё на роду написано, вы заблуждаетесь. Жизнь — это

не книга, по которой возможно двигаться лишь вдоль написанных кем-то за Вас строчек. Жизнь — равнина, на которой бессчётное множество дорог; на каждом шагу новая развилка, и человек всегда волен выбрать, вправо ему повернуть или влево. А потом будет новая развилка и новый выбор. Всяк идёт по этой равнине, сам определяя свой путь и направление — кто на закат, ко тьме, кто на восход, к источнику света. И никогда, даже в самую последнюю минуту жизни, не поздно взять и повернуть совсем не в ту сторону, к которой двигался на протяжении долгих лет. Такие повороты случаются не столь уж редко: человек шёл всю жизнь к ночной тьме, а напоследок вдруг взял и обернулся лицом к восходу, отчего и его лицо, и вся равнина осветились другим, утренним сиянием. Бывает, конечно, и наоборот. Я плохо, путано объясняю, но мне почему-то кажется, что Вы меня поймёте.

Э. Н.”

В общем, интересного в записке было немного. Охота только человека гадкими мазями тереть и гонять через весь город за ради философских балаболок.

Потратил гривенник на новый конверт, да и поспешил к Николе-чудотворцу.

* * *

Смерть нынче была не в белом платке, а в бордовом, и от этого лицо у неё будто переливалось сплохами пожара. Проходя в церковь, опалила таким взглядом, что Сенька заёрзal на коленках. Вспомнилось (прости, Господи — не к месту и не ко времени), как она его целовала, как обнимала.

И когда обратно выходила, глаза у неё были всё те же, шальные. Наклонилась милостыню сунуть и письмо забрать — шепнула:
— Здравствуй, любовничек. Ответ завтра.
Шёл обратно на Спасскую — пошатывало.
Любовничек!

Только завтра ответа от Смерти не было. Она вовсе не пришла. Скорик

чуть не дотемна коленки протирал, на два рубля подаяний наклянчил, и всё впустую. Будочник, и тот, в десятый или, может, в пятнадцатый раз обходя участок, сказал: “Что-то ты нынче жаден, убогий. Клянчить клянчи, да меру знай”.

Только тогда и ушёл.

* * *

В четвёртый день, выпавший на воскресенье, Эраст Петрович погнал его снова. Что ответа на прошлое письмо не было, инженера не удивило, но, похоже, опечалило.

Отправляя Скорика на Подкопай, инженер сказал:

— Если и сегодня не явится, придётся отказаться от переписки, придумать что-нибудь другое.

Но она пришла.

Правда, на Скорика даже не глянула. Одаряя, смотрела в сторону, и глаза были сердитые. Сенька увидел на шее у неё серебряную чешуйку на цепочке — точно такую, какие в кладе были. Раньше у Смерти такого украшения не было.

В руке у Сеньки на сей раз осталась не бумажка, а свёрнутый шёлковый платочек.

Отошёл в тихое место, развернул. Внутри обнаружился и листок. Осторожненько, следя, чтобы из волос ничего не просыпалось и чтобы бумажные сгибы куда не надо не перегнулись, Сенька стал читать.

“Здравствуйте Эраст Петрович. Ничего у него не выведывала не высрашивала. Обнову мою он приметил зыркнул своим пустыми зенками, но спросить ничего не спросил. Стих пробормотал будто для себя — привычка у него такая. Я слово в слово запомнила. Торговали мы булатом чистым серебром и золотом и теперь нам вышел срок а лежит нам путь далёк. Какой тут смысл не знаю. Может вы поймёте.

[Пушкин это, Александр Сергеевич, и понимать нечего, снисходительно подумал Скорик, как раз накануне прочитавший “Сказку о царе Салтане”. И про кого речь, тоже стало ясно — про Очка. Это он обожает стихами говорить.]

А про тело писать мне больше не смейте иначе переписке нашей конец. И так хотела разорвать. Вчера не пошла очень на вас сердилась. Но сегодня когда он ушёл было мне видение. Будто лежу я посреди равнины про какую вы писали и не могу встать. Долго лежу не день и не два. И будто сквозь меня трава растёт и цветы всякие. Я их внутри себя чувствую и не плохо это, а наоборот очень хорошо как они через меня к солнцу пробиваются. И будто бы уже это не я лежу на равнине, а я самая эта равнина и есть. Я после своё видение как смогла на платке вышила. Примите в подарок.

Смерть”

Платок, на который Скорик сначала толком и не взглянул, в самом деле с вышивкой оказался: наверху солнце, а внизу девушка лежит, нагишом, и из неё травы-цветы всякие произрастают. Очень Сеньке эта небывальщина, а культурно говоря, аллегория, не понравилась.

Эраст Петрович, в отличие от Сеньки, сначала платок рассмотрел и только потом развернул письмо. Посмотрел и говорит:

— Ох, Сеня-Сеня, что мне с тобой делать? Опять нос совал.

Скорик глазами похлопал, чтоб слезы навернулись.

— Зачем обижаете? Грех вам. Уж, кажется, себя не жалею, как последний мизерабль. Верой и правдой...

Инженер на него только рукой махнул: иди, мол, не мешай, черт с тобой.

* * *

А обратное послание от Эраста Петровича к Смерти было вот какое:

“Милая С.

Умоляю Вас, не нюхайте Вы больше эту гадость. Я попробовал наркотик один-единственный раз, и это едва не стоило мне жизни. Когда-нибудь я расскажу вам эту историю. Но дело даже не в опасности, которую таит в себе дурманное зелье. Оно нужно лишь тем людям, которые не понимают, действительно ли они живут на свете или понарошку. А Вы настоящая, живая, Вам наркотик ни к чему. Простите, что

снова пускаюсь в проповеди. Это совсем не моя манера, но таким уж странным образом Вы на меня воздействуете.

Остальным двоим, если обратят внимание на предмет, говорите не про СС

[и на том спасибо, подумал Сенька],

а про некоего нового ухажёра, заику с седыми висками. Так нужно для дела.

Vash Э. Н."

Смерть на сей раз пришла не сердитая, как вчера, а весёлая. Наклоняясь и беря письмо, сунула Сеньке вместо пятака большой гладкий кругляш, шепнула: “Посластись”.

Посмотрел — а это шоколадная медалька. Что она его, за мальца что ли держит!

* * *

В последний день Скорикова нищенства, по счёту шестой, Смерть, проходя мимо, обронила носовой платок. Нагнувшись поднять, еле слышно прошелестела: “Следят за мной. На углу”. И прошла себе в церковь. А на земле, подле Сеньки, осталась лежать записка. Он подполз, коленкой её придавил и покосился на угол, куда Смерть указала.

Сердце так и затрепыхалось.

Там, где поворот с Подколокольного, опервшись об водосток, стоял Проха, лузгал семечки. Глазами так и впился в церковную дверь. На нищих, слава Богу, не пялился.

Ах ты, ах ты, вон оно что!

И пошла у Сеньки в голове такая дедукция, что только поспевай.

В тот самый день, когда к ювелиру прутья серебряные нёс, прямо на Маросейке кого встретил? Проху. Это раз.

Потом на Трубе, вблизи нумеров, кто тёрся? Когда городовой-то на помощь прибежал? Опять Проха. Это два.

Кто про Сенькину дружбу с Ташкой знал? Сызнова Проха. Это три.

И за Смертью шпионничает тоже Проха! Это четыре.

Так это, выходит, он, слизень поганый, во всем виноватый! Он и

ювелира погубил, и Ташку! Не сам, конечно. Шестерит на кого-то, скорей всего на того же Князя.

Чего делать-то, а? Какая из этой дедукции должна проистечь проекция?

А очень простая. Проха за Смертью следит, а мы за ним присмотрим. Кому он докладать-то пойдёт, реляцию делать? Вот и поглядим. Покажем господину Неймлесу, что Сенька Скорик годен не только на посылках быть.

Смерть, когда из церкви вышла, нарочно отвернулась, даже милостыни сегодня не подавала — проплыла мимо лебедью, но Сеньку полой платья задела. Надо думать, не случайно. Не зевай, мол. Гляди в оба.

Он досчитал до двадцати и поковылял следом, припадая на обе ноги сразу. Проха шёл чуть впереди, назад не оборачивался — видно, не думал, что и за ним могут докладывать.

Так и прибыли на Яузский бульвар, на манер журавлинного клина: впереди и посерёдке Смерть, потом, по левой стороне и поотстав — Проха, а ещё шагах в пятнадцати и справа — Скорик.

Перед дверью дома Проха замешкался, стал в затылке чесать. Похоже, не знал, чего ему дальше делать — тут торчать или уходить. Сенька за углом примостился, ждал.

Вот Проха тряхнул башкой (ну головой, головой), сунул руки в карманы, развернулся на каблуке и споро пошёл обратно. Князю докладывать, сообразил Скорик. Или, может, не Князю, а другому кому.

Когда Проха мимо протопал, Сенька повернулся спиной, руки к мотне пристроил, вроде как нужное дело справляет. А потом двинул за прежним дружком.

Тот наподдал сапогом яблочный огрызок, заливисто свистнул на стаю голубей, что клевали навоз (они всполошились, заполоскали крыльями), да и свернул во двор, откуда удобно на Хитровскую площадь просквозить.

Сенька за ним.

Едва вышел из первой подворотни в сырой, тёмный двор, сзади — хвать за плечо, рванули с силой, развернули.

Проха! Учуял слежку, остромордый.

— Ты чё, — шипит, — ко мне прилип, рвань? Чего надо?

Так тряхнул за ворот, что у Сеньки голова мотнулась и из-за щеки вылетела дуля, от которой личность смотрелась скосорыленной. Пришлось эту маскарадную хитрость вовсе выплюнуть.

— Ты?! — ахнул Проха, и ноздри у него жадно раздулись. — Скорик? Ты-то мне и нужен!

И второй рукой тоже за ворот цап — не вырвешься. Хватка у Прохи

была крепкая. Сенька знал: по части силы-ловкости тягаться с ним нечего. Самый лихой пацан на всей Хитровке. Полезешь махаться — накостыляет. Побежишь — догонит.

— А ну шагай за мной, — ухмыльнулся Проха. — Так пойдёшь или для почину юшку пустить?

— Куда идти-то? — спросил Сенька, так пока и не опомнившись от фиаски замечательно придуманной проекции. — Ты чего вцепился? Пусти!

Проха лягнул его носком сапога по щиколотке, больно.

— Пошли-пошли. Один хороший человек побалакать с тобой желает.

Если по-настоящему, по-хитровски драться — на кулаках или хоть ремнями — Проха бы в два счета его забил. Но зря что ли Сенька японской мордобойной премудрости обучался?

Когда Маса-сенсей понял, что настоящего бойца из Скорика не выйдет — очень уж ленив и боли боится, то сказал: не стану, Сенька-кун, тебя мужскому бою учить, научу женскому. Вот один такой урок, как бабе себя соблюсти, если охальник её за шиворот ухватил и сейчас бесчестье станет, Скорик сейчас и припомнит.

— Прое этого, — сказал сенсей, — торько пареная репка.

Ребром левой ладони, снизу, полагалось бить срамника по самому кончику носа, а как голову запрокинет — костяшками правой кисти в адамово яблоко. Сенька, наверно, раз тыщу этак по воздуху молотил: раз-два, левой-правой, по носу — в кадык, по носу — в кадык, раз-два, раз-два.

Вот и сейчас это самое раз-два исполнил, полсекундочки всего и понадобилось.

Как пишут в книжках, результат превзошёл все ожидания.

От удара по носу — несильного, почти скользящего — Прохина голова мотнулась назад, а из дырок брызнуло кровью. Когда же Сенька сделал “два”, аккурат по подставленному горлу, Проха захрипел и повалился.

Сел на землю, одной рукой за горло держится, другой нос зажимает, рот разинут, глаза закатились. А кровищи-то, кровищи!

Скорик прямо напугался — не до смерти ли убил?

Сел на корточки:

— Эй, Проха, ты чё, помираешь что ли?

Потряс немножко.

Тот хрюпит:

— Не бей... Не бей больше! А, а, а! — хочет вдохнуть, а никак.

Пока не опомнился, Сенька на него по всей форме настал:

— Говори, гад, на кого шестеришь! Не то вдарю по ушам — зенки повылезут! Ну! На Князя, да?

И замахнулся обеими руками (был ещё и такой приём, из несложных — нехорошему человеку разом пониже обоих ушей врезать).

— Нет, не на Князя... — Проха потрогал мокрый от крови нос. — Сломал... Костяшку сломал... У-у-у!

— А на кого? Да говори ты!

И кулаком ему — прямо в серёдку лба. Такого приёма сенсей не показывал, само собой получилось. Прохе-то, поди, ничего, а Сенька себе все пальцы поотшиб. Однако подействовало.

— Нет, там другой человек, пострашней Князя будет, — всхлипнул Проха, заслоняясь руками.

— Пострашней Князя? — дрогнул голосом Скорик. — Кто такой?

— Не знаю. Бородища у него чёрная, до пупа. Глаз тоже чёрный, блестящий. Боюсь я его.

— Да кто он? Откуда? — не на шутку забоялся Сенька. Бородища до пупа, чёрный глаз. Ужасы какие!

Проха зажал пальцами нос, чтоб перестало течь. Загнусавил:

— Кдо-одгуда де ведаю, а хочешь посбодредь — покажу. Встреча у бедя с дим, скоро. В ерохидском подвале...

Опять ерохинский подвал. У, проклятое место. И Синюхиных там порезали, и самого Сеньку чуть жизни не лишили.

— Зачем встреча-то? — спросил Скорик, ещё не решив, как быть. — Доносить будешь, как за Смертью следил?

— Буду.

— А на что она твоему бородатому?

Проха пожал плечами, пошмыгал носом. Кровь уже не лила.

— Моё дело маленькое. Ну что, вести или как?

— Веди, — решился Сенька. — И смотри у меня. Если что — голыми руками насмерть убью. Меня этому один колдун обучил.

— Важно научил, ты теперь кого хошь отметелить можешь, — заискивающе оскалился Проха. — Я ничего, я, Сеня, как велишь. Жить мне пока не надоело.

Дошли до Татарского кабака, где вход в Ероху. Скорик пару раз пленника в бок пихнул, для пущей остротки, и ещё погрозился: гляди, мол, у меня, только попробуй удрать. По правде сказать, сам побаивался — ну как развернётся, да врежет кулаком под вздох. Но, кажется, опасался зря. От японской науки Проха пришёл в полное смирение.

— Сейчас, сейчас, — приговаривал Проха. — Сам увидишь, какой это человек. Я что, я ведь от страху одного. А ослобонишь меня от этого душегуба, я тебе, Скорик, только спасибо скажу.

В подвале повернули раз, другой. Отсюда уже было рукой подать до залы, где вход в сокровищницу. И до коридора, где Сеньку чуть жизни не лишили, тоже близёхонько. Вспомнил Скорик, как ему мощная лапища волосы драла и шею ломала, — задрожал весь, остановился. От первоначального куражу, с которого решил сам всё дело распутывать, мало что осталось. Извиняйте, Эраст Петрович и Маса-сенсей, а выше своей силы-возможности не прыгнешь.

— Не пойду я дальше... Ты сам с ним... А после мне обскажешь.

— Да ладно, — дёрнул его за рукав Проха. — Близко уже. Там закуток есть, спрячешься.

Но Сенька ни в какую.

— Без меня иди.

Хотел назад податься, а Проха крепко держит, не выпускает.

Потом вдруг как обхватит за плечи, как заорёт:

— Вот он, Скорик! Споймал я его! Сюда бежите!

Цепкий, гад. И не врежешь ему, и не вырвешься.

А из темноты, приближаясь, загрохотали шаги — тяжёлые, быстрые.

Сенсей учил: если лихой человек обхватил за плечи, проще всего, не мудрствуя, двинуть его коленкой по причинному месту, а если он стоит так, что коленкой не размахнёшься или не достанешь, тогда откинься сколько можно назад и бей его лбом по носу.

Вдарили, что было силы. Раз, ещё раз. Будто баран в стенку.

Проха заорал (нос-то и без того сломанный), закрыл харю-физиономию руками. Сенька рванул с места. Еле поспел — его уж сзади схватили за шиворот. Ветхая ткань затрещала, гнилые нитки лопнули, и Скорик, оставив в руке у Прохина знакомца кусок рубища, понёсся вперёд, в темноту.

Сначала-то стреканул бэзо всякого рассуждения, только бы оторваться. И только когда топот сапожищ малость поотстал, вдруг стукнуло: а куда бежать-то? Впереди та самая зала с кирпичными колоннами, а за ней-то тупик! Оба выхода на улицу отрезаны — и главный, и к Татарскому кабаку!

Сейчас догонят, зажмут в угол — и конец!

Одна только надежда и оставалась.

В зале Сенька бросился к заветному месту. Наскоро, ломая ногти, выдрал из лаза два нижних камня, вполз на брюхе в брешь и замер. Рот разинул широко-широко, чтоб вдыхать потише.

Под низкими сводами заметалось эхо — в подвал вбежали двое: один тяжёлый и громкий, второй много легче.

— Дальше ему деться некуда! — послышался задыхающийся Прохин

голос. — Тут он, гнида! Я по правой стеночке пойду, а вы по левой. Щас същем, в лучшем виде!

Скорик опёрся на локти, чтоб подальше отползти, но от первого же движения под брюхом зашуршала кирпичная крошка. Нельзя! И себя погубишь, и клад выдашь. Лежать нужно было тихо, да Бога молить, чтоб дыру возле пола не приметили. Если у них с собой лампа — тогда всё, пиши пропало.

Но судя по тому, как часто чиркало сухим о сухое, кроме спичек другого света у Сенькиных гонителей не было.

Вот шаги ближе, ближе, совсем близко.

Проха, его поступь.

Вдруг грохот, матерный лай — чуть не прямо над лежащим Скориком.

— Ништо, это я об камень ногу зашиб. Из стенки вывалился.

Вот сейчас, сейчас Проха нагнётся и увидит дыру, а из неё две подмётки торчат. Сенька изголовился на четвереньки подняться, а потом дунуть по лазу вперёд. Далеко не убежишь, однако всё отсрочка.

Пронесло. Не заметил Проха тайника. Темнота выручила, а может, Господь Бог Сеньку пожалел. Хрен с тобой, подумал, поживи пока, ещё успею тебя к Себе прибрать.

Из дальнего конца залы донёсся Прохин голос:

— Видно, в колидоре к стене прижался, а мы мимо пробежали, не приметили. Он ловкий, Скорик. Ништо, я его так на так выищу, вы не сумле...

Не договорил Проха, поперхнулся. Но и тот, к кому он речь держал, тоже ничего не сказал. Прогрохали удаляющиеся шаги. Стало тихо.

Сенька с перепугу ещё полежал какое-то время не шевелясь. Думал, не уползти ли подальше в лаз. Можно и в заветный подвал наведаться, пруток-другой прихватить.

Однако не стал.

Во-первых, никакого огня с собой не было. Чем там, в подвале, светить?

А во-вторых, вдруг заволновался: стоит ли тут дальше отсиживаться? Не унести ли ноги подобру-поздорову? Ну как они за фонарями пошли? Враз проход углядят. Так и пропадёшь через собственную дурость.

Пятым по-рачыи, вылез. Прислушался. Вроде тишина.

Тогда встал на ноги, опорки снял и бесшумно, на цыпочках, двинулся к коридору. То и дело останавливался — и уши торчком: не донесётся ли из-за какой колонны шорох либо дыхание.

Внезапно под ногой хрустнуло. Сенька испуганно присел. Что такое?

Пошарил — коробок спичек. Эти, что ли, обронили или кто другой? Неважно, пригодятся.

Сделал ещё пару шагов, вдруг видит — справа вроде как кучка какая. Не то тряпьё навалено, не то лежит кто-то.

Чиркнул спичкой, наклонился.

Увидал: Проха. На спине лежит, мордой кверху. Однако пригляделся получше — охнул. Мордой-то Проха был кверху, но только лежал не на спине, на брюхе. У живого человека шея таким манером, шиворот-навыворот, перекрутиться никак не могла.

Знать, это его, Прохины, спички-то, с разбегу додумалась прежняя мысль, и только потом уже Сенька, как положено, закрестился и попятился. Ещё и спичка, сволочь, пальцы обожгла. Вот он отчего поперхнулся, Прохато. Это ему в один миг башку отвернули, в самом что ни на есть прямом значении. А Проха от такого с собой обращения взял и помер.

И черт бы с ним, не больно жалко. Но что ж это за чудище, которое этакое с людьми выделывает?

А потом Скорику пришло на ум ещё вот что. Без Прохи найти этого душегуба стало никак невозможно. Борода до пупа, конечно, примета знатная, но только ведь набрехал, поди, Проха, царствие ему, подлюке, небесное. Как пить дать набрехал.

Из всей дедукции-проекции вышло одно разбитое корыто, как у жадной старухи (прочёл Сенька ту сказку — не понравилось, про царя Никиту лучше). Нет бы Проху на заметку взять, да Эрасту Петровичу всё рассказать. Захотел отличиться, вот и отличился. Верную ниточку собственными руками порвал.

* * *

От расстройства чуть не забыл Смертьино письмо прочесть, спохватился уже на самой Спасской.

“Здравствуйте Эраст Петрович. Вчера вечером был пристав. Про серебряную денежку спросил сам. Я говорю подарок. Он говорит новый соперник? Не потерплю. Кто таков? Я как вы велели отвечаю что богатый человек серебра полны карманы. Собою красавец хоть не молодой и с сединой на висках. Ещё говорю заикается немножко. Пристав про серебро сразу позабыл и дальше только про вас расспрашивал. Глаза

спрашивает голубые? Говорю да. А роста вот такого? Говорю да. А на виске вот тут малый шрам есть? Отвечаю вроде есть. Что тут с ним началось аж затрясся весь. Где живёт да то да сё. Я обещала разузнать и ему всё рассказать. А к Упырю я сама пошла не хотела его паука у себя принимать. Этот-то больше про серебро любопытствовал да что вы за человек да сильно ли богатый да как до вас добраться. Ему тоже разузнать обещала. Завязали мы с вами узел а как его распутывать непонятно. Пора нам встретиться и на словах обговорить. Всего в письме не напишешь. Приходите нынче ночью да Сеньку с собой прихватите. Он на Хитровке все закоулки знает. Если что выведет. А ещё хочу вам сообщить что никого из них я теперь до себя не допускаю хоть пристав вчера и пугал и бранился. Но ему теперь вы нужны больше чем я. Пригрозила что не буду вас ни про что расспрашивать он и отстал. И знайте что больше никого из этих кровососов я до себя никогда не допущу потому нет на это больше моих сил. У всякого человека свой предел есть. Приходите нынче. Жду.

Смерть”

Взволновался Сенька — ужас как, даже во рту стало сухо. Сегодня, нынче же ночью, он увидит её снова!

Как Сенька злорадствовал

Инженер и Маса выслушали рассказ молча. Не заругались, дурнем не обозвали, но и сочувствия Скорику тоже не выразили. Чтоб сказать “ах, бедняжка, сколько ты натерпелся!” или хотя бы воскликнуть “вот ведь страсть какая!”, этого он от них, примороженных, не дождался. А уж как старался впечатлить.

Что ж, и вправду ведь виноват.

— Извиняйте меня, Эраст Петрович и вы, господин Маса, — честно сказал Сенька напоследок. — Такая удача мне подвала, а я всё напортил. Ищи теперь свищи злодея этого.

Покаянно повесил голову, но из-под бровей посматривал: сильно рассердились или нет?

— Твоё мнение, Маса? — спросил Эраст Петрович, дослушав до конца.

Сенсей закрыл узкие глазки — будто утопил их в складках кожи — и сидел так минуты две или три. Господин Неймлес тоже помалкивал, ждал ответа. Скорик от нетерпения весь изъерзался на стуле.

Наконец японец изрёк:

— Сенька-кун мородец. Теперь всё ясно.

Инженер удовлетворённо кивнул:

— Вот и я так думаю. Тебе не за что извиняться, Сеня. Благодаря твоим действиям мы теперь знаем, кто убийца.

— Как так?! — подскочил на стуле Скорик. — Кто же?

Однако господин Неймлес на вопрос не ответил, заговорил о своём:

— Собственно, с дедуктивной точки зрения задача с самого начала представлялась несложной. Мало-мальский опытный следователь, располагая твоими показаниями, решил бы её без труда. Однако следователя интересует лишь закон, мои же интересы в этом деле обширней.

— Да, — согласился Маса. — Дзакон — это меньшее, чем справедливость.

— Справедливость и милосердие, — поправил его Эраст Петрович.

Похоже, эти двое отлично понимали друг друга, а вот Сенька никак не мог взять в толк, о чём это они.

— Да кто убийца-то? — не выдержал он. — И как вы его раскусigli?

— Из твоего рассказа, — рассеянно ответил инженер, явно думая о

другом. — Устрой гимнастику мозгам, это полезно для развития личности... — И дальше забормотал невнятцу. — Да, вне всякого сомнения, справедливость и милосердие важнее. Слава Богу, я теперь частное лицо и могу действовать не по букве з-закона. Но время, у меня совсем мало времени... И потом эта маниакальная осторожность, как бы не спугнуть... Разом, одним ударом. Одним махом семерых побиваю... Эврика! — воскликнул вдруг Эраст Петрович и шлётнул по столу ладонью так громко, что Сенька дёрнулся. — Есть план операции! Решено: справедливость и милосердие.

— Операция будет так надзываться? — спросил сенсей. — “Справедливость и миролюбие”? Хорошее название.

— Нет, — весело сказал господин Неймлес, поднимаясь. — Название я придумаю поинтересней.

— Что за операция? — жалобно скривился Скорик. — Сами говорите, благодаря мне всё разгадали, а сами ничего не объясняете.

— Пойдём с тобой ночью на Яузский б-бульвар, там всё узнаешь, — таков был ответ.

* * *

Пошли.

Смерть открыла сразу как постучали — в прихожей, что ли, поджидала? Распахнула дверь и молчит, смотрит на господина Неймлеса — не мигая, жадно, будто у ней перед тем глаза были завязаны, или долго в темноте сидела, или, может, прозрела после слепоты. Вот как она на него смотрела. А на Сеньку даже не взглянула, не то что “здравствуйте, Сеня” сказать или “как здоровье”. Эрасту Петровичу на его “добрый вечер, сударыня”, правда, тоже не ответила. Даже немножко поморщилась, будто каких-то других слов ждала.

Вошли в гостиную, сели. Вроде встретились для делового разговора, а что-то не так было, будто говорили не о том, о чем следовало. Смерть-то впрочем отмалчивалась, всё на Эраста Петровича глядела, а он по большей части смотрел на скатерть — поднимет на Смерть глаза и скорей снова опустит. Заикался больше обычного, вроде как конфузился, а может не конфузился, поди у него разбери.

От этих гляделок, в которые те двое играли промеж собой, без Сенькиного участия, ему стало тревожно, и господина Неймлеса он слушал вполуха, в голову лезло совсем другое. Коротко говоря, сказ инженера, или,

как он сам обозвал, “план операции” состоял в том, чтобы собрать всех подозреваемых в одном особенном месте, где преступник сам себя проявит и выдаст. Скорик уставился на Эраста Петровича: как же так, ведь сами говорили, что убийца разгадан, но инженер сделал знак глазами — помалкивай, мол. Ну, Сенька и смолчал.

И когда Эраст Петрович сказал: “Без вас, сударыня, и без тебя, Сеня, мне в этом деле, к сожалению, не обойтись. Нет у меня других помощников” — всё равно Смерть на Скорика не посмотрела, вот какая обида. Ужасно он от этого расстроился. Даже не испугался, когда инженер принял опасностями предстоящего дела страшать — вот до чего расстроился.

Смерть тоже нисколько не испугалась. Нетерпеливо качнула головой:

— Пустяки говорите. Лучше про дело сказывайте.

И Сенька лицом в грязь не ударил:

— Чего там, двум смертям не бывать, одной не миновать.

Лихо тряхнул головой и на неё покосился. И только потом сообразил, что вышло-то двусмысленно: то ли про смерть сказано, то ли про Смерть.

— Хорошо, — вздохнул Эраст Петрович. — Тогда распределим, кому за какой конец держать невод. Вы, сударыня, приведёте на место Князя и Очко. Сеня — Упыря. Я — пристава Солнцева.

— Этого-то зачем? — удивился Сенька.

— Затем, что п-подозрителен. Все преступления совершены на территории его участка. Это раз. Сам Солнцев — человек жестокий, алчный и абсолютно б-безнравственный. Это два. И главное... — Инженер снова уставился на скатерть. — Он тоже состоит в связи с вами, сударыня. Это три.

У Смерти дёрнулась щека, как от боли.

— Снова не про то говорите, — резко сказала она. — Объясните лучше, как Князя с Очком выманить. Они оба волки бывальные, сами в загон не пойдут.

— А я? — встрепенулся Скорик, до которого вдруг дошло, что ему надо будет в одиночку с самим Упырём тягаться. — Он меня и слушать не станет! Вы знаете, он какой? Он меня велит за ноги взять да разодрать на две половинки! Кто я ему? Сикильдявка! Никуда он со мной не пойдёт!

— Не пойдёт, а бегом побежит, это уж моя з-забота, — ответил Сеньке господин Неймлес, а смотрел при этом на Смерть. — Да и не придётся вам двоим никого никуда заманивать. Только встретить и сопроводить к назначенному месту.

— Что за место такое? — спросила Смерть.

Вот теперь инженер, наконец, повернулся к Скорику, да ещё руку ему на плечо положил.

— Это место только один человек знает. Как, Али-баба, выдашь нам свою пещеру?

Если б Эраст Петрович его при Смерти “бабой” не обозвал, Сенька ещё, может, и не сказал бы. Только чего над серебром-златом трястись, когда, может, вся жизнь на кону? А потом Смерть обратила на него свои глазищи, брови чуть-чуть приподняла, словно удивляясь его колебанию... Это и решило.

— Эх! — махнул он рукой. — Покажу, не жалко! Знайте Сеньку Скорика!

Сказал — и так вдруг жалко стало: даже не огромных тыщ, а мечту. Ведь что такое богатство? Не жратва от пуз, не сто пар лаковых штиблет и даже не собственное авто с мотором силищей в двадцать лошадей. Богатство — это мечтание о рае на земле, когда чего пожелаешь, то у тебя и будет.

Тоже, конечно, брехня. К Смерти вон с какими миллионами ни суйся, всё одно, как на Эраста Петровича, смотреть не станет...

Никто сумасшедшей Сенькиной щедростью не восхитился, в ладоши не захлопал. Даже “спасибо” не сказали. Смерть просто кивнула и отвернулась, будто иначе и быть не могло. А господин Неймлес встал. Тогда идёмте, говорит. Не будем время терять. Веди, Сеня, показывай.

* * *

В подземной зале, где несколько часов тому Проха хотел выдать старого приятеля на верную гибель, а заместо того сам лишился жизни, мёртвого тела уже не было. Не иначе подвальные жители уволокли: одежду-обувку снимут и голый труп после на улицу подкинут, обычное дело.

С Эрастом Петровичем и Смертью страшно не было. Светя керосиновой лампой, Сенька показал, как вынуть камни.

— Тут только вначале пролезть узко, а потом ничего. Иди себе, пока не упрёшься.

Инженер заглянул в дыру, потёр одну из плит пальцем.

— Старинная кладка, много старше, чем здание ночлежки. Эта часть Москвы похожа на слоёный пирог: поверх прежних фундаментов построены новые, поверх тех ещё. Чуть не тысячу лет строились...

— Чего, полезли, что ли? — спросил Скорик, которому уже не терпелось показать сокровища.

— Незачем, — ответил господин Неймлес. — Завтра ночью пополюбуемся. Итак, — обратился он к Смерти. — Ровно в три с четвертью пополуночи будьте здесь, в зале. Придут Князь и Очко. Увидят вас — удивятся, станут задавать вопросы. Никаких объяснений. Молча покажете ход, камни будут уже отодвинуты. Потом просто ведите их за собой, и всё. Вскоре появлюсь я, и начнётся операция под названием... Пока не придумал, каким. Главное — не теряйте присутствия духа и ничего не бойтесь.

Смерть глядела на инженера не отрываясь. Что сказать — он и в мигающем свете лампы был красавец хоть куда.

— Не боюсь я, — сказала она чуть хрипловато. — И всё сделаю, как велите. А сейчас идёмте.

— К-куда?

Она насмешливо улыбнулась, передразнила его:

— Никаких объяснений. Не теряйте присутствия духа и ничего не бойтесь.

И пошла из залы, не произнеся больше не слова. Эраст Петрович в замешательстве взглянул на Сеньку, кинулся догонять. Скорик тоже, только лампу подхватил. Чего это она удумала?

На крыльце дома, у самой двери, Смерть повернулась. Лицо у ней теперь было не насмешливое, как в подвале, а словно быискажённое страданием, но все равно невыносимо красивое.

— Простите меня, Эраст Петрович. Держалась, сколько могла. Может, скажится Господь, явит чудо... Не знаю... Только правду вы написали. Я хоть и Смерть, а живая. Пускай я буду злодейка, но больше нет моих сил. Дайте руку.

Взяла молчаливого, будто заробевшего господина Неймлеса за руку, потянула за собой. Тот шагнул на одну ступеньку, на другую.

Скорик тоже потянулся следом. Что-то сейчас будет!

А Смерть на него как шикнет:

— Уйди ты Бога ради! Житья от тебя нет!

И дверью перед самым носом — хлоп! Сенька от такой лютой несправедливости прямо обмер. А из-за двери донёсся странный звук, словно столкнулось что-то, потом шорох и ещё вроде как всхлипы или, может, стоны. Никаких слов сказано не было — он бы услышал, потому что припал к замочной скважине ухом.

Когда же уразумел, что у них там происходит, из глаз сами собой

потекли слезы.

Шмякнул Сенька фонарём о тротуар, сел на корточки и закрыл уши руками. Ещё и глаза зажмурил, чтоб не слышать и не видеть этот поганый мир, жизнь эту сучью, где одним всё, а другим шиш на палочке. И Бога никакого нет, если допускает такое над человеком измывательство. А если и есть, то лучше бы такого Бога вовсе не было!

Только не долго убивался-богохульничал, не долее минуты.

Вдруг дверь распахнулась, и на крыльце вылетел Эраст Петрович, будто его в спину выпихнули.

Галстук у инженера был стянут набок, пуговицы на рубашке расстёгнуты, лик же господина Неймлеса заслуживал особенного описания, поскольку ничего подобного на этом хладнокровном лице Сенька никогда раньше не наблюдал и даже не предполагал, что такое возможно: ресницы ошеломлённо прыгают, на глаза свесилась чёрная прядь, а рот разинут в совершенной растерянности.

Эраст Петрович обернулся, воскликнул:

— Но... В чем дело?!

Дверь захлопнулась, да погромче, чем давеча перед Сенькиным носом. Из-за неё донеслись глухие рыдания.

— Откройте! — закричал инженер и хотел толкнуть створку, но отдернул руки, как от раскалённого железа. — Я не хочу навязываться, но... Я не понимаю! Послушайте... — И вполголоса. — Господи, д-даже по имени её не назовёшь! Объясните, что я сделал не так!

Непреклонно лязгнул засов.

Сенька смотрел и не верил глазам. Есть Бог-то, есть! Вот оно, истинное Чудо об Услышанном Молении!

Каково горчички-то отведать, а, красавец невозможный?

— Эраст Петрович, — спросил Скорик умильнейшим голосом, — прикажете передачу на реверс поставить?

— Пошёл к черту!!! — взревел утративший всегдашнюю учтивость инженер.

А Сенька нисколько не обиделся.

Как Сенька стал жидёнком

Утром его растолкал Маса. Весь грязный, потом от него несёт, и глазки красные, будто всю ночь не спал, а кирпичи грузил.

— Чего это вы, сенсей? — удивился Сенька. — С любовного свидания, да? У Федоры Никитишины были или новую какую завели?

Вроде был вопрос как вопрос, для мужского самолюбия даже лестный, однако японец отчего-то рассерчал.

— Гдзе нада, там и быр! Вставай, бездеръник, порденъ удзе!

И ещё замахнулся, басурман. А сам вежливости учит!

Дальше хуже пошло. Усадил сонного человека на стул, намазал щеки мылом.

— Э, э! — заорал Сенька, увидев в руке сенселя бритву. — Не трожь! У меня борода отрастает.

— Господзин приказар, — коротко ответил Маса, левой рукой обхватил сироту за плечи, чтоб не трепыхался, а правой враз сбрил не только все пятьдесят четыре бородяных волоска, но и усы.

Сенька от страха обрезаться не шевелился. Японец же, соскрабая из-под носа последние остатки зарождающейся мужской красы, ворчал: “Очень честно. Кому гурять, а кому горб ромать”. К чему это он, какой такой горб ломать, Скорик не понял, но спрашивать не стал. Вообще решил, что за такое беспардонное над собой насилие с косоглазым нехристем никогда больше разговаривать не станет. Сделает ему бойкот, как в английском парламенте.

Но глумление над Сенькиной личностью ещё только начиналось. После бритья он был препровождён в кабинет к Эрасту Петровичу. Инженера там не оказалось. Вместо него перед трюмо сидел старый жид в ермолке и лапсердаке, любовался на свою носатую физиономию да расчёсывал брови, и без того жуть какие косматые.

— Побрил? — спросил старик голосом господина Неймлеса. — Отлично. Я уже почти з-закончил. Сядь сюда, Сеня.

Узнать Эраста Петровича в этом обличье было невозможно. Даже кожа на шее и руках у него сделалась морщинистая, жёлтая, в тёмных старицких пятнах. От восторга Сенька даже про бойкот забыл, схватил сенселя за руку:

— Ух здорово! А меня сделайте цыганом, ладно?

— Цыгане нам сегодня без надобности, — сказал инженер, встав за

спиной у Скорика и начал втирать ему в макушку какое-то масло, от которого волосы сразу прилипли к голове и залопушились уши.

— Прибавим веснушек, — велел Эраст Петрович японцу.

Тот протянул господину маленькую баночку. Несколько плавных втирающих движений, и у Скорика вся физия законопатилась.

— П-парик номер четырнадцать.

Маса подал что-то вроде красной мочалки, которая, оказавшись на Сенькиной голове, превратилась в рыжие патлы, свисавшие на висках двумя сосульками. Инженер щекотно провёл кисточкой по бровям и ресницам — те тоже порыжели.

— Что делать со славянским носом? — задумчиво спросил сам себя господин Неймлес. — Насадку? П-пожалуй.

Прилепил на переносицу кусочек липкого воска, мазнул сверху краской телесного цвета, рассыпал конопушек. Носице вышел — заглядение.

— Зачем это всё? — весело спросил Сенька, любуясь на себя.

— Ты теперь будешь еврейский мальчик Мотя, — ответил Эраст Петрович и нахлобучил Сеньке на голову ермолку навроде своей. — Соответствующий наряд тебе даст Маса.

— Не буду я жидёнком! — возмутился Сенька, только теперь сообразив, что рыжие сосульки — это жидовские пейсы. — Не желаю!

— П-почему?

— Да не люблю я их! Ненавижу ихние рожи крючконосые! В смысле — лица!

— А какие лица любишь? — поинтересовался инженер. — Курносые? То есть, если русский человек, то ты за одно это его сразу обожаешь?

— Ну, это, конечно, смотря какого.

— Вот и правильно, — одобрил Эраст Петрович, вытирая руки. — Любить нужно с большим разбором. А ненавидеть — тем более. И уж во всяком случае не за форму носа. Однако хватит д-дискутировать. Через час у нас свидание с господином Упырём, самым опасным из московских разбойников.

Сеньку от этих слов в озnob кинуло, сразу про жидов забыл.

— А по-моему, Князь пострашней Упыря будет, — сказал он небрежным тоном и слегка зевнул.

Это в учебнике светской жизни было сказано: “Если тема разговора затронула вас за живое, не следует выдавать своего волнения. Сделайте небрежным тоном какое-нибудь нейтральное замечание по сему поводу, показав собеседникам, что нисколько не утратили хладнокровия. Допустим

даже зевок, но, разумеется, самый умеренный и с непременным прикрытием рта ладонью”.

— Это как посмотреть, — возразил инженер. — Князь, конечно, проливает крови куда больше, но из злодеев всегда опасней тот, за кем будущее. Будущее же криминальной Москвы безусловно не за налётчиками, а за д-доильщиками. Это доказывается арифметикой. Предприятие, затеянное Упырём, безопасней, ибо меньше раздражает власть, а некоторым представителям власти оно даже выгодно. Да и прибыли у доильщика больше.

— Как же больше? Князь вон за раз по три тыщи снимает, а Упырь с лавок по рублишке в день имеет.

Маса принёс одежонку: стоптанные башмаки, штаны с заплатами, драную куртёнку. Брезгливо морща́сь, Сенька стал одеваться.

— По рублишке, — согласился господин Неймлес, — но зато с каждой лавки и каждый день. И таких овец, с которых Упырь с-стрижёт шерсть, у него сотни две. Это сколько в месяц будет? Уже вдвое против хабара, который Князь за средний налёт возьмёт.

— Так Князь не один раз в месяц добычу берет, — не сдавался Скорик.

— А сколько? Д-два раза? Много — три? Так ведь и Упырь не со всех по рублю имеет. Вот с людей, к которым мы с тобой сейчас отправимся, он вознамерился взять ни много ни мало двадцать тысяч.

Сенька ахнул:

— Это что ж за люди, у кого такие деньжищи можно взять?

— Евреи, — ответил Эраст Петрович, засовывая что-то в мешок. — У них недалеко от Хитровки давно уже выстроена синагога. Нынешний генерал-губернатор девять лет назад, будучи назначен в Москву, освятить синагогу не позволил и почти всех иудеев из белокаменной выгнал. Нынче же еврейская община снова окрепла, умножилась и добивается открытия своего молитвенного дома. От властей разрешение получено, но теперь у евреев возникли трудности с б-бандитами. Упырь грозится спалить здание, выстраданное ценой огромных жертв. Требует от общины отступного.

— Вот гад! — возмутился Сенька. — Если православный человек и жидовской молельни терпеть не желаешь, возьми и спали задаром, а серебреников ихних не бери. Правда ведь?

Эраст Петрович на вопрос не ответил, только вздохнул. А Скорик подумал и спросил:

— Чего они, жиды эти, в полицию не нажалуются?

— За защиту от бандитов полиция ещё больше денег требует, — объяснил господин Неймлес. — Поэтому гвиры, члены попечительского

совета, предпочли договориться с Упырём, для чего назначили специальных представителей. Мы с тобой, Сеня, то есть Мотя, и есть эти самые п-представители.

* * *

— Чего мне делать-то? — сворчил Сенька, когда спускались вниз по Спасо-Глинищевскому.

Этот маскарад нравился ему куда меньше, чем прежний, нищенский. Пока ехали на извозчике, ещё ничего, а как вылезли и зашагали по Маросейке, их уже дважды “жидюками” обозвали и один оголец дохлой мышой швырнулся. Надавать бы ему по ушам, чтоб почём зря не вязался к людям, но из-за важного дела пришлось стерпеть.

— Что тебе делать? — переспросил господин Неймлес, раскланиваясь с синагогским сторожем. — Помалкивай да рот разевай. Слюни пускать умеешь?

Сенька показал.

— Ну вот и м-молодец.

Вошли в дом по соседству с жидовской молельней. В чистой комнате с приличной мебелью поджидали два нервных господина в сюртуках и ермолках, но без пейсов — один седой, другой чернявый.

Не похоже было, чтобы Эраста Петровича и Сеньку тут ждали. Седой замахал на них рукой, сердито сказал что-то не по-русски, но, в каком смысле, и так было ясно: валите, мол, отседова, не до вас.

— Это я, Эраст Петрович Неймлес, — сказал инженер, и хозяева (надо полагать, те самые “гвиры”), ужасно удивились.

Чернявый удовлетворённо поднял палец:

— Я вам говорил, что он еврей. И фамилия еврейская —искажённое “Нахимлес”.

Седой слегка склонил голову, дёрнув острым кадыком. С тревогой посмотрел на инженера и спросил:

— Вы уверены, что у вас получится, господин Неймлес? Может быть, лучше заплатить этому бандиту? Не вышло бы беды. Нам не нужны неприятности.

— Неприятностей не будет, — уверил его Эраст Петрович и сунул мешок под стол. — Однако д-два часа. Сейчас появится Упырь.

И точно — из-за двери запричитали — не поймёшь кто:

— Ой, идёт, идёт!

Скорик выглянул в окно. Снизу, со стороны Хитровки, неспешно приближался Упырь, дымя папироской и с нехорошой улыбкой поглядывая по сторонам.

— Один пришёл, без колоды, — спокойно заметил господин Неймлес. — Уверен. Да и делиться со своими не хочет, больно к-куш хорош.

— Прошу вас, господин Розенфельд, — показал чернявый на занавеску, отделявшую угол с диванами (называется “альков”). — Нет-нет, только после вас.

И попечители спрятались за штору. Седой ещё успел шепнуть:

— Ах, господин Неймлес, господин Неймлес! Мы вам поверили, не погубите! — и на лестнице загремели шаги.

Упырь без стука толкнул дверь, вошёл. Прищурился после ярко освещённой улицы. Сказал Эрасту Петровичу:

— Ну чё, жидяры, хрусты заготовили? Ты, что ль, дед, отслонивать будешь?

— Во-первых, здравствуйте, молодой человек, — молвил господин Неймлес дребезжащим старческим голосом. — Во-вторых, не шарьте глазами по комнате — никаких денег здесь нет. В-третьих, садитесь уже за стол и дайте с вами поговорить, как с разумным человеком.

Упырь двинул сапогом по предложенному стулу — тот с грохотом отлетел в угол.

— Болталу гонять? — процедил он, сузив свои водянистые глаза. — Будет, погоняли. Слово Упыря железное. Завтра будете печь свою мацу на головешках. От синагоги. А чтоб до братьёв твоих лучше дошло, я щас тебя, козлину старого, немножко постругаю.

Выхватил из голенища финский ножик и двинулся на Эраста Петровича.

Тот не двинулся с места.

— Ай, господин вимогатель, напрасно ви тратите моё время на всякие глупости. У меня и без вас жизни осталось с хвост поросёнка, тьфу на это нечистое животное. — И брезгливо сплюнул на сторону.

— Это ты, дед, в самую точку угадал. — Упырь схватил инженера за фальшивую бороду, а кончик ножа поднёс к самому лицу. — Для начала я тебе глаз выколю. Потом нос поправлю, зачем тебе такой крючище? А после загашу и тебя, и твоего паскудёнка.

Господин Неймлес смотрел на страшного человека совершенно спокойно, зато у Скорика от ужаса отвисла челюсть. Здрасьте вам, домаскарадились!

— Перэстаньте пугать Мотю, он и так мишигер, — сказал Эраст Петрович. — И уберите эту вашу железяку. Сразу видно, господин бандит, что ви плохо знаете еврэев. Это такие хитрые люди! Ви себе обратили внимание, кого они к вам випустили? Ви видите здесь председателя попечительского совета Розенфельда, или ребе Беляковича, или, может, купца первой гильдии Шендыбу? Нет, ви видите старого больного Наума Рубинчика и шлемазла Мотю, которых никому на свете не жалко. Мне самому себя не жалко, у меня эта ваша жизнь вот здесь. — Он провёл ребром ладони по шее. — А “загасите” Мотю — сделаете большое облегчение его бедным родителям, они скажут вам: “Большое спасибо, мосье Упырь”. Так что давайте уже не будем друг друга пугать, а побеседуем, как солидные люди. Знаете, как говорят в русской дерэвне? В русской дерэвне говорят: ви имеете товар, у нас имеется купец, давайте меняться. Ви, мосье Упырь — молодой человек, вам нужны деньги, а еврэям нужно, чтоб ви оставили их в покое. Так?

— Ну так. — Упырь опустил руку с ножом, облизнул лоснящиеся губы. — Так ты ж залепил, что хрустов нет.

— Денег нет... — Старый Рубинчик, хитро сверкнув глазами, немножко помолчал. — Но зато есть серебро, очень много серебра. Вас устроит очень много серебра?

Упырь вовсе спрятал нож в сапог, захрустел пальцами.

— Ты не крути. Дело говори! Какое серебро?

— Ви себе слыхали про подземный клад? Вижу по блеску в ваших маленьких глазах, что слыхали. Этот клад закопали еврэи, когда приехали в Москву из Польши ещё при царице Екатерине, да простит ей Бог все её прегрешения за то, что не обижала наших. Теперь такое чистое, хорошее серебро уже не делают. Вот, послушайте, как звенит. — Он достал из кармана горстку серебряных чешуек, тех самых древних копеек (а может, не тех, а похожих — кто их разберёт) и позвенел ими перед носом у доильщика. — Больше ста лет серебро лежало себе, и всё было тихо. Иногда еврэи брали оттуда понемножку, если очень нужно. А теперь нам туда доступа нет. Один хитровский поц нашёл наше сокровище.

— Слыхал я эту байку, — кивнул Упырь. — Выходит, правда. Ваши, что ль, каляку с семьёй порезали? Лихо. А ещё говорят, жид мухи не пришлённет.

— Ай, я вас умоляю! — рассердился Рубинчик. — Зачем ви говорите такие гадости, типун вам на язык! Ещё не хватало, чтобы и это свалили на еврэев. Может, это ви зарэзали бедного поца, почём мне знать? Или Князь. Ви знаете, кто такой Князь? О, это ужасный бандит. Не в обиду вам будь

сказано, ещё ужасней вас.

— Но-но! — замахнулся на него Упырь. — Ты от меня настоящих ужастей ещё не видал!

— И не надо. Я и так вам верю. — Старик выставил вперёд ладони. — Дело не в этом. Дело в том, что господин Князь узнал про клад и ищет его днём и ночью. Теперь нам туда и сунуться боязно.

— Ох, Князь, Князь, — пробормотал Упырь и оскалил жёлтые зубы. — Ну, дед, сказывай дальше.

— А дальше — что дальше. Вот вам наше деловое предложение. Ми показываем вам то место, ви и ваши хлопцы выносят серебро, а после делим по-честному: половина нам, половина-таки вам. И это, поверьте мне, молодой человек, выйдет не двадцать тысяч, а много-много больше.

Упырь думал недолго.

— Годится. Сам всё вытащу, никого мне не надо. Только место укажите.

— У вас есть часы? — спросил Наум Рубинчик и скептически уставился на золотую цепочку, свисавшую из Упырева кармана. — Это хорошие часы? Они правильно идут? Ви должны быть в ерошенковском подвале, в самом дальнем, где такие кирпичные тумбы, нынче ночью. Ровно в три часа. Вот этот самый Мотя, бедный немой мальчик, встретит вас там и проводит куда надо. — Сенька поёжился под цепким змеиным взглядом, которым одарил его Упырь, и пустил с отвисшей губы нитку слюны. — И ещё хочу сказать вам одну вещь, напоследок, чтоб ви запомнили, — задушевным голосом продолжил старый еврей, осторожно взяв доильщика за рукав. — Когда ви увидите клад и перенесёте его в хорошее место, ви себе скажете: “Зачем я буду отдавать половину этим глупым еврэям? Что они мне сделают? Я лучше оставлю всё себе, а над ними буду смеяться”. Можете ви так себе подумать?

Упырь завертел головой по углам комнаты — нет ли иконы. Не нашёл и забожился так, всухую:

— Да чтоб меня громом пожгло! Чтоб мне век на киче торчать! Чтоб меня сухотка взяла! Когда со мной по-хорошему, то и я по-хорошему. Христом-Богом!

Дед послушал-послушал, головой покивал и вдруг спросил:

— Ви знали Александра Благословенного?

— Кого? — вылупился на него Упырь.

— Царя. Двоюродного прадедушку нашего государя императора. Ви знали Александра Благословенного, я вас спрашиваю? По вашему лицу я вижу, что ви не знали этого великого человека. А я видел его, почти как

сейчас вижу вас. То есть не то чтобы мы с Александром Благословенным были знакомы, ни боже мой. И он-то меня не видал, потому что лежал мёртвый в гробу. Его везли в Петербург из города Таганрога.

— Ты зачем мне про это толкуешь, дед? — сморщил лоб Упырь. — Чё мне твой царь в гробу?

Старик наставительно поднял жёлтый палец:

— А то, мосье разбойник, что если ви нас обманете, вас тоже повезут в гробу, и Наум Рубинчик придёт на вас посмотреть. Всё, я устал. Идите себе. Мотя отведёт вас куда нужно.

Отошёл в сторону, сел в кресло и опустил голову на грудь. Через секунду раздался тонкий, жалостный храп.

— Крепкий дедок, — подмигнул Сеньке Упырь. — Гляди, рыжий, чтоб ночью был, где велено. Надуешь — я тебе язык вокруг шеи намотаю.

Повернулся по-кошачьи, мягко, да и вышел вон.

Едва внизу хлопнула дверь, как из-за шторы выскочили два еврея.

Затараторили хором:

— Что вы ему такое наговорили? Какое ещё серебро? Зачем вы это выдумали? Где мы теперь возьмём столько старинных монет? Это настоящая катастрофа!

Эраст Петрович, немедленно восставший ото сна, не перебивал галдящих гвиров, а занимался своим делом: снял ермолку, седой парик, отцепил бороду, потом достал из мешка склянечку, смочил вату и начал протирать кожу, отчего старческие пятна и дряблость волшебным образом исчезли.

Когда образовалась пауза, кротко сказал:

— Нет, не выдумал. Клад д-действительно существует.

Попечители уставились на него, как бы проверяя, не шутит ли. По господину Неймлесу, впрочем, было видно: нет, отнюдь не шутит.

— Но... — осторожно, словно к душевнобольному, обратился к нему чернявый, — но вы понимаете, что этот бандит вас обманет? Заберёт весь клад и ничего не отдаст?

— Непременно обманет, — кивнул инженер, снимая лапсердак, выцветшие плисовые штаны и калоши. — И тогда случится то, что напророчил Наум Рубинчик: Упыря повезут в гробу. Только не в Петербург, а на Б-Божедомку, в общую могилу.

— Зачем вы разделись? — с тревогой спросил седой. — Не пойдёте же вы в таком виде по улице?

— Прошу извинить за д-дезабилье, господа, но у меня совсем мало времени. Нам с этим юношей пора делать следующий визит. — Эраст

Петрович повернулся к Скорику. — Сеня, не стой, как памятник задумчивому П-Пушкину, раздевайся. Прощайте, господа.

Гвиры снова переглянулись, и тот, что старше, сказал:

— Что ж, доверимся вам. Теперь у нас все равно нет иного выхода.

Оба с поклоном удалились, а инженер достал из мешка черкеску с газырями, мягкие кожаные чувяки, папаху, кинжал на ремешке и в два счета обратился в кавказца. Сенька во все глаза глядел, как господин Неймлес приклеивает поверх своих аккуратных усиков другие, смоляной черноты, и такого же колера разбойничью бороду.

— Вы прямо Имам Шамиль! — восхитился Скорик. — Я в книге на картинке видал!

— Не Шамиль, а К-Казбек. И не имам, а абрек, спустившийся с гор, чтоб завоевать город неверных гяуров, — ответил Эраст Петрович, меняя седые брови на чёрные. — Разделся? Нет-нет, догола.

— К кому мы теперь? — спросил Сенька, обхватив руками бока — не больно-то жарко было нагишом стоять.

— К его сиятельству, твоему бывшему п-патрону. Надень вот это.

— Какому сия... — Сенька не договорил, поперхнулся. Так и застыл, держа в руках что-то шёлковое, невесомое, вынутое инженером всё из того же мешка. — К Князю?! Да вы что?! Эраст Петрович, миленький, он же меня порешит! И слушать ничего не станет! Увидит — и сразу завалит! Он бешеный!

— Да нет же, не так. — Господин Неймлес развернул короткие шёлковые подштанники с кружавчиками. — Сначала п-панталоны, потом чулки с подвязками.

— Бабское бельё? — разглядел Скорик. — Зачем оно мне?

Инженер извлёк из мешка платье, высокие ботинки на шнуровке.

— Вы что, хотите меня девкой нарядить?! Да я лучше сдохну!

Это у них с Масой с самого начала так задумано было, догадался Сенька. Потому и рожу бритвой обскребли. Ну уж кукиш! Сколько можно измываться над человеком?

— Не надену и все тут! — решительно объявил он.

— Дело твоё, — пожал плечами Эраст Петрович. — Но если Князь тебя узнает, то обязательно, как ты выражаяешься, з-зашалит.

Сенька сглотнул.

— А без меня, обойтись никак невозможно?

— Возможно, — сказал инженер. — Хоть это и затруднит мою з-задачу. Но дело даже не в этом. Тебе потом будет стыдно.

Немного посопев, Скорик натянул скользкие девчачьи портки, чулки в

сеточку, красное платье. Эраст Петрович надел на страдальца светлый парик с букольками, стёр с лица густую жидовскую конопатость, зачернил ресницы.

— Ну-ка, губы т-трубочкой.

И жирно намазал Сенькин рот сладко-пахучей помадой.

После протянул зеркальце:

— Полюбуйся, какая вышла красотка.

Скорик не стал смотреть, отвернулся.

Как Сенька стал мамзелькой

— Хоп-хоп, чумовые! — гаркнул лихач на вороных, и красавцы кони встали, как вкованные. Коренник изогнул точёную шею, покосился на извозчика бешеным глазом, топнул по булыжнику кованным копытом — полетели искры.

Хорошо подкатили к нумерам “Казань”, важно. И Боцман, что со своей тележки свистульками торговал, и толпившаяся вокруг него мелюзга повернулись к шикарному (три рубля в час!) ландо, уставились на кавказца и его спутницу.

— Здесь жди! — велел джигит лихачу, кинул блесткий золотой империал.

Спрятался, не коснувшись ногой подножки. Ряженого Сеньку взял за бока и легко поставил наземь, двинулся прямо к воротам. Боцману сказал не заветное “иовс”, как Скорик учил, а коротко, веско обронил:

— Я — Казбек.

И Боцман ничего, в дудку не шумнул, только прищурился. Кивнул восточному молодцу — заходи, мол. На Сеньку глянул мельком. Можно сказать, вовсе не заинтересовался его персоной, отчего тугой узел, закрутившийся у Скорика в брюхе, малость поослаб.

— Г-грациозней, — сказал во дворе Эраст Петрович своим обычным голосом. — Не маши руками. Двигай не плечами, а бёдрами. Вот так, хорошо.

На стук дверь приоткрылась, высунулся незнакомый Сеньке парнишка. Новый шестёрка, догадался Скорик, и в сердце — надо же — будто шильцем кольнуло. Взревновал, что ли? Чудно.

Пацанок Сеньке не понравился. Плоскорылый какой-то и глаза жёлтые, чисто у кота.

— Чего надо? — спросил.

Господин Неймлес и ему сказал то же:

— Я — Казбек. Князю скажи.

(У него выговорилось “Кинязу”.)

— Какой ещё Казбек? — шмыгнул носом шестой, и был немедленно ухвачен за этот самый нос двумя железными пальцами.

Абрек горянко выругался, сочно приложил плоскорылого башкой о косяк, потом оттолкнул — тот грохнулся на пол.

Тогда Казбек вошёл, переступил через лежащего и решительно

зашагал по коридору. Сенька, ойкая, поспевал следом. Оглянулся, увидел, что шестёрка держится за лоб, ошеломлённо хлопает глазами.

Ой, Господи-Господи, что ж это будет-то?

В большой комнате Авось и Небось, как всегда, резались в карты. Сала не было, но на кровати, положив ноги в сапогах на решётку, лежал Очко и чистил ножиком ногти.

К нему-то кавказец и направился.

— Ты валет? К Князю веди, говорить хочу. Я — Казбек.

Близнецы перестали шлёпать картами. Один (так Сенька и не научился разбирать, кто из них кто) подмигнул барышне, другой тупо воззрился на серебряный кинжал, висевший на поясе у гостя.

— Казбек надо мною. Один в вышине, — безмятежно улыбнулся Очко и пружинисто поднялся. — Пойдёмте, коли пришли.

Ни о чем не спросил, просто повёл и всё. Ох, не к добру.

* * *

Князь сидел за столом страшный, опухший — не иначе, пил много. На красавца, каким Скорик его впервые увидал (всего-то месяц тому!) был мало похож. И рубашка, хоть из атласа, какая-то мятая, сальная, и кудри спутаны, и физиономия небрита. На столе кроме пустых бутылок и всегдашней склянки с огурцами почему-то стоял золотой канделябр без свечей.

Сенькин враг поднял на вошедших мутные глаза, спросил кавказца:

— Ты кто? Чего тебе?

— Я — Казбек.

— Кто?

— Должно быть, тот самый, что недавно с Кавказа приехал с двадцатью джигитами, — негромко сказал Очко, опервшись о стену и складывая руки на груди. — Я тебе говорил. Три месяца как появились. Марьинских фартовых прижали, девок под себя забрали и все керосиновые лавки.

Абрек усмехнулся — вернее, дёрнул углом рта.

— Вы, русские, в наши горы пришли и не уходите. А я к вам пришёл и тоже уйду не скоро. Соседи будем, Князь. Соседи по-разному жить могут. Можно резать друг друга, это мы умеем. А можно быть кунаками. Повашему — кровными братьями. Выбирай, как хочешь.

— Мне один хрен, — лениво ответил Князь. Опрокинул стопку,

закусывать не стал. — Живи, пока под ногами не мешаешься, а надоешь — можно и порезаться.

Очко вполголоса предупредил:

— Князь, с ними так нельзя. Он один пришёл, а остальные, надо полагать, вокруг затаились. Свистнет — возьмут нас в кинжалы.

— Пускай берут, — процедил Князь. — Поглядим, кто кого. Да ладно, Очко, ты очко-то не поджимай. — Он засмеялся, довольный шуткой, которая по-культурному называлась “каламбур”. — Чего набычился, Казбек? Я смеюсь. Князь — человек весёлый. Кунаками так кунаками. Давай поручкаемся.

Встал и руку протянул. У Скорика немножко отлегло, а то уж думал всё, со святыми упокой.

Однако abreк руку жать не захотел.

— У нас в горах пальцы тискать мало. Делом нужно доказать. Кунак кунаку самое дорогое подарить должен.

— Да? — Князь махнул рукой от плеча. — Ну, проси чего хочешь. У Князя душа как скатерть — белая да широкая. Вот, гляди. Подсвечник червонного золота. Давеча у одного купчины взял. Хошь подарю?

Казбек отрицательно покачал головой в косматой папахе.

— А чего хочешь? Говори.

— Смерти хочу, — тихо, яростно сказал кавказец.

— Чьей смерти? — опешил Князь.

— Твоей. Говорят, она для тебя дороже всего. Вот и отдай мне её. Тогда будем с тобой кунаки до гроба.

Скорик первым допетрил, про что речь, и зажмурился от ужаса. Ну, теперь точно всё. Сейчас кровянка фонтаном брызнет, и его, Сенькина, тоже. Ой, мама-мамочка, встречай с ангелами своего сынка Сеню.

Очко тоже сообразил. С места не двинулся, но пальцы правой руки тихонько скользнули в рукав левой. А там, в рукаве, ножики на кожаной манжетке. Как метнёт парочку, тут гостям дорогим и амба.

До Князя последнего дошло. Он рот разинул, ворот рванул, стали видны вздувшиеся на шее жилы, а крик пока ещё не выплеснулся — от свирепости перехватило горло.

Казбек же как ни в чем не бывало продолжил:

— Отдай мне свою женщину, Князь. Хочу её. А я тебе вот, лучшую из своих мамзелек привёл. Стройная, гибкая, как горная коза. На, бери. Не жалко.

И Сеньку на серёдку комнаты вытолкнул.

— А-а! — взвизгнул Скорик. — Мама!

Но его писка почти что не слышно было — так громко взревел Князь:
— Зубами! Глотку! Падаль!!!

Схватил со стола большую двузубную вилку, чем огурцы достают, и хотел броситься на абрека, но у того в руке откуда ни возьмись блеснул маленький чёрный револьвер.

— Ты — руки на плечи! — приказал Казбек валету, а Князю вовсе ничего не сказал, только глазом сверкнул.

Очко приподнял бровь, оценивающе разглядывая чёрную дырку дула. Показал кавказцу пустые руки, коснулся пальцами плеч. Князь, заматерившись, швырнул вилку на пол. Он смотрел не на револьвер, а в глаза обидчику и в ярости грыз собственные губы — по подбородку стекла красная струйка крови.

— Всё одно убью! — хрипло крикнул он. — И в Марьиной Роще достану! За это — кишки вырву, на колбасу пущу!

Казбек пощокал языком:

— Вы, русские, как бабы. Мужчина не кричит, тихо говорит.

— Так она и с тобой, с тобой?! — не слушал Князь. Смахнул злую слезу, заскрежетал зубами. — Стерва, сука, нет больше моего на неё терпения!

— Я к тебе как к мужчине пришёл, честно. — Абрек сдвинул густые чёрные брови, голубые глаза сверкнули холодным пламенем. — Мог украсть её, но Казбек не вор. По-хорошему говорю: дай. Не дашь — тогда по-плохому возьму. Только думай сначала. Не даром беру...

Он показал на съёжившегося Сеньку.

Князь оттолкнул ни в чем не повинного Скорика так, что тот отлетел к стенке и сполз на пол:

— На кой мне твоя лахудра мазаная!

Хоть Сенька и ушибся плечом, хоть и было ему страшно, но эти слова, вроде бы обидные, прозвучали для него слаше музыки. Не нужен он Князю, слава те Иисусе!

— Мамзельку я тебе так, в довесок даю, чтоб без бабы не остался, — засмеялся джигит. — А самое дорогое, что у меня есть и что я тебе подарю — серебро, много серебра. У тебя никогда столько не было...

— Я тебе это серебро в пасть вобью, свинья поганая! — перебил Князь и ещё долго выкрикивал бессвязные угрозы и ругательства.

— “Много” — это сколько, уважаемый? — спросил Очко, когда Князь захлебнулся ненавистью и умолк.

— Не одна телега нужна, чтоб увезти. Знаю, вы давно то серебро ищете, а нашёл я. За Смерть — отдам.

Князь хотел было снова раскричаться, но Очко поднял палец: тихо, молчок.

— Ты про клад ерохинского каляки? — вкрадчиво спросил валет. — Нашёл, значит? Ох, ловок, сын Кавказа.

— Да, теперь клад мой. А захотите — будет ваш.

Князь мотнул головой, будто бык, отгоняющий слепней.

— Смерть не отдам! За всё серебро и золото не отдам! Никогда она не будет твоя, пёс!

— Она уже моя. — Кавказец погладил свободной рукой бороду. — Как хочешь, Князь. Я по-честному пришёл, а ты меня “псом” назвал. Я знаю уже: у вас на Москве по всякому ругаться можно, но за “пса” на нож ставят. Будем резаться. У меня нукеров больше, чем у тебя, и каждый — орёл.

Он попятился к двери, по-прежнему держа револьвер наготове. Сенька вскочил, прижался к черкеске плечом.

— Куда, гад?! — заорал Князь. — Живым не уйдёшь! Давай, пали! Мои волки тебя завалят!

В дверь сунулся один из близнецов:

— Князь, ты чё шумнул? Звал?

Ни на миг не отводя глаз от Князя и Очка, абрек схватил Авося-Небося левой рукой пониже подбородка, подержал так секундочку-другую и выпустил. Парень осел кулём, кувыркнулся набок.

— Погоди, уважаемый! — сказал Очко. — Не уходи. Князь, человек к тебе с миром пришёл, по-хорошему. Бабой больше, бабой меньше — какая разница. Что братаны скажут? — И дальше заговорил стихами. — Полно, Князь, душа моя, это чудо знаю я.

Эге, вспомнил Сенька, а стихи-то знакомые. Это Царевна Лебедь князь Гвидону так говорила: мол, не пузырься, всё тебе обустрою в лучшем виде.

Но хитровский Князь сказку, похоже, не читал и захлопал на Очка глазами. Тот тоже мигнул, но только не двумя глазами, а одним — Сеньке сбоку хорошо видно было.

— Клад, говоришь? — хмуро пробурчал Князь. — Ладно. Если на калякин клад — меняюсь. Но серебро вперёд.

— Слово? — спросил Казбек. — Фартовое?

— Фартовое, — подтвердил Князь и, как положено при клятве, большим пальцем себя по горлу чиркнул, но Сенька опять углядел каверзу: левую-то руку Князь за спину убрал — не иначе кукишем сложил, отчего фартовой клятве выходила цена грош. Надо будет после Казбеку, то есть Эраст Петровичу, про это подлое коварство рассказать.

— Хорошо. — Джигит головой кивнул, оружие спрятал. — Ночью

приходите в Ерошенковский подвал, в самый дальний, где тупик. Вдвоём приходите — больше нельзя. В три часа с четвертью, ровно. Придёте раньше или позже — уговору конец.

— Придём вдвоём, а твои волки нас порежут? — прищурился Князь.

— Зачем для этого в подвал ходить? — пожал плечами Казбек. — Хотели бы — и так вас на кебаб нарезали. Мне на Москве верные кунаки нужны, кому верить можно... Встретят вас там, в подвале. Отведут, куда нужно. Когда увидишь, кто встретит, поймёшь: Казбек мог ничего тебе не давать, даром взять.

Князь открыл было рот что-то сказать (судя по оскалу — злое), но Очко положил ему руку на плечо.

— В три пятнадцать пополunoчи будем,уважаемый. Слово, фартовое.

Вот валет поклялся безо всяких хитростей, обе его руки были на виду.

— Так не берёшь мамзельку? — спросил кавказец у Князя уже в дверях.

Сенька закоченел. Ай, Эраст Петрович, погибели моей хотите? Николай-Угодник, Матушка-Заступница, не дайте пропасть!

Но Князь, скости ему за это Боже тыщу лет адских мучений, вместо ответа лишь харкнул на пол.

Обошлось.

Как Сенька стал фурсеткой

На улице, как сели на лихача да малость отъехали, Сенька, горько вздохнув, сказал:

— Спасибо вам, Эраст Петрович, за вашу ласку-заботу. Вон как вы с верным человеком поступаете. А если б Князь сказал “давай свою мамзельку”? Неужто отдали бы меня на погибель и растерзание?

— За угол повэрнешь — стой! — приказал извозчику неблагодарный инженер все тем же “кавказским” голосом. И ответил на попрёк, только когда вылезли из пролётки.

— Для Князя существует только одна женщина. Ни на одну д-другую он и смотреть не захочет. Мне нужно было, Сеня, чтобы ты выглядел перепуганным — для большей достоверности нашей маленькой интермедией. У тебя это отлично п-получилось.

Лишь теперь Сенька сообразил, что в маскарадном обличье — хоть старого жида, хоть дикого горца — Эраст Петрович совершенно не заикался. Вот ведь удивительно. Припомнил и то, что инженер проделал всю работу в одиночку, от напарника никакой помощи ему не было. И стало Скорику стыдно. Больше всего за то, как трусил, Матушку-Богородицу и Николая-Угодника на подмогу звал. Хотя чего стыдиться-то? Чай, живой человек, не истукан навроде господина Неймлеса. Такому молитва без надобности, вот и Маса-сенсей про это говорил.

Они шли по Покровке, мимо Троицы что на Грязях, мимо пышного Успенского храма.

— А вы никогда Богу не молитесь? — спросил Сенька. — Это потому что вы совсем ничего не боитесь?

— Почему не боюсь? — удивился Эраст Петрович. — Боюсь. Страха не знают лишь люди, начисто лишённые воображения. А раз боюсь, то стало быть, и молюсь иногда.

— Брёте!

Инженер вздохнул:

— Нужно говорить “лжёте”, а лучше бы без крайней надобности совсем такого не г-говорить, потому что... — он сделал неопределённый жест.

— ...Можно за это схлопотать по лицу, — догадался Сенька.

— И поэтому тоже. А молитва у меня, Сеня, вот какая, один священник научил: “Упаси меня, Господи, от кончины медленной,

мучительной, унизительной". Вот и вся молитва.

Скорик задумался. Про медленную смерть понятно — кому охота десять лет в параличе лежать или высохнуть заживо? Про мучительную тоже ясно.

— А унизительная смерть это какая? Когда человек помер, а все на него плюют и ногами пинают?

— Нет. Христа тоже били и унижали, но что ж в его смерти постыдного? Я другого всю жизнь боюсь. Боюсь умереть так, чтобы все потешались. Одно это про тебя потом и будут помнить. Скажем, французского президента Фора будут помнить не за то, что он покорил Мадагаскар и заключил альянс с Россией, а за то, что его превосходительство испустил дух, пребывая на любовнице. От былого вождя нации остался скверный анекдот: "Президент умер при исполнении обязанностей — во всех смыслах". Даже на кладбищенском памятнике беднягу изобразили лежащим в обнимку со знаменем республики. Люди проходят мимо и хихикают... Вот какой участи я боюсь.

— С вами такого конфуза приключиться не может, — успокоил инженера Сенька. — Вы здоровьем крепкий.

— Не такой, так другой. Судьба любит подшутить над теми, кто слишком заботится о своём д-достоинстве. — Эраст Петрович усмехнулся. — К примеру, помнишь, как мы с тобой сидели в ватер-клозете, а Упырь услыхал шум и выхватил револьвер?

— Ещё бы не помнить. Посейчас дрожь пробирает.

— Не "посейчас", а "даже сейчас". Так вот, если б Упырь через дверь палить начал, то положил бы нас обоих прямо поперёк с-стульчака. Красивая была бы смерть?

Скорик представил, как они с Эрастом Петровичем лежат друг на дружке поперёк фарфорового горшка и кровь стекает прямо в поганую трубу.

— Не сказать, чтобы сильно красивая.

— То-то. Не хотелось бы так умереть. Глупая слабость, сам понимаю, но ничего не могу с собой поделать.

Господин Неймлес виновато улыбнулся и вдруг остановился — аккурат на углу Колпачного переулка.

— Ну вот, Сеня, здесь наши пути расходятся. Я должен заглянуть на почту, отправить одно важное п-письмо. Ты же далее действуешь без меня.

— Чего это? — насторожился Скорик. Какую новую муку уготовил ему коварный Эраст Петрович?

— Пойдёшь в полицейский участок, передашь приставу Солнцеву

письмо.

— Только и всего? — Сенька подозрительно прищурился.

— Т-только и всего.

Ну это ещё ладно, письмо отнести — дело небольшое.

— Тряпьё бы бабское снять и краску с хари смыть, — все же проворчал Скорик. — От людей срамно.

— Перед людьми стыдно, — поправил занудный инженер. — Нет времени переодеваться, оставайся уж как есть. Так будет безопасней.

У Сеньки по сердцу будто кошка когтистой лапой провела. Безопасней? Это в каком таком значении?

А господин Неймлес нехорошую кошку ещё пуще распалил.

— Ты юноша с-смышлённый, — говорит, — действуй по ситуации.

Достал из кармана два конверта. Один отдал Сеньке, второй оставил себе.

Скорик хотел почесать грудь, чтоб кошка поменьше царапалась, да наткнулся на мягкое — это Эраст Петрович под платье ваты напихал, на предмет женской натуры.

— А то давайте лучше я на почту сбегаю, а вы к приставу? — без большой надежды предложил Сенька.

— Мне в п-полиции показываться ни к чему. Держи письмо. Отдашь полковнику из рук в руки.

Конверт был ненадписанный и даже незаклеенный.

— Это чтоб ты не тратил время на покупку нового, — объяснил господин Неймлес. — Всё равно ведь прочтёшь.

Ничего-то от него, премудрого змея, не утаишь.

* * *

Ста шагов один пройти не успел — сзади налетел кто-то, облапил за ватные сиськи.

— У, сдобная-рассыпчатая, посластимся? — жарко шепнули Сеньке в ухо.

Он повернул голову — небритая рожа, сивухой от неё несёт, луком.

Вот оно каково, девушке одной по Хитровке ходить.

Сначала Скорик хотел просто пугануть похабника, сказать, что Студню, самому главному из хитровских котов, на такое озорство пожалуется, но незваный ухажёр ещё лизнул мнимую мамзельку в шею, и тут уж Сенькино терпение кончилось.

По всей японской науке он сначала выдохнул весь воздух, чтобы корень силы переместился из груди в живот, врезал ухажёру каблуком по голяшке, а когда тот, охнув, лапищи разжал, Скорик проворно развернулся и ткнул ему, суке, пальцем под ложечку.

Сладострастник сел на корточки, за брюхо схватился, и лицо у него стало серьёзное, задумчивое. Вот-вот, подумай, как себя с девушками вести.

Зашёл в подворотню, где потише. Развернул письмо.

“Милостивый государь Иннокентий Романович!

Мне стало известно из достоверного источника, что Вам стало известно из достоверного источника о моём приезде в Москву. Хоть мы с Вами никогда не симпатизировали друг другу, однако же надеюсь, что разгул жестокой преступности на вверенной Вам территории тревожит Вас, слугу закона, не менее, чем меня, человека, давно отошедшего от прежней службы и московских забот. Посему хочу сделать Вам деловое предложение.

Нынче ночью я соберу в некоем удобном месте главарей двух опаснейших московских банд, Князя и Упыря, и мы с Вами произведём их задержание. Условия того места не позволяют взять с собой большого количества людей — Вам придётся ограничиться всего одним помощником, так что выберите самого опытного из полицейских. Уверен, что для ареста Князя и Упыря нас троих будет достаточно.

Особа, которая передаст Вам это письмо, о деле ничего не знает. Это обычная уличная девушка, простая душа, которая взялась выполнить моё поручение за небольшую плату, поэтому не утруждайтесь расспросами.

Я заеду за Вами в двадцать минут четвёртого пополуночи. Будучи человеком умным и честолюбивым, Вы несомненно сообразите, что вовсе ни к чему докладывать о моем предложении начальству. Наградой Вам будет самое большое — некоторая благосклонность городских властей. Однако я ведь не преступник, в розыск не объявлен, так что чинов и орденов Вы доносительством не выслужите. Гораздо большие дивидендов Вы приобретёте, согласившись принять участие в затеянном мною предприятии.

Фандорин".

Что такое "дивиденды", Скорик знал (это когда деньги ни за что платят), а вот последнего слова не понял. Наверно, оно означало "адьё", или "примите и проч.", или "засим остаюсь" — в общем, то, что в конце письма для красоты пишут. "Фандорин" — звонко. Надо запомнить на будущее.

Лизнул конверт языком, заклеил, а через пару минут уже входил во двор Третьего Мясницкого участка.

Проклятое место, тьфу на него. Придумано, чтобы мучить человеков, жизнь им утеснять, и без того не шибко просторную.

У ворот со снятыми шапками стояли несколько извозчиков — нарушители уличного порядка. Пришли снятые с пролёток номера выкупать. Это рубликов семь, да и то, если сильно покланяться.

В самом дворе толпились кружком мужики в подпоясанных рубахах. По виду — артель хохлов-плотников, приехавшая в Москву на заработки. Старшой, с вислыми усами, ходил с шапкой по кругу, остальные бережно ссыпали серебро и медь. Понятно: работали у застройщика без нужной бумажки, теперь псы у них половину денег оттяпают. Обыкновенное дело.

Раньше, при прежнем приставе, говорят, тут такого беспардонства не было, но каков поп, таков и приход.

Едва Сенька толкнул клеёнчатую дверь и вошёл в тёмный, заплёванный коридор, как его ухватил за подол наглый, мордатый псиша с нашивками.

— Ишь какая, — говорит. Подмигнул и как ушипнёт за бок, руки бы ему, сволочи, поотрывать. — Чтой-то я тебя раньше не видал. Жёлтый билет выправлять? Так это ко мне. Пойдём.

И уж за локоть ухватил, хочет тащить куда-то. И ведь брешет, поди, про билет — просто девушкой задарма попользоваться хочет.

— Мне к господину полковнику, — строго пискнул Сенька. — Письмо передать, важное.

Пёс и отцепился. Иди, говорит, прямо, а потом направо. Его высокоблагородие там сидят.

Скорик пошёл, куда сказано. Мимо курятника, где отловленные бродяги сидят, мимо запертых камер с ворами-преступниками (те, сердешные, пели про чёрного ворона — заслушаешься). Потом коридор почище стал, посветлей и привёл Сеньку к высокой кожаной двери с медной табличкой "Пристав. Полковник И. Р. Солнцев".

На деликатный Сенькин стук строгий голос из-за двери сказал:

— Ну?

Скорик вошёл. Пискляво поздоровавшись, протянул письмо:

— Вот, просили передать самолично.

И хотел немедленно ретироваться, но пристав негромко рыкнул:

— Ку-да?

Грозный полковник сидел за столом, ел яблоко, отрезая дольки узким ножиком. Вытер лезвие салфеточкой, потом нажал какую-то кнопку, и клинок с железным щелчком спрятался.

Распечатывать конверт Солнцев не спешил, внимательно разглядывал посетительницу, особенно задержался взглядом на фальшивом бюсте (эх, перестарался господин Неймлес, больно много ваты понапихал).

— Кто такая? Гуляющая? Имя?

— С-Санька, — пролепетал Скорик. — Александра. Александрова.

— Что за письмо? От кого?

Солнцев подозрительно ощупал конверт, посмотрел на свет.

Чего говорить-то?

— Клиент один дал... Наказал: самому господину полковнику, говорит, передай, в собственные руки.

— Хм, тайны бургундского двора, — пробормотал пристав, вскрывая конверт. — Стой здесь, Александрова. Жди.

Быстро пробежал письмо глазами, дёрнулся, расстегнул крючок на жёстком вороте, облизнул губы и стал читать сзынова. Теперь читал долго, будто пытался разглядеть что-то между строчками.

Сенька даже соскучиться успел. Хорошо на стене фотокарточки висели и газетные вырезки в рамках, под стёклами.

Интересней всего была картинка из журнала. На ней, молодцевато подбоченясь, стоял Солнцев, помоложе, чем сейчас, а рядом, в поставленном на попа дощатом гробу — усатый дядька с чёрной дыркой во лбу. Внизу подпись: “*Молодой околоточный надзиратель кладёт конец преступной карьере Люберецкого Апаша*”.

Ниже статья, без картинки, но зато с большущим заголовком:

“Арестована шайка фальшивомонетчиков. Браво, полиция!”

Фотография, без подписи: Солнцеву жмёт руку сам князь-губернатор его высочество Симеон Александрович — тощий, огромадного роста, да ещё подбородок задрал, а пристав, наоборот, наклонился и коленки присогнул, но рожа, то есть лицо, улыбчивое и довольно-предовольное.

Ещё статья, не шибко старая, не успела пожелтеть: “Самый молодой участковый пристав Москвы”, из “Ведомостей московской городской полиции”. Сенька прочёл начало: “Блестящая операция по арестованию банды хамовнических грабителей, выданных одним из членов сего преступного сообщества, вновь заставила говорить о таланте подполковника Солнцева и обеспечила ему не только внеочередное производство в чин, но и назначение в один из труднейших и приметнейших участков Первопрестольной, на Хитровку...”

Дальше прочесть не успел, потому что пристав сказал:

— Тэк-с. Ин-те-ресное послание.

Оказалось, что смотрит он при этом уже не на письмо, а на Сеньку, и нехорошо смотрит, словно собирается развинтить его на детали и понять, что там у Сеньки внутри.

— Ты, Александрова, чья? Кто твой кот?

— Я сама по себе, вольная, — немножко поколебавшись, ответил Скорик. Назовёшь какого-нибудь кота, хоть того же Студня, а вдруг полковник проверить вздумает? Есть, мол, у тебя, Студень, такая мамзелька? Неаккуратно выйдет.

— Это ты раньше была вольная, — недобро улыбнулся пристав. — Да вся вышла. С сего дня будешь на меня фурсетить. Девка ты, по всему видно, шустрая, глазастая. И собой недурна, грудастенькая. Голосишко, правда, противный, но тебе ведь не в опере петь.

И хохотнул. Вот, гад, в фурсетки решил приписать! Это мамзелек, которые псы на своих кукуют, так зовут. За такое, если фартовые или воры узнают, расплата одна — кишки наружу. Если найдут где гулящую с распоротым брюхом, всем ясно, за что её. А уж кто — это поди вызнай. И все же немало мамзелек, которые фурсетствуют. Само собой, не от хорошей жизни. Прижмёт такой вот подлый пёс — попробуй открутись.

Сеньке-то что, фурсеткой так фурсеткой, однако уважающая себя мамзелька должна была покобениться.

— Я девушка честная, — сказал он гордо. — Не из тех шалав, которые псы на своих кукуют. Ищите себе других кукушек.

— Что-о?! — заорал вдруг пристав таким ужасным голосом, что Скорик обмер. — Это ты кого “псами” назвала, стерррва?! Ну, Александрова, за это я на тебя штраф запишу. На уплату — три дня. А потом знаешь, что будет?

Сенька помотал головой — испуганно, и уж безо всякого притворства.

А Солнцев с крика перешёл на вкрадчивость:

— Объясню. Если ты мне в три дня штраф за оскорблениe не

выплатишь, я тебя на ночь в третью камеру запру. Там у меня знаешь кто? Преступники, больные чахоткой и сифилисом. По новому гуманному указу ведено держать их отдельно от прочих арестантов. Они ночку с тобой поиграются, а там поглядим, что к тебе скорей привяжется — французка или чахотка.

Похоже, пора было от девичьей гордости отходить.

— Чем же я заплачу, — плачущим голоском сказал Сенька. — Я девушка бедная.

Полковник хмыкнул:

— Так бедная или честная?

Скорик потёр рукавом глаза — вроде как слезы смахивает. Жалостно шмыгнул носом. Мол, вся я ваша, делайте со мною что хотите.

— То-то. — Солнцев перешёл с угрожающего тона на деловой. — Ты с человеком, который тебе письмо дал, спала?

— Ну, — осторожно сказал Сенька, не зная, как лучше ответить.

Пёс покачал головой:

— Надо же, как опростился наш чистоплюй. В прежние времена нипочём бы с гулящей не спутался. Видно, нашёл в тебе что-то. — Он вышел из-за стола, взял Скорика двумя пальцами за подбородок. — Глазки живые, с чертениями. Хм... Где дело было? Как?

— У меня на квартере, — принялся врать Сенька. — Очень уж барин жаркий, прямо огонь.

— Да, он ходок известный. Вот что, Александрова. Штраф ты мне выплатишь следующим манером. Скажешь этому человеку, что влюбилась в него до безумия или ещё что-нибудь выдумаешь, но смотри, чтобы при нем была. Раз он в тебе что-то усмотрел, то, верно, не прогонят. Он у нас джентльмен.

— Где ж мне его сыскать? — пригорюнился Сенька.

— Про это я тебе завтра скажу, — загадочно улыбнулся пристав. — Давай жёлтый билет. У меня пока полежит. Для верности.

Ай, незадача. Скорик глазами захлопал, чего сказать — не знает.

— Что, нету? — Солнцев хищно оскалబился. — Без билета промышляешь? Хороша. А ёщё фурсетить брезговала. — Эй! — заорал он, повернувшись к двери. — Огрызков!

Вошёл городовой, встал навытяжку, истово выпучил на начальство глаза.

— Этую сопроводишь до дому, куда укажет. Изымешь вид на жительство, привезёшь мне. Так что удрать тебе, Александрова, не удастся.

Он потрепал Сеньку по щеке.

— А приглядеться — пожалуй, в самом деле что-то есть. У Фандорина губа не дура. — Опустил руку, пощупал Скорикову задницу. — На фундамент тощевата, но я мегрешками не брезгую. Надо будет тебя попробовать, Александрова. Если, конечно, от чахоточных откупишься.

И заржал, жеребец поганый.

Как только Смерть с ним, подлым, миловаться могла? Уж лучше бы, кажется, в петлю.

А ещё Сеньке стало жалко женщин, бедных. Каково им на свете жить, когда все мужчины сволочи и паскудники?

И что все-таки такое “фандорин”?

Как Сенька сдавал экзамен

С пучеглазым псом Сенька поступил просто. Сказал ему, что проживает на Вшивой Горке, а как пошли переулками к Яузе, подобрал подол, да и дунул в подворотню. Городовой, конечно, давай в свисток дудеть, материться, а что толку? Мамзельки-фурсетки и след простыл. Будет Огрызкову от пристава “штраф”, это как пить дать.

Всю дорогу домой Скорик ломал голову: что ж он там такого в подвале увидал или услыхал, из чего Эраст Петрович с Масой сразу догадались, кто убийца?

Раскидывал, раскидывал мозгами, прямо замучил их гимнастикой, но так и не допетрил.

Стал тогда про другое дедуктировать. Что же такое удумал многоумный господин Неймлес? Это ведь помыслить страшно, какую кашу заварил. Как её расхлёбывать? И, главное, кому? Что если некоему молодому человеку, притомившемуся быть игрушкой в руках птицы-Фортуны? То она, шальная, взмахнёт крылом, вывалит на сирого, убогого свои заветнейшие дары — и любовь, и богатство, и надежду, то вдруг повернётся гузкой и нагадит счастливцу на куафюру, отберёт все дары обратно и ёщё нацелится в придачу утырить у бессчастной жертвы самое жизнь.

Про инженера Сеньке думалось нехорошее. Ишь как ловко чужим имуществом распорядился. Нет спасибо сказать за неслыханное великолдушие и самопожертвование. От них дождёшься! Распорядился, будто своим собственным. Назвал аспидов на чужое. Приходите, гости дорогие, берите кому сколько надо. А что у человека на тот клад свои виды были и даже мечты, на это гладкому барину Эрасту Петровичу, конечно, положить со всей амуницией.

От обиды Скорик был с инженером сух и, хоть рассказал про передачу письма и про разговор с приставом всё в доскональности, но делал оскорблённое достоинство: глядел немножко в сторону и кривил губы.

Эраст Петрович, однако, демонстрации не заметил. Внимательно выслушал и про допрос, и про вербовку. Кажется, остался всем доволен, даже похвалил “молодцом”. Тут Сенька не сдержался, сделал намёк насчёт клада: что, мол, много на свете умников людским добром распоряжаться, ёщё бы, чужое — не своё. Но не пронял и намёком, не достучался до инженеровой совести. Господин Неймлес потрепал Скорика по голове,

сказал: “Не жадничай”. И ещё сказал, весело:

— Нынче ночью заканчиваю все московские дела, времени больше нет. Завтра в полдень — старт мотопробега. Надеюсь, “Ковёр-самолёт” в порядке?

У Сеньки внутри всё так и сжалось. В самом деле, двадцать третье-то уже завтра! За беготней и переживаниями он совсем про это забыл!

Выходит, так на так всему конец. Ай да господин Неймлес, ловкач. Попользовался механиком (между прочим, задарма, если не считать харчей), получил налаженное-надраенное авто в лучшем виде и это бы четверть беды. Главное — обвёл сироту вокруг пальца, обобразил до нитки, под ножи поставил, а после укатит себе в Париж волшебным принцем-королевичем. Сенькина же планида — сидеть одному-одинёшеньку у разбитого корыта. Это если завтра жив останется...

Рот у Скорика задрожал, уголки сами по себе вниз поползли, ещё ниже, чем при оскорблённом достоинстве.

А бессердечный Эраст Петрович сказал:

— Помаду-то с губ сотри, смотреть п-противно.

Как будто Сенька сам, от нечего делать, помадой намазался!

Сердито топая, он пошёл переодеваться. Слышно было, как в кабинете задребезжал телефонный звонок, а когда минут через несколько Скорик явился к Эрасту Петровичу высказать правду-матку уже безо всяких намёков, на полную чистоту, того дома не было — исчез куда-то.

Маса тоже шлялся неведомо где. День между тем неостановимо сползал под откос, к вечеру, и чем за окном становилось темней, тем сумрачней делалось у Сеньки на душе. Охо-хо, что-то нынче будет...

Чтобы отвлечься от дурных мыслей, Сенька пошёл в сарай начищать авто, и без того сиявшее ослепительней кремлёвских куполов. Злости больше не было, одна печаль.

Что ж, Эраст Петрович. Как говорится, дай вам Бог удачи и рекорда, о котором вы мечтаете. Трипед ваш отложен в лучшем виде, не сомневайтесь. Не раз вспомните добрым словом механика Семена Скорикова. Может, на вас когда-нибудь и некое угрызение сизойдёт. Или хоть лёгкое сожаление. Хотя, конечно, навряд ли. Кто вы и кто мы?

Тут из жалюзей (это щели такие) моторного охладителя раздался тихий писк, и Сенька замер. Послышалось? Нет — вот, снова! Что за чудеса?

Посветил внутрь фонариком. Мышонок залез!

Говорил же, говорил Эрасту Петровичу, что зазоры должны быть меньше! Пускай лучше их будет не двадцать четыре, а тридцать шесть!

Вот вам пожалуйста. А если этот гадёныш топливный шланг прогрызёт? Ой, беда-беда.

Пока снимал кожух, пока гонял мышонка, пока отсоединял и вновь присоединял шланг (слава Богу, целый), сам не заметил, как наступила ночь. Вернулся в дом, когда били часы — двенадцать раз. От этого похоронного боя, гулко раздававшегося в пустой квартире, у Скорика перехватило дыхание и стало так страшно, так бесприютно, что хоть собакой вой.

Хорошо скоро после этого явился господин Неймлес. Совсем не такой, как давеча: уже не весёлый и довольный, а хмурый, даже злой.

— Ты почему не готов? — спрашивает. — Забыл, что тебе Мотю изображать? Надевай парик, ермолку и все остальное. Сильно гримировать тебя не стану, всё равно в подвале темно. Только нос подkleю.

— Так ведь рано ещё. Мне к трём, — упавшим голосом сказал Сенька.

— Появилось ещё одно с-срочное дело, Я должен его решить. Поедем на “Ковре-самолёте”, будет ему заодно последнее испытание перед стартом.

Здрасьте-пожалуйста. Полировал, надраивал — и всё псу под хвост. Хотя, с другой стороны, лишний раз обкатать не вредно.

Жидёнком Сенька оделся быстро и уже без скандалу. Лучше так, чем мамзелькой.

Эраст Петрович же надел красивый мотокостюм: кожаный, блестящий, с жёлтыми скрипучими ботинками и гамашами. Заглядение!

А ещё инженер сунул в заспинный кармашек свой маленький револьвер (называется “герсталь”, сделан в заграничном городе Льеже, по особому заказу), и у Скорика ёкнуло сердце. Доживём ли до старта? Бог весть.

— Садись за руль, — велел господин Неймлес. — Покажи, что умеешь.

Сенька надел окуляры, втиснул уши под чересчур большую ермолку, чтоб не слетела. Эх, хоть прокатиться напоследок!

— На С-Самотёку.

Домчали в пять минут, с ветерком.

Эраст Петрович вылез у деревянного особнячка, позвонил. Ему открыли.

Сенька, конечно, полюбопытствовал — сходил посмотреть на медную табличку, что висела на двери. “Ф. Ф. Вельтман, патологоанатом, д-р медицины”. Что такое “патологоанатом” — хрен его знает, но “д-р” значило “доктор”. Заболел, что ли, кто? Уже не Маса ли, встревожился Сенька. Тут

за дверью послышались шаги, и он побежал назад к аппарату.

Доктор был щупленький, взъерошенный и всё моргал глазами. На Сеньку уставился с испугом, в ответ на вежливое “доброго здоровьица” неопределённо кивнул.

— Это кто? — шёпотом спросил Скорик инженера, когда мухортик, кряхтя, полез садиться.

— Неважно, — мрачно ответил Эраст Петрович. — Это п-персонаж из совсем другой истории, нашего сегодняшнего дела не касающейся. Едем на Рождественский бульвар. Марш-марш!

Ну, а как мотор загрохотал, тут уж, конечно, не до разговора стало.

Инженер велел остановиться на углу тёмного переулка.

— Оставайся в машине и никуда не отлучайся.

Само собой — как можно отлучиться? Ночная публика, она известно какая. Не успеешь отвернуться, болт либо гайку отвернут, на грузило или так, из озорства.

Сенька положил на сиденье разводной ключ — пусть только сунутся.

Спросил у доктора:

— Заболел кто? Лечить будете?

Тот не ответил, а господин Неймлес сказал:

— Да. Необходимо хирургическое вмешательство.

Они двое пошли к дому, в котором светились окна. Постучали, вошли, а Скорик остался поджидать.

Долго ждал. Может, целый час. Сначала сидел, боялся того, как в ерохинский подвал к Упырю пойдёт. Потом просто скучал. А под конец тревожиться стал — не опаздывают ли. Пару раз послышалось, будто в доме, куда инженер с врачом вошли, что-то трещит. Черт его знает, что они там делали.

Наконец, вышел Эраст Петрович — один и без кожаного кепи. Когда он подошёл ближе, Сенька увидел, что вид у господина Неймлеса не такой аккуратный, как раньше: куртка на плече надорвана, на лбу царапина. Он лизнул правый кулак — костяшки пальцев сочились кровью.

— Что случилось-то? — перепугался Скорик. — И где лекарь? С больным остался?

— Едем, — буркнул инженер, не ответив. — Покажи мастерство. Вот тебе экзамен: домчишь до Хитровки за десять минут — возьму тебя в мотопробег ассистентом.

Сенька дёрнул дроссель ещё сильней, чем тогда, в первый раз. Авто рвануло с места и, покачиваясь на стальных рессорах, понеслось вперёд, в ночь.

Ассистентом! В Париж! С Эрастом Петровичем!

Господи, сделай так, чтоб мотор не заглох и не перегрелся! Чтоб шина на булыге не треснула! Чтоб не соскочила передача! Ведь Ты всё можешь, Господи!

На углу Мясницкой двигатель чихнул и сдох. Засор!

Сенька, давясь слезами, продул карбюратор, на что ушло минуты две, не меньше. Из-за этого несчастья в заданный срок и не уложился.

— Стоп, — сказал инженер на перекрёстке бульвара с Покровкой и посмотрел на брегет. — Двенадцать минут десять секунд.

Повесив голову, Скорик всхлипнул и вытер сопли рыжим пейсом. Ах, Фортуна, подлая ты баба.

— Отличный результат, — сказал Эраст Петрович. — А к-карбюратор вообще был прочищен за рекордный срок. Поздравляю. Про десять минут я, разумеется, п-пошутил. Надеюсь, ты не откажешься сопровождать меня в Париж в качестве ассистента? Сам знаешь, Маса на эту роль не подходит. Он поедет за нами в дорожной к-карете, повезёт запасные колёса и прочие детали.

Не веря своему счастью, Сенька пролепетал:

— И мы поедем втроём? В самый город Париж?

Здесь господин Неймлес задумался.

— Видишь ли, Сеня, — сказал он. — Вероятно, с нами поедет ещё одна особа. — А помолчав, добавил тише, без большой уверенности. — Или даже две...

Ну одна-то понятно кто, насупился Скорик. После каши, которую нынче ночью заварит Эраст Петрович, Смерти оставаться в Москве будет никак невозможно. А вот вторая-то особа кто? Неужто сенсей решился у швейцара Михеича его супругу Федору Никитишну увезти?

И стало Сеньке жалко бедного Михеича — каково-то ему придётся без компотов, без пирожков, без Федориной ласки? А ещё жальче стало себя. Мука мученическая будет смотреть, как у инженера со Смертью по дороге в Париж ихняя любовь обустроится. Не хватало ещё чтоб через это рекорд сорвался.

Господин Неймлес прервал Сенькины размышления, снова звякнув брегетом:

— Без десяти три. Пора приступать к операции. Я еду за приставом. Авто оставлю в участке — целее будет. Заодно проверю, ограничится ли Солнцев одним помощником. А ты, Сеня, ступай в Ерошенковскую ночлежку, к месту встречи. Веди Упыря подземным ходом и помни, что ты д-дурачок. Членораздельного ничего не говори, просто мычи. Там будет

критический момент, когда появятся Князь с Очком. Если сильно запахнет жареным, мальчик Мотя может обрести дар речи. Скажешь: “А серебро — вот оно” и покажешь. Это зайдёт их как раз до моего появления. — Инженер задумался о чём-то, пробормотал вполголоса. — Скверно, что я остался без “герсталя”, а добывать другой револьвер нет времени...

— Да как вы без пистолета к этим волкам пойдёте? — ахнул Сенька. — Вы же его в карман совали, я видел! Обронили, что ли, где-нибудь?

— Именно что обронил... Ничего, обойдёмся и без револьвера. План операции стрельбы не предполагает. — Эраст Петрович бесшабашно улыбнулся и щёлкнул Скорика по наклеенному носу. — Ну, еврей, гляди б-бодрей.

Как Сенька вертел головой

Ух, как же его тошило от Ерохи — от гнилого подвального запаха, от темнотищи, от приглушённых звуков, что доносились из-за запертых дверей “квартер”: ночь-полночь, а подземные жители всё собачились промеж собой, или дрались, или пели дурными голосами, или плакали. Но чем дальше уходил Сенька по сырым коридорам в ерохинское чрево, тем делалось тише, будто сама земля гасила и поглощала шум человеческой жизни-жистянки, а по-научному сказать экзистенции. И тут накатили на Скорика воспоминания, во стократ хуже подвальной вонищи и пьяного ору.

Вот здесь на Сеньку сзади бросился неведомый душегуб, драл волосы и ломал шею. Рука сама потянулась совершить крёстное знамение.

А за той дверью проживало семейство Синюхиных — вдруг померещилось, что они пляются из тьмы багровыми ямками вырезанных глаз. Бр-р-р...

Ещё пара поворотов — и колонная зала, будь она неладна. Из-за неё все напасти.

Тут вот валялся мёртвый Михейка^{1}. Сейчас как шагнёт из черноты, растопыря пальцы. А-а, скажет, Скорик, падла, давно тебя поджидаю. Через тебя ведь я смерть принял.

Сенька скорей-скорей шмыгнул подальше от нехорошего места, на всякий случай косясь назад и держа наготове пальцы щепотью — перекреститься, если привидится какая фантасмагория.

Лучше бы перед собой смотрел.

Налетел на что-то, но не на колонну, потому что потолочная опора — она твёрдая, кирпичная, а это, на что он налетел, было упругое и ухватило Сеньку руками за горло. Да как зашипит:

— Явился? Ну, где ваш жидовский клад?

Упырь! Здесь уже, в темноте поджидал! Скорик от испуга только замычал.

— Ах да ты ж немой, — выдохнул в самое лицо страшный человек и горло отпустил. — Ну давай, веди.

И в самом деле один пришёл! Не захотел-таки с товарищами богатством делиться. Вот она, жадность.

Ещё малость погукав и помычав, Сенька повёл доильщика в угол, за последнюю колонну. Вынул камни, махнул рукой: айда за мной! И полез в дыру первым.

Нарочно шёл помедленней, хотя Упырь зажёг лампу, и можно было было до сокровищницы добраться в пять минут. Только куда торопиться-то? Ведь придётся с этим монстром (а проще говоря чудищем) целых пятнадцать минут наедине миловаться, пока Смерть своих чудищ не доставит, Князя с Очком. Ну, что тогда начнётся — об этом лучше было пока не задумываться.

Однако как ни тянул Сенька, как ни канителил, а все ж таки вывел лаз к выложеной белым камнем горловине. Отсюда три шажка, а там и заветная камора.

— Гы, гы, — показал Скорик на кучи серебряных заготовок.

Упырь отпихнул его, ринулся вперёд. Зарыскал туда-сюда по подземелью, высоко подняв лампу. По стенам и сводчатому потолку запрыгали тени. У заваленной битым кирпичом и камнями двери доильщик остановился.

— Туда что ль?

Сенька всё жался у входа. Была у него мысль — не дёрнуть ли обратно? Да что толку? Налетишь на Князя, который, наверно, уже движется сюда подземным ходом.

— Где клад-то? — подступил к Скорику монстр. — А? Клад, понимаешь? Серебро где?

— Ну, бу, — ответил мальчик Мотя и затряс головой, замахал руками. Чтоб потянуть время, произнёс целую речь на психическом языке. — Утолю, га-га хряпе, арды-бурды гулюмба, сурдык-дурдык ого! Ашмы ли бундугу? Карманда! Сикось-выкось шимпопо, дуру-буру гопляля...

Упырь послушал-послушал, да как схватит полоумного за плечи и давай трясти.

— Где серебро? — орёт. — Тут мусор один да лом железный! Надули? Я тебя, пейсатого, лапшой настругаю!

У Сеньки голова вперёд-назад мотается, нехорошо Сеньке. Вот уж никогда не думал, что будет с таким нетерпением Князя ждать. Где они там, уснули, что ли в подземном ходе?

Или уже открыть Упырю про прутья? Эраст Петрович сказал: “Если сильно запахнет жареным, мальчик Мотя может обрести дар речи”. Куда уж жареней? Прямо искры из глаз!

Открыл Сенька рот, чтобы не по-безумному, а по-понятному заговорить, но тут вдруг Упырь его трясти перестал — дёрнулся, навострил уши. Никак услыхал что-то?

Через малое время Скорик тоже услыхал: шаги, голоса.

Доильщик пнул ногой лампу, что стояла на полу. Та упала, погасла.

Стало тёмным-темно.

Однако ненадолго.

— ...всё молчишь-то? — глоухо донеслось из узкого прохода, и сразу оттуда же, качаясь, вылезмейлся узкий яркий луч, зашарил по своду, по стенам. Застывших Упыря и Сеньку пока что не зацеплял.

Вошли трое. Первый, в длиннополом сюртуке, держал в руке электрический фонарь. Второй была женщина. Говорил третий, ступивший в камору последним.

— Ну молчи, молчи, — горько сказал Князь. — Променяла меня на черномордого и молчишь? Стерва ты бесстыжая, а не Смерть...

Чиркнула спичка — это первый из вошедших зажёг керосиновую лампу.

В помещении стало светло.

— Оп-ля! — тихо воскликнул валет, быстро поставил лампу на пол, а фонарь погасил и сунул в карман. — Какая встреча!

— Упырь! — выкрикнул Князь. — Ты?!

А доильщик ничего им не сказал. Только шепнул на ухо Сеньке: “Ну хитры вы, жиляры поганые. Прощайся с жизнью, сучонок”.

Но и Князь, похоже, решил, что его подсекли. Повернулся к Смерти:

— Гниде этому продала меня, сука?

Замахнулся на неё кулаком, а в кулаке-то кастет! Смерть не отшатнулась, не попятилась, только улыбнулась, зато Скорик от страха завопил. Ничего себе операция! Сейчас их обоих порешат, и вся недолга!

— Погоди-ка, Князь, — сказал Очко, вертя головой. — Это не подсека. Он тут один, малец не в счёте.

Валет пружинистой походкой прошёлся по подвалу, быстро бормоча при этом:

— Что-то не то, что-то не то. И серебра никакого нет...

Вдруг повернулся к доильщику:

— Мсье Упырь, вы ведь тут не из-за нас? Иначе не пришли бы один, верно?

— Само собой, — насторожённо ответил тот, выпустил Скорика и сунул обе руки в карманы. Ой, мамочки, как начнёт палить прямо через портки!

— А из-за чего? — блеснул стёклышками Очко. — Не из-за некоего ли клада?

Глаза Упыря проворно перемещались с одного противника на другого.

— Ну.

— “Ну” — стало быть, да. А кто сыпанул наводку? — Валет

остановился, подал Князю знак — погоди, мол, ничего не делай. — Часом не кавказец по имени Казбек?

— Нет, — сдвинул жидкие брови Упырь. — Старый жид насыпал. И провожатого дал, вот энного жидёнка.

Очко защёлкал пальцами, потёр лоб.

— Так-так-так. Что означает сей казус? Открылась бездна, звёзд полна...

— Что ты удумала? — накинулся Князь на Смерть, но руку с кастетом опустил. — Зачем нас тут свела?

— Погоди ты, не булькай, — снова остановил его валет. — Она ничего не скажет. — И кивнул на Сеньку. — Пощупаем лучше христопродавца.

Тот втянул голову в плечи. Уже кричать про клад или ещё погодить?

Упырь дёрнул подбородком:

— Он малахольный, только мычит. А начнёт языком молоть — ничего не разберёшь.

— Непохоже, чтобы совсем уж малахольный. — Очко не спеша двинулся к Скорику. — Ну-ка, дворянин иерусалимский, поговори со мной, а я послушаю.

Сенька от него, бешеного, шарахнулся. Валет на это засмеялся:

— Куда так проворно, жидовка младая?

И в самом деле — некуда. Через каких-нибудь три шага Скорик упёрся спиной в стенку.

Очко вынул фонарь, посветил ему в лицо и вдруг засмеялся.

— Власы-то, похоже, поддельные. — И дёрг у Сеньки с головы парик — рыжие патлы вместе с ермолкой на сторону сползли. — Князь, погляди-ка, кто тут у нас. О, сколько нам открытий чудных...

— А, лярва! — взвыл Князь. — Так это ты со своим сопливым полюбовником всё устроила! Ну, Скорик, глистеныш, конец тебе!

Вот теперь в самый раз будет, сообразил Сенька. Если дальше жарить — одни головешки от него останутся.

— Не убивайте! — закричал он что было мочи. — Без меня вам клад не найти!

Валет повис на плечах у Князя.

— Постой, успеется!

Но вместо Князя на бедного Сеньку налетел Упырь.

— Так ты ряженый!? — и шмяк кулаком в ухо.

Хорошо, что сбившийся парик смягчил, а то бы дух вон.

Но все же Скорика швырнуло в сторону. Прежде, чем дальше бить станут, он показал на ближнюю груду:

— Да вон же оно, серебро! Глядите!

Доильщик посмотрел, куда указывал палец. Взял один прут, повертел в руках. Тут и Очко подошёл, тоже подобрал палку, поскрёб ножом. Сверкнуло белым, матовым, и Упырь охнул:

— Серебро! Сука буду, серебро!

Тоже вынул перо, попробовал один прут, другой, третий.

— Да тут пуды!

Князь и Очко, позабыв о Сеньке, тоже загрохотали металлом.

Скорик по стеночке, по стеночке подобрался поближе к Смерти. Шепнул:

— Дуем отсюда!

Она, тоже шёпотом:

— Нельзя.

— Ты что? Они сейчас очухаются и кончат меня!

А Смерть ни в какую:

— Эраст Петрович не велел.

Бросить, что ли, её здесь, раз она такая упрямая, заколебался Сенька. Может, и бросил бы (хотя, конечно, навряд ли), но тут, лёгок на помине, появился господин Неймлес.

Видно, крались через горловину на цыпочках, потому что шагов слышно не было.

Просто один за другим в камору быстро вошли трое: Эраст Петрович, пристав Солнцев и Будочник. Инженер держал фонарь (который, впрочем, сразу загасил — и без того светло было); у пристава в каждой руке было по револьверу, а Будочник просто выставил вперёд кулачищи.

— Руки в небо! — лихо крикнул пристав. — Уложу на месте!

Господин Неймлес встал слева от него, городовой справа.

Оба фартовых и доильщик застыли. Первым бросил прут Упырь, медленно повернулся и поднял руки. Князь и Очко сделали то же.

— Вот паиньки! — весело воскликнул полковник. — Все здесь, голубчики! Дорогие мои, ненаглядные! И вы, мадемуазель! Какая встреча! Я вас предупреждал, пощепетильней со знакомствами. Теперь пеняйте на себя. — Он коротко взглянул на Эраста Петровича и Будочника. — Доставайте револьверы, что же вы? Это публика шустрая, всего можно ожидать.

— Я сегодня без огнестрельного оружия, — спокойно ответил инженер. — Оно не п-понадобится.

Городовой же прогудел:

— А мне ни к чему. Я, если надо, и кулаком вчистую уложу.

Не дурак оказался пристав-то, подумал Санька. Знал, какого помощника с собой взять.

— Сударыня и ты, Сеня, встаньте позади меня, — сказал Эраст Петрович не допускавшим возражений голосом.

Скорик-то, по правде говоря, и не думал возражать — вмиг забежал инженеру за спину и встал у самого выхода. Однако и строптивая Смерть спорить не осмелилась, присоединилась к Сеньке.

— Иннокентий Романович, позвольте мне произнести небольшую речь, — обратился к приставу господин Неймлес. — Я должен объяснить присутствующим истинный смысл этого собрания.

— Истинный смысл? — удивился Солнцев. — Но он очевиден — арестовать этих мерзавцев. Единственное, что мне хотелось бы знать, как вам удалось их сюда заманить? И что это за живописная фигура?

Последнее было сказано про Сеньку, который на всякий случай отступил подальше в горловину.

— Это мой ассистент, — объяснил Эраст Петрович. — Но моя речь будет не о нём. — Он откашлялся и заговорил громче, чтобы было слышно всем. — Господа, у меня очень м-мало времени. Я собрал вас, чтобы покончить всё разом. Завтра — да, собственно, уже нынче — я покидаю пределы города и должен этой ночью завершить свои московские дела.

Пристав встревоженно перебил его:

— Покидаете? Но по дороге сюда вы говорили мне про то, как мы вместе истребим всю нечисть, и про то, какие это откроет передо мной служебные горизонты...

— Для меня существуют вещи поинтересней вашей карьеры, — отрезал инженер. — Например, спорт.

— Какой к черту спорт?!

Полковник так удивился, что перевёл взгляд с арестантов на Эраста Петровича. Рука Очка немедленно скользнула в рукав, но Будочник в два прыжка выскоцил вперёд и занёс пудовую ручищу:

— Пришибу!!!

Валет немедленно выставил вперёд пустые ладони.

— Ещё раз перебьёте меня, и я отберу ваши “кольты”! — сердито прикрикнул господин Неймлес на пристава. — В ваших руках от них все равно мало проку!

Оглянувшись на него снова Солнцев не решился, потому просто кивнул: хорошо-хорошо, молчу.

Показав всем, кто в курятнике петух (а именно так расценил Сенька поведение инженера), Эраст Петрович заговорил, обращаясь к

арестованным:

— Итак, г-господа, я решил собрать вас здесь по двум причинам. Первая состоит в том, что все вы являлись подозреваемыми в деле о хитровских убийствах. Теперь я уже знаю, кто преступник, но все же коротко поясню, чем навлёк на себя подозрение каждый из вас. Князь знал о существовании клада, это раз. Разыскивал его, это два. К тому же в последние месяцы из обычного налётчика превратился в беспощадного убийцу, это три. Вы, господин Очко, также знали о кладе, это раз. Чудовищно жестоки, это два. Наконец, ведёте двойную игру за спиной своего покровителя: ни во что его не ставите, крадёте с его стола и спите в его п-постели. Это три.

— Что?! — взревел Князь, повернувшись к своему подручному. — Чего это он про постель?

Валет лишь улыбнулся, но такой улыбкой, что у Сеньки вся кожа запузырилась.

А господин Неймлес уже обратился у Упырю:

— Вам, господин доильщик, не давал покоя к-карьерный взлёт Князя. Как стервятник, крадущий чужую добычу, вы всё норовите выхватить кусок у удачливого соперника: хабар, воровскую славу, женщину. Это раз. Вы тоже не останавливаетесь перед убийствами, но прибегаете к этому к-крайнему средству, лишь приняв все меры предосторожности. Как и хитровский Кладоискатель, отличающийся маниакальной предусмотрительностью. Это два...

— Женщину? — перебил Князь, напряжённо вслушивавшийся в эту обвинительную речь. — Какую женщину? Смерть, о чём это он? Нешто и Упырь к тебе лапы тянул?

Сенька глянул на Смерть и увидел, что она бледна, как смерть (нет, лучше сказать — “как снег” или “как полотно”, а то непонятно получается). Однако усмехнулась.

— И он, и твой дружок Очко. Все вы друг друга стоите, пауки.

Не опуская поднятых рук, Князь развернулся и двинул валета в висок, но тот, похоже, был наготове — проворно отскочил, выхватил из рукава нож. Упырь тоже сунул руку в карман.

— Стоять! — заорал пристав. — Положу на месте! Всех троих!

Те застыли, испепеляя взглядами друг друга. Очко ножа не убрал, Упырь руки из кармана не вынул, у Князя же на пальцах сжатого кулака посверкивали стальные кольца кастета.

— Немедленно уберите оружие, — приказал инженер. — И вас, Иннокентий Романович, это тоже касается. Ещё выпалите невзначай. К

тому же у нас тут не казаки-разбойники и не полицейские-воры, а совсем другая игра, в которой все на равных.

— Что? — опешил полковник.

— А то. Вы тоже были для меня одним из подозреваемых. Интересуетесь резонами? Извольте. Вы столь же беспощадны и жестоки, как остальные п-приглашённые. Ради своего честолюбия не остановитесь ни перед какой низостью и даже перед убийством. Свидетельством тому ваш послужной список, отлично мне известный. Шум на всю Москву о новоявленном потрошителе с Хитровки вам выгоден. Недаром вы так привечаете газетных репортёров. Сначала самому создать пугало, наводящее трепет на публику, а потом героически одолеть творение собственных рук — вот ваша метода. Именно так вы поступили год назад с пресловутыми “хамовническими грабителями” — этой шайкой вы сами и руководили, через вашего агента.

— Чушь! Домыслы! — крикнул пристав. — У вас нет доказательств! Вас в это время вообще в Москве не было!

— Но, не забывайте, у меня в Москве много старых д-друзей, в том числе из полиции. Не все они так слепы, как ваше начальство. Впрочем, это сейчас к делу не относится. Я лишь хочу сказать, что провокация с кровавым исходом для вас не внове. Вы расчётливы и холодны. Поэтому в вашу африканскую страсть к избраннице Князя я не верю — эта дама была вам нужна как источник информации.

— Как, и этот тоже? — простонал Князь с такой мукой, что Сеньке даже стало его жалко. — Шалава ты распоследняя! Всех своим подолом загребла, даже пском поганым не побрезговала!

А Смерть лишь рассмеялась — шелестящим, почти беззвучным смехом.

— Сударыня, — коротко оглянулся на неё Эраст Петрович. — Я требую, чтобы вы немедленно удалились. Сеня, уведи её!

Правильный момент выбрал умный инженер — так всем остальным голову заморочил, что не до Смерти им стало и тем более не до какого-то Сеньки.

Два раза просить Скорика не пришлось. Он взял Смерть за руку и потянул в горловину. Ясно было, что затеянный господином Неймлесом стык добром не кончится. Любопытно, конечно, было бы посмотреть до конца, но откуда-нибудь с третьего яруса в театральный бинокль. А оказаться на сцене, когда тут всех валить начнут — премного благодарны, как-нибудь в другой раз. К примеру, после среды во вторник.

Шажка два Смерть сделала, не больше, а потом упёрлась — не

сдвинешь. Когда же Сенька попробовал её за бока тащить, ещё локтем под ложечку двинула, очень больно.

Скорик за живот схватился, ртом воздух хватал, а сам в это время из-за Смертьиного плеча выглядывал, только успевал головой вертеть. Интересно все ж таки. Видел, как пристав попытился к стене и наставил один револьвер на Эраста Петровича, второй же по-прежнему наводил на фартовых.

— Так это ловушка?! — воскликнул он, вертя туда-сюда головой ещё проворней Сеньки. — Не на того напали, Фандорин! В барабанах двенадцать пуль, на всех хватит! Будников, ко мне!

Городовой подошёл к начальнику и встал сзади, грозно сверкая глазами из-под сивых бровей.

— Тут, Иннокентий Романович, не одна ловушка, а целых две, — спокойно объяснил господин Неймлес, снова обозванный тем самым непонятным Сеньке словом. — Я же сказал, что сегодня ночью хочу разом закончить все московские дела. Свои подозрения я изложил вам исключительно для полноты картины. Преступник находится здесь и понесёт заслуженную кару. Остальных же я пригласил на эту встречу с другой целью: чтобы избавить некую даму от опасных знакомств и ещё более опасных заблуждений. Это совершенно исключительная женщина, господа. Она много страдала и заслуживает милосердия. Кстати говоря, она подсказала мне отличное название для операции, назвав вас пауками. Весьма точная м-метафора. Вы и есть пауки, причём четверо из вас относятся к биологическому виду пауков обыкновенных, а вот пятый — самый настоящий тарантул. Итак, добро пожаловать на операцию “Пауки в банке”. Если учесть, что мы находимся в хранилище серебряных слитков, то получается к-каламбур.

Тут инженер сделал паузу, как бы приглашая остальных оценить шутку.

— Пятый? — заморгал Солнцев, взглянув на Упыря, Князя и Очка. — Где вы видите пятого?

— У вас за с- спиной.

Пристав испуганно повернулся и уставился на Будочника, глядевшего на начальство с высоты своего саженного роста.

— Городовой Будников и есть главный из моих сегодняшних гостей, — сказал Эраст Петрович. — Редкий по размерам паучище.

Будочник гаркнул так, что с потолка посыпалась пыль:

— Вы что, ваше высокородие, белены объелись?! Да я...

— Нет, Будников, — резко оборвал его инженер — вроде не так уж и

громко, но городовой смолк. — Это вы объелись б-белены, съехали с ума на старости лет. Однако про причину вашего умопомешательства мы ещё поговорим. Сначала давайте по существу. Вы были главным подозреваемым с самого начала, невзирая на всю вашу осторожность. Сейчас объясню, почему. Изуверские убийства на Хитровке начались месяца два назад. Убили и ограбили подвыпившего гуляку, потом репортёра, собравшегося написать статью о трущобах. Обычное для Хитровки дело — если б не одна деталь: выколотые глаза. Потом убийца точно так же выколол глаза всем членам семьи Синюхиных. Здесь примечательны два обстоятельства. Первое: невозможно представить, чтобы подобные из ряда вон выходящие преступления свершались на вашем участке, а вы не дознались бы, кто это творит. Это вы-то, истинный хозяин Хитровки! Приставы приходят и уходят, сменяются вожаки фартового мира, но Будочник вечен. У него везде глаза и уши, он всюду вхож, ему ведомы секреты и полиции, и “Обчества”. Происходили всё новые убийства, вот уже весь город о них заговорил, а вездесущий Будочник знать ничего не знает, ведать не ведает. Из этого я предположил, что вы связаны с таинственным Кладоискателем, а стало быть, являетесь его соучастником. Мои подозрения укрепились, когда во всех последующих убийствах жертвам перестали вырезать глаза. Помнится, это я вам сказал, что теория о запечатлении предсмертных зрительных образов на сетчатке трупа не нашла научного подтверждения… И всё же уверенности, что вы не просто соучастник, а убийца, у меня не было. Вплоть до вчерашней ночи, когда в подвале Ерошенковской ночлежки вы умертили подростка, одного из ваших осведомителей. Именно тогда я окончательно исключил из числа подозреваемых всех прочих п-пауков и сосредоточился на вас…

— Чем же это, интересно будет узнать, я себя выдал? — спросил Будочник, рассматривая инженера с любопытством. Страха или хоть бы даже тревоги на лице городового Сенька неглядел.

Тут пришлось снова головой вертеть — на пристава.

— Ты что, Будников, сознаёшься?! — в ужасе вскричал полковник и отшатнулся от подчинённого. — Но он ещё ничего толком не доказал!

— Докажет, — благодушно махнул рукой Будочник, по-прежнему глядя только на господина Неймлеса. — У них не отвертишься. А ты помолчи, ваше высокоблагородие, твой номер теперь последний.

Солнцев только рот разинул, а вымолвить ничего не смог. Это по-книжному называется “утратил дар речи”.

— Хотите знать, чем себе выдали? — переспросил Эраст Петрович, усмехнувшись словам городового. — Да очень просто. Вывинтить

человеку шею на сто восемьдесят градусов, да в один момент, чтоб пикнуть не успел, можно лишь одним способом: взять рукой за темя и резко повернуть, сломав позвонки и разорвав мышцы. Тут потребна поистине феноменальная силища, которой из всех подозреваемых обладаете только вы, Будников. Ни у Князя, ни у Оска, ни у господина полковника на это силёнок не хватило бы. Людей, способных на этакий к-кунштюк, на свете единицы. Вот и вся премудрость. Дело о хитровских убийствах вообще не из замысловатых. Если б я не был одновременно занят ещё одним расследованием, то добрался бы до вас много раньше...

— На всякую старуху бывает проруха, — развёл руками Будочник. — Уж, казалось, так сторожился, а про это не скумекал. Надо было Прошке башку проломить.

— Пожалуй, — согласился господин Неймлес. — Только от участия в операции “Пауки в банке” это вас не спасло бы. А значит, исход был бы такой же.

Какой-такой “исход”, пытался сообразить Сенька, выглядывая поверх Смертьиного плеча. Чего будет, когда разговоры закончатся? Вон фартовые потихоньку уж руки опустили, и у пристава губы трясутся. Зачнёт шмалять из револьверов — вот и будет исход.

А инженер с городовым беседовали себе дальше, будто в чайной за самоваром.

— Я всё могу понять, — сказал Эраст Петрович. — Вы не желали оставлять никаких свидетелей, даже трёхлетнего ребёнка не пожалели. Но чем вам попугай с собакой не угодили? Это уж не осторожность, а какое-то безумие.

— Не скажите, ваше высокородие. — Будочник погладил вислые усы. — Птица-то была учёная. Я как вошёл, армяшка мне говорит: “Здравствуйте, господин городовой”. И попугай тут же: “Здрравствуйте, господин горрродовой!”. Ну как при следователе повторил бы? А кутёнок, что у мамзельки жил,шибко нюхастый был. Я в “Полицейских ведомостях” читал, как собака вот этак на убийцу своей хозяйки накинулась и тем навлекла на него подозрение. В газетах много чего полезного вычитать можно. Только самого главного не вычитаешь, — сокрушённо вздохнул он. — Что можно на шестом десятке съезжавшего замолодеть...

— Это вы про седину в бороду и б-беса в ребро? — понимающе кивнул Эраст Петрович. — Да, в газетах про это мало пишут. Надо было вам, Будников, стихи читать или в оперу ходить: “Любви все возрасты покорны” и прочее. Я слышал, как вы мадемуазель Смерти толковали про “крепкого человека при огромном богатстве”. Себя имели в виду? За

двадцать лет хитровского царствования вы, должно быть, немало накопили, на старость хватило бы. На старость — да, а вот на Царевну Лебедь — вряд ли. Во всяком случае, вы рассуждали именно так. — И от невозможности впали в исступление, возжаждали “огромного богатства”. Начали из-за денег убивать, чего раньше себе не позволяли, а когда прослышиали о подземном кладе, вовсе ума лишились...

— Так ведь, ваше высокородие, любовь, — вздохнул Будочник. — Она не спрашивает. Кого ангелом сделает, а кого чёртом. Да по мне хоть самим Сatanой, только бы моя она была...

— Мерзавец! — взорвался пристав. — Наглая скотина! Ещё про любовь рассуждает! За моей спиной — такое! На каторгу пойдёшь!

Будочник строго сказал:

— Молчи, сморчок. Нешто не понял ещё, к чему их высокородие клонит?

Полковник задохнулся:

— Смор...?! — И не договорил, сбился. — Клонит? В каком смысле “клонит”?

— Эраст Петрович тоже в Смерть втрескались, по самые бровки, — объяснил ему Будочник, словно несмышлёнышу. — И порешили, что отсюдова, из ямы этой, живым только один человек выйдет — оне сами. Правильно решили их высокородие, потому умный человек. Я с ними согласный. Пятеро тут мёртвыми лягут, а наружу выйдет только один, с большущим богатством. Ему и Смерть достанется. Только кто это будет, ещё поглядеть надо.

Сенька слушал и думал: а ведь прав он, гад, прав! Затем господин Неймлес всех этих монстров здесь и собрал, чтобы избавить от них матушку-Землю. А также некую особу, которой слушать всё это было бы ни к чему — вон как у ней грудь-то завздыпалась.

Тронул Смерть за плечо: идём, мол, от греха.

Тут и пошло-поехало, только поспевай охать.

На словах “поглядеть надо” Будочник ударил пристава кулаками по обоим запястьям, и револьверы попадали на каменный пол.

В тот же самый миг Очко выдернул из рукава нож, Упырь и Князь выхватили револьверы, а городовой, нагнувшись, подобрал один из тех, что выронил Солнцев, и навёл дуло на Эраста Петровича.

Как Сенька вертел головой (продолжение)

Сенька зажмурился и заткнул уши, чтобы не оглохнуть от неминучего грохота. Подождал секундочек пять, но пальбы не было. Тогда открыл один глаз.

Увидел картинку — прямо как в сказке про околдованное царство, где все жители вдруг взяли и уснули, позастыли кто где был.

Князь целил из револьвера в Очка, угрожающе занёсшего руку с метательным ножом; пристав успел подобрать один из своих “кольтов” и метил в Упыря; тот, в свою очередь, в пристава; Будочник держал на мушке господина Неймлеса, и лишь сей последний был невооружен — стоял, безмятежно сложив руки на груди. Никто не шевелился, отчего всё собрание кроме заколдованного царства ещё здорово походило на фотокарточку.

— Как же это вы, ваше высокородие, на такую сурьезную randevu без пистолета отправились? — покачал головой Будочник, как бы сочувствуя инженеру. — Очень уж горды. А сказано в писании: “Будут постыжены гордые”. Что делать-то будете?

— Горд, но не глуп, и вам, Будников, это должно быть известно. Если пришёл без оружия, значит, на то имеется причина. — Эраст Петрович повысил голос. — Господа, перестаньте страшать друг друга! Операция “Пауки в банке” идёт по плану и вступает в завершающую стадию. Но сначала одно необходимое объяснение. Понимаете ли вы, что являетесь членом некоего клуба? Клуба, который следовало бы назвать “Любовники Смерти”. Вас не поражало, почему прекраснейшая, удивительнейшая из женщин проявила благосклонность к вашим, деликатно выражаясь, сомнительным д-достоинствам?

При этих словах и Князь, и Упырь, и Очко, и даже полковник повернулись к говорившему, а Смерть вздрогнула.

Господин Неймлес удовлетворённо кивнул:

— Вижу, что поражало. Вы были совершенно правы, Будников, заявив, что, если вам, одному из всех, удастся выйти отсюда живым, Смерть достанется вам. Так, вне всякого сомнения, и произойдёт. Она сама позовёт вас в свои объятья, потому что признает в вас настоящего злодея. Ведь вы, господа, каждый на свой манер, истинные чудовища. Не считите этот

термин за оскорбление, это просто к-констатация факта. Бедная барышня, которую вы так хорошо знаете, после всех постигших её несчастий вообразила, будто её ласки и в самом деле смертельны для мужчин. Потому она гонит от себя всех, кто, по её мнению, не заслуживает смерти, и привечает лишь худших подонков, которые отравляют своим смрадным дыханием воздух Божьего мира. Мадемуазель Смерть вознамерилась посредством своего тела уменьшить количество зла на земле. Трагичная и бессмысленная з-затея. Со всем злом ей не справиться, а ради нескольких пауков не стоило и мараться. Я охотно окажу ей эту маленькую услугу. Верней, вы сожрёте друг друга сами.

В этот момент Смерть что-то прошептала. Сенька навострил уши, но всех слов так и не разобрал. Только одно: “раньше”. Что раньше-то?

Вот почему она Эраста Петровича взашей прогнала! Испугалась, что он через её любовь жизни лишится.

И меня тоже, между прочим, не за сопливость выперла, а из милосердия, сказал себе Скорик и приосанился.

Ловко придумал господин Неймлес, ничего не скажешь — всех их, гадов, разом извести. Только как же это он без оружия с ними управится?

Будто подслушав Сенькин вопрос, инженер сказал:

— Господа пауки, да уберите вы свои б-бомбарды. Я пришёл сюда без огнестрельного оружия, потому что стрелять в этом подземелье всё равно нельзя. У меня было время внимательно осмотреть своды, они совсем ветхие и держатся на честном слове. Достаточно не то что выстрела — громкого крика, чтобы на нас осела вся Т-Троица.

— Какая ещё Троица? — нервно спросил Солнцев.

— Не та, которая Отец, Сын и Святой Дух, — улыбнулся Эраст Петрович, — а церковь Троицы что в Серебряниках. Мы находимся как раз под её фундаментом, я проверил по историческому плану Москвы. Когда-то здесь находились постройки государева Денежного двора.

— Брешет, — качнул головой Упырь. — Не может Троица просесть, она каменная.

Вместо ответа инженер громко хлопнул в ладоши — куча земли и щебня, которой была завалена дверь, дрогнула, и с её верхушки посыпались камни.

— А! — подавился криком Скорик и сам себе зажал ладонью рот.

Но остальные его не услышали — не до того было. Кто испуганно заозирался, кто втянул голову в плечи, а пристав, тот даже прикрыл руками голову.

Смерть оглянулась на Сеньку, впервые за всё время. Легонько толкнула

пальцами в лоб и шепнула:

— Не бойся, всё устроится.

Он хотел ответить: никто и не боится, но не успел — она снова отвернулась.

Эраст Петрович подождал, пока пауки перестанут дёргаться, и сказал громко, внушительно:

— Прежде чем определится, кто из нас выйдет отсюда живым, предлагаю высыпать пули на пол. Один случайный выстрел, и победителей не будет.

— Дельное предложение, — откликнулся первым Будочник.

Его поддержал Очко:

— Согласен. Пуля, как известно, дура.

Ещё бы! Этим двоим револьвер без надобности, а у Очка его, поди, и вовсе не было.

Яростно сощурив глаза, Князь процедил:

— Я и зубами глотку выгрызу. — И, откинув барабан, высипал пули.

Упырь пожался немного, но с верхушки оползня скатилось ещё несколько камешков, и он решился — последовал примеру своего лютейшего врага.

Приставу расставаться с “кольтом” очень не хотелось. Он затравленно оглянулся на выход — видно, подумал, не дать ли деру, но там стоял Эраст Петрович.

— А ну, ваше собакородие... — Будочник приставил начальнику револьвер прямо ко лбу. — Делай, чего велено!

Полковник попробовал открыть барабан, но у него тряслись руки. Тогда он просто откинул револьвер в сторону — тот лязгнул об пол, малость покрутился и застыл.

Последним избавился от пуль Будочник.

— Так-то лучше, — крякнул он, засучивая рукава. — От пукалок этих одна морока. Нут-ко, померяемся, кто кого. Только тихо! Кто орать будет — тому первому смерть.

Князь вытянул из кармана кастет. Очко отошёл к стене, тряхнул кистью — у него между пальцами блестящей рыбкой замельтешил клинок. Упырь нагнулся, взял из груды серебряный прут, пару раз махнул, со свистом рассекая воздух. Даже пристав оказался не прост. Отбежал в угол, щёлкнул чем-то, и из кулака у него выпрыгнула узкая полоска стали — тот самый ножик, которым он в участке яблоко резал.

Инженер же просто двинулся вперёд, пружинисто ступая на чуть согнутых ногах. Ай да Эраст Петрович, голова-палата, ловко всё обернул.

Ну он им покажет, предвкушающе потёр ладони Сенька. Как пойдёт руками-ногами молотить, по всей японской науке!

Скорик тронул Смерть за плечо: гляди, мол, чего сейчас будет. А она говорит:

— Ах, как хорошо всё выходит, будто по молитве. Пусти-ка, Сенечка.

Повернулась, быстро поцеловала его в висок и выбежала на середину каморы.

— А вот и я, ваша Смерть! Легка на помине.

Нагнувшись, подцепила с пола брошенный приставом револьвер, взялась за него обеими руками, щёлкнула курком.

— Спасибо вам, Эраст Петрович, — сказала она остылому инженеру. — Вы очень хорошо придумали. Идите себе, вы здесь больше не нужны. Уводите Сеню, да поживей. А вы, любовнички мои ненаглядные, — обернулась она к остальным, — тут, со мной, останетесь.

Князь, зарычав, кинулся было к ней, но Смерть подняла дуло к потолку.

— Стой, выстрелю! Думаешь, побоюсь?

Уж на что Князь храбрец, и то попятился — вот как убедительно она крикнула.

— Не нужно этого! — опомнился господин Неймлес. — Прошу вас, уходите! Вы только всё испортите.

Она мотнула головой, сверкнула глазищами.

— Ну уж нет! Как же я уйду, если мне такая милость от Господа? Всегда боялась — буду неживая в гробу лежать, а все смотреть станут. Теперь никто меня мёртвую не увидит, и хоронить не надо. Земля-матушка прикроет.

Сенька увидел, как Будочник, мелко переступая, боком-боком двинулся к Упырю и Князю, зашептал им что-то. А Эраст Петрович на них не смотрел, только на Смерть.

— Вам незачем умирать! — крикнул он. — Что вы вбили себе в...

— Давай! — выдохнул Будочник, и все трое — он, Князь и Упырь — кинулись на инженера.

Городовой налетел на него всей своей тушей, прижал к стене, ухватил за запястья и растянул Эрасту Петровичу руки крестом.

— Ноги! — прохрипел Будочник. — Он лягаться мастер!

Князь и Упырь присели на корточки, схватили господина Неймлеса за ноги. Он задёргался, будто рыба на крючке, а вырваться не может.

— Пустите его! — вскрикнула Смерть и наставила револьвер, но стрелять не стала.

— Эй, очкастый, отбери у ней оружию! — приказал городовой.

Очко двинулся прямо на Смерть, вкрадчиво приговаривая:

— Верни, жестокая, молю, младой любви залог священный.

Она повернулась к валету.

— Не подходи. Убью!

Но тонкие руки, скимавшие револьвер, дрожали.

— Стреляйте в него! Не бойтесь! — отчаянно крикнул Эраст Петрович, пытаясь вырваться.

Но могучие лапищи Будочника держали его крепко, да и скорченные Упырь с Князем, хоть и злобно щерились друг на друга, но пленника не выпускали.

— Чёртов болван, стойте! — взвыл пристав. — Она выстрелит! Вы всех нас погубите!

Тонкие губы валета расположились в улыбке:

— Сами вы болван. Мадемуазель не выстрелит, пожалеет красавца-брюнета. Это, пёс легавый, называется любовь.

Внезапно он сделал два быстрых, широких шага, вырвал у Смерти “кольт” и отбросил его подальше — к самому выходу, после чего спокойно сказал:

— А теперь кончайте умника, можно.

— Чем, зубами, что ли? — просипел побагровевший от натуги Будочник. — Здоровый черт, еле держим.

— Что ж, — вздохнул Очко, — долг интеллигенции — помогать народу. Ну-ка, служитель правопорядка, чуть в сторонку.

Городовой отодвинулся насколько мог, а валет не спеша поднял нож, готовясь к броску. Сейчас сверкнёт стальная молния, и не будет больше Эраста Петровича Неймлеса, американского инженера.

“Колт” валялся на полу в двух шагах от горловины и посверкивал воронённойстью, будто подмигивал Сеньке: что, Скорик, слабо?

А, была не была, двум смертям не бывать, одной не миновать!

Он кинулся к револьверу, схватил его и как заорёт:

— Стой, Очко! Жизни лишу!

Тот обернулся, редкие брови удивлённо поползли вверх.

— Ба, явление седьмое. Те же и Скорик. Зачем ты вернулся, дурашка?

— Эй, малый! — зачастил жавшийся к стене пристав. — Не вздумай!

Ты не знаешь — тут стрелять нельзя, обвал будет. Завалит вчистую!

— Обвал!!! — вдруг пронзительно крикнул Эраст Петрович.

В то же мгновение раздался грохот, куча земли и щебня, загораживавшая дверной проем, шевельнулась и обрушилась. Под

истошный вопль пристава из завала выпросталась плотная, коренастая фигура в чёрном. Упругим шаром она выкатилась на середину сокровищницы и с воинственным клёкотом кинулась на валета.

Маса!

Вот уж чудо так чудо!

Эраст Петрович немедленно воспользовался замешательством врагов: Князь отлетел в одну сторону, Упырь в другую. Из лап Будочника инженеру, правда, вырваться не удалось, и после короткой борьбы оба рухнули наземь, причём городовой очутился сверху и пригвоздил господина Неймлеса к земле, по-прежнему крепко держа его за запястья. Однако теперь Упырь и Князь помогать Будочнику не стали — ненависть друг к другу оказалась сильней. Сцепившись, фартовые покатились по земле.

Очко швырнул нож в японца, но тот успел присесть. Так же легко Маса увернулся от второго и третьего ножа. Однако опустошив свой манжетный арсенал, валет не угомонился — откинул полу длинного сюртука, и Сенька разглядел прикреплённую к брючному ремню деревянную тросточку.

Что у Очка в трости, Скорик помнил — длинноющая заточка под названием “шпага”. Не забыл он и про то, как лихо управляется валет с этой страшной штуковиной.

Заложив левую руку за спину и выставив вперёд ногу, Очко засеменил вперёд, высвистывая клинком сверкающие круги. Маса попятился. Ещё бы, с голыми-то руками!

— Стрельну! Сейчас стрельну! — закричал Сенька, но никто на него даже не оглянулся.

Он стоял, как дурак, с заряженным револьвером, а все на него плевали с отхарком, каждый был занят своим делом: Будочник сидел на инженере и всё норовил припечатать его в лицо своим чугунным лбом; Князь с Упырём рычали и взвизгивали, будто два осатаневших кобеля; Очко загонял в угол Масу; Смерть пыталась стащить городового с Эраста Петровича (только куда ей против такого бугая); полковник очумело озирался по сторонам, выставив вперёд свой нож-попрыгунчик.

— Что встал, собакородие?! — прохрипел Будочник. — Виши, одному мне не сладить! Режь его! Промеж собой после разберёмся!

Подлый пристав — ещё слуга закона называется! — послушался, кинулся резать лежащего. Оттолкнул Смерть, замахнулся, но она вцепилась ему в руку.

— Да смотрите же на меня, гады! — плачущим голосом закричал

Сенька, потрясая “кольтом”. — Щас как пальну — всех к бесовой тёще завалит!

Солнцев перехватил нож левой рукой, не глядя ткнул Смерть остриём в бок — та осела на пол. Лицо у ней сделалось удивлённое, точёные брови поднялись кверху, будто от некой радости. Она осторожно прикрыла руками раненое место, и Сенька с ужасом увидел, как меж её белых пальцев заструилась кровь.

— Подвинься, черт! — выдохнул пристав, опускаясь на колени. — Сейчас я ему в шею!

И стало Скорику всё равно. Пускай святая Троица всех тут подавит, раз такие дела. Он выставил вперёд револьвер и не целясь нажал на крючок.

Оглох сразу, даже выстрела толком не слышал — просто заложило уши, и всё. Из ствола скакнул язык пламени, голова полковника отчаянно мотнулась в сторону, словно указывая некое направление, и тело тут же последовало указанию — именно в ту сторону и повалилось.

Дальше всё закончилось очень быстро, в гулкой и страшной тишине.

Потолок-то ничего, не обрушился, только пыль немножко осыпалась. Зато Эрасту Петровичу удалось выдернуть у оглянувшегося на грохот Будочника левую руку. Этой рукой инженер распорядился следующим образом: сжал в кулак и коротко ударил городового пониже подбородка. Будочник только всхрапнул, да и бряк набок, чисто бык на бойне.

Сенька повернулся в другую сторону — застрелить уж заодно и Очка, пока своей тыкалкой Масу не пропорол. Но обошлось без Скорикова участия. Загнав сенселя в самый угол, валет, как разжатая пружина, выбросил вперёд руку со шпагой и по всему должен был бы пришипилить японца к стенке, но клинок со звоном ударился о камень — Маса скакнул влево и плеснул рукой. Из руки вылетело что-то маленькое, блестящее. Очко вдруг закачался, будто ватная кукла. Вяло потянулся к горлу, но не достал — руки у него обвисли, колени подогнулись, и валет рухнул навзничь. Голова запрокинулась, стало видно, что в горло глубоко впилась стальная звёздочка с острыми краями. Вокруг диковинной штуки пузырилась тёмная кровь, а сам Очко лежал тихо, только немножко дёргал ногами.

И Князь с Упырём тоже больше не брыкались, по полу не катались. Сенька приглядился, увидел, что затылок у Упыря пробитый, весь в тёмных вмятинах от кастета. Располагался пробитый затылок аккурат там, где полагалось быть Князевой глотке. Выпученные глаза бывшего Сенькиного ненавистника неподвижно пялились в потолок. Вот те на: сколько раз

грозился, что глотку порвёт, а самому её и перегрызли. Напился-таки Упырь Князевой крови. Пожрали пауки друг дружку...

Про всё про это Сенька думал, чтоб не думать про Смерть. Даже смотреть в её сторону не хотел.

Когда же все-таки воровато оглянулся, она сидела, прислоняясь к стене. Глаза закрыты, лицо застывшее, белое. Скорик быстрей опять отвернулся.

Понемногу звенящая тишина отступала. Стало слышно, как икает Будочник, как кряхтит Маса, выдёргивая из валетова горла свою чудо-звёздочку.

— Не обвалился потолок-то, — сказал Сенька инженеру дрожащим голосом.

— С чего бы ему обваливаться? — просипел Эраст Петрович, вылезая из-под тяжёлой туши городового. — Тут такая кладка, т-тысячу лет простоит. Уф, в нем, пожалуй, пудов восемь... Что стоишь, Сеня? Помоги dame подняться.

Не видал, значит, господин Неймлес, как пристав её ножом-то.

— А этот не очухается? — спросил Скорик проикающего Будочника — не из опасения, а чтоб время потянуть. Можно было пока перед самим собой прикинуться, что Смерть у стенки просто так сидит: не мёртвая, а спит или, к примеру сказать, в обмороке.

— Не очухается. Это был удар “к-коготь дракона”, он смертелен.

Вот Эраст Петрович встал, двинулся к сидящей деве, протянул ей руку. Сенька всхлипнул, приготовился. Сейчас инженер вскрикнет.

А Смерть оказалась никакая не мёртвая. Вдруг взяла, открыла огромные, сияющие глаза, посмотрела снизу вверх на Эраста Петровича и улыбнулась.

— Что... Что с вами? — испуганно спросил он.

Опустился на корточки, отвёл её пальцы и — правильно Сенька угадал — вскрикнул.

— Зачем вы, зачем? — забормотал господин Неймлес, разрывая на ней платье и нижнюю рубашку. — У меня все было рассчитано! Маса заранее разобрал завал, сидел в засаде и только ждал сигнала! О Господи... — застонал он, увидев чёрный разрез пониже левой груди.

— Я знаю, ты и без меня бы справился, — прошептала Смерть. — Ты сильный...

— Тогда зачем, з-зачем? — прерывающимся голосом спросил он.

— Чтобы ты жил. Нельзя тебе со мной... Теперь ты вечный, ничем тебя не возьмёшь. Я, твоя Смерть, умерла...

И закрыла глаза.

Эраст Петрович снова вскрикнул, ещё громче, чем в прошлый раз, а Сенька заревел.

Но она не умерла. Все-таки недаром её перед тем как Смертью наречь, звали Живой, спроста такие клички не дают.

Она ещё долго потом жила. Может, целый час. Дышала, даже раз легонько улыбнулась, но говорить не говорила и глаз не открывала. А потом дышать перестала.

Красивая какая, думал Сенька. А в гробу, если с лица грязь-пыль смыть да волосы расчесать, да цветами уложить (тут нужен флёрдоранж, который означает “чистота”, и ещё веточки тиса, “вечная любовь”) — вообще заглядение будет. Заберут её отец-мать, потому что ихнее право, и закопают её в сырь землю, и поставят сверху белокаменный крест, и вырежут на нем как её там раньше звали, а пониже припишут: “Здесь похоронена Смерть”.

Как Сенька читал газету

Как взяли старт, так и гнали по шоссе четырнадцать часов без передышки, не сговаривались. Почти триста вёрст промчали, только два раза топливо из бидона в бак подлили. За весь путь между шофёром и ассистентом не было сказано ни слова. Сенька делал, чего полагалось: дудел в клаксон, махал флагом, на крутых поворотах свешивался через дверцу, смотрел, не разболтались ли колёса. Ещё ассистенту полагалось следить по карте за маршрутом, но это у Скорика получалось плохо. Только наклонит голову, и сразу нос течёт, из глаз солёная вода капает, в горле ком. Карты от слез не видать, одни цветные пятна. А если в даль глядеть, чтобы ветер раздувал волосы, тогда ничего, глаза и щеки высыхали быстро.

Плакал ли господин Неймлес, было непонятно, потому что у инженера под очками-консервами лицо почти не просматривалось. Губы у него все время были крепко сжатые, но уголок рта вроде бы подрагивал.

А сразу за Вязьмой на переднем колесе треснула цельнолитая шина. Делать нечего — пришлось толкать трипед обратно до города, ведь не поедешь на двух колёсах, чай не велосипед.

Запасные шины, как и все прочие запасные детали, ехали в конном экипаже, вместе с Масой и его спутницей. Карета давным-давно отстала от “Ковра-самолёта”. Хорошо если завтра к вечеру в Вязьму прикатит. Посему, хочешь не хочешь, пришлось устроить ночёвку с днёвкой. Это тоже решилось само собой, опять-таки без слов. Ужинать спортсмены не захотели, разошлись по комнатам спать.

Утром Сенька вышел из гостиницы, шуганул местных пацанов, чтобы не тёрлись возле аппарата, на ихние дурацкие вопросы отвечать не стал, не то было настроение. Пошёл на станцию за московской газетой.

Ну-ка, пропечатали иль нет? Он сразу развернул “Ведомости” на пятой странице, где про театры и спорт.

Пропечатали, куда им деваться.

Старт состоялся

Невзирая на дождь и ветер, вчера в полдень на Триумфальной площади собрались поклонники автомобилизма, сей новоявленной религии, пока ещё экзотической для наших

просторов. Состоялся старт мотокросса Москва — Париж, о котором мы уже писали и ход которого намерены освещать посредством телеграфических сообщений. Публика проводила шофэра г-на Неймлеса и его юного ассистента энтузиастическими аплодисментами. Спортсмены выглядели взволнованными и сосредоточенными, от общения с представителями прессы уклонились. Мы не станем желать им семи футов под килем (глубоких ухабов на российских просторах и без того довольно), а лучше, как это принято у автомобилистов, пожелаем крепких шин и надёжной искры.

Заметку Сенька прочёл раз десять, а про юного ассистента даже вслух, с выражением.

Аккуратно свернул “Ведомости” и вдруг заметил на первой странице крупный заголовок.

ЗА ДРУГИ СВОЯ

Кровавая драма на Хитровке

Сообщаем некоторые подробности вчерашнего события, о котором ходит столько слухов и домыслов.

В ночь на 23 сентября в печально знаменитых хитровских трущобах произошла настоящая баталия между силами закона и бандитами. Полиция положила конец преступной “карьере” главарей двух опаснейших московских шаек — Князя и Упыря, предпочевших аресту смерть. Убит также беглый каторжник из бывших студентов Кузьминский, давно находившийся во всероссийском розыске.

Увы, не обошлось без потерь и среди охранников порядка. Защищая москвичей, пали геройской смертью пристав Третьего Мясницкого участка полковник Солнцев и старший городовой Будников. Первый был молод и подавал большие надежды, второму оставалось всего два года до заслуженной пенсии. Вечная память героям.

Адъютант обер-полицеймейстера отказался сообщить прессе какие-либо дополнительные сведения, присовокупив лишь, что в

перестрелке была убита ещё и некая особа женского пола, любовница (или, выражаясь, по-уголовному, “маруха”) Князя.

Однако нашему корреспонденту удалось выяснить одно интересное обстоятельство, самым прямым образом связанное с хитровской трагедией.

Читайте на странице 3 в разделе “Происшествия” статью “Благородный поступок”!

Вот гады, вот псы поганые, возмутился Скорик. Так всё перекрутить, так переврать! А про Эраста Петровича и Масу ни слова, хотя господин Неймлес оставил в участке пакет на имя главного полицейского начальника и всё как есть там описал.

Нашли героев! Письмо нужно написать в редакцию, вот что. Пускай люди знают правду. У, газетчики, брехуны проклятые. Печатают невесть что и даже не проверят!

Ещё не остыв, Сенька открыл третью страницу.

Что за поступок такой?

Ага, вот.

Благородный поступок

По сведениям, полученным редакцией из конфиденциального источника, бой между полицией и разбойниками (см. статью “За други своя”, 1 стр.) стал следствием засады, которую полицейские Третьего Мясницкого участка устроили в некоем подземном тайнике, где хранились огромные ценности старинного происхождения.

Позавчера к мировому судье Теплостанского участка Московской губернии поступило письмо, написанное по поручению несовершеннолетнего С. Скорикова, который отыскал в недрах Хитровки клад баснословной ценности. Вместо того чтобы присвоить сокровище, как, вероятно, поступили бы большинство москвичей, благородный юноша решил вверить находку попечительству городских властей. Местонахождение сокровища сделалось известно бандитам, о чем, в свою очередь, через секретных осведомителей узнала полиция, разработавшая план той самой смелой операции, о которой сегодня говорит весь город.

Мы же от имени жителей Первопрестольной поздравляем образцового гражданина Скорикова с причитающимся по закону вознаграждением. Себя же поздравим с тем, что подрастает чудесное поколение, которому можно без опаски доверить судьбу новорождённого двадцатого века.

comments

Комментарии

1

Вообще-то должно быть: "Тут вот валялся мёртвый Проха", а не Михейка. [Прим. lenok555]